



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Shelf 4341.56.5 (A)

HARVARD COLLEGE
LIBRARY



BOUGHT FROM THE
AMEY RICHMOND SHELDON
FUND

EX 12112
B. Y.

СОЧИНЕНІЯ

Э. И. ГУБЕРА,

ИЗДАНЫЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. Г. ТИХМИНОВА.

ТОМЪ III.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ СМЕРДИНА СЫНА И КОМП.

1860.

✓
Slav 4341.36.5 (3)



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

**съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи было представлено въ Цензу-
рный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.**

Санктпетербургъ. 2 Декабря 1859 г.

Цензоръ В. Бекетовъ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ В. БЕЗОВАРОВА И КОМП.

Считаю долгомъ объяснить недоразумѣніе, вкравшееся въ наше изданіе. На стр. 213—217 перваго тома напечатано стихотвореніе „Идеалы“, переводъ изъ Шиллера, принадлежащій Жуковскому и приписанный нами Губеру, въ черновыхъ тетрадяхъ котораго мы нашли эту піесу, *переписанную его рукою, съ поправками и примѣчаніями*. Эта обманчивая обстановка заставила насъ сдѣлать странную ошибку, которую гг. читателей просимъ замѣтить.

Что касается до опечатокъ, вкравшихся въ наше изданіе, то мы считаемъ позднимъ исправленіе ихъ теперь тѣмъ болѣе, что онѣ не важны, за исключеніемъ весьма немногихъ.

А. Т.

ПРОЗАИЧЕСКІЯ СТАТЫ

РАЗЛИЧНАГО СОДЕРЖАНІЯ.

ВГЛЯДЪ НА НЫНѢШНЮЮ ЛИТЕРАТУРУ ГЕРМАНИИ.

(Современникъ 1838 г. N. 2).

Каждая великая эпоха въ жизни народа влечетъ за собою какое-то ослабленіе; природа въ самодовольномъ созерцаніи того, что она совершила, какъ будто отдыхаетъ отъ трудовъ своихъ; этотъ законъ столько-же примѣняется къ политическому быту народа, сколько и къ литературному. Германія въ исходѣ прошедшаго столѣтія совершила блистательный переворотъ въ самыхъ основныхъ стихіяхъ своей литературы. Переходя изъ бездушнаго, книжнаго изученія къ живому наблюденію природы, какъ необходимому условію творческаго воображенія, она разрушила старую теорію и, увлекаясь душою греческой поэзіи, отвергла ея обветшалыя правила. Критическая философія Канта столько-же содѣйствовала этой умственной реформаціи, сколько и эстетическія изслѣ-

дованія Лессинга. Но еще вѣриѣ, еще рѣшительнѣ выразилась полная картина переворота въ дивныхъ созданіяхъ Гёте. Самая борьба двухъ разнородныхъ элементовъ, слѣдчаго изученія книжнаго труженика, сжатаго въ тѣсныхъ предѣлахъ древней теоріи, и бурнаго стремленія смѣлаго ума за предѣлы этой теоріи къ живому наблюденію природы, къ свѣтлому изученію жизни, эта борьба вполнѣ высказалась въ двухъ типическихъ характерахъ Вагнера и Фауста. Со времени Лютера никто не обладалъ столькими элементами германскаго духа, какъ Гёте. Но переворотъ совершился: поэтическія созданія Гёте и Шиллера виѣстѣ съ германскою философіею сдѣлались достояніемъ Европы; она оцѣнила ихъ произведенія и приняла ихъ законы.

Какія-же были слѣдствія этого переворота? Какія-же плоды принесла эта реформація? Кажется, могильный памятникъ Гёте служить виѣстѣ съ тѣмъ и могильнымъ памятникомъ германской литературы. Она представляетъ въ настоящее время печальную картину: кое-гдѣ проявляется дарованіе, силится въ напрасномъ напряженіи продолжить новую дорогу, или рисуетъ несмысленную конію съ дивныхъ образцовъ своихъ великихъ художниковъ; такъ на развалинахъ величественнаго зданія мѣстами произрастають цвѣты, живя и нитаясь его разрушенными останками. Съ другой стороны, новая французская литература, пользуясь по-своему образцами нѣмецкими и вѣновыми созданіями Шекспира, заразила юное поколѣніе Германіи. И въ самомъ дѣдѣ, кого не соблазняютъ эти роскошные об-

разы, эта блистательная мишура, кого не поразить эта страшная анатомія порока, которыми дарить насъ новая словесность Франціи? Какое дѣло до природы, до истины, этой литературѣ отчаянія, какъ называлъ ее Гёте? Въ гущѣ челоуѣчества она изучаетъ челоуѣка, съ упоеніемъ роется въ грязныхъ закоулкахъ порока и торжествуетъ на развалинахъ нравственности; она искала новыхъ пружинъ для возбужденія усиленнаго вниманія читателей — и нашла ихъ въ страшныхъ оргіяхъ преступленія. Теперь посмотримъ, какими образомъ дѣйствовало влияние этой литературы въ Германіи и до какого развитія дошла она здѣсь въ наше время.

Гёте еще при жизни подвергался нападеніямъ завистливыхъ враговъ. Но крики ихъ не доходили до него; такъ узналъ онъ о существованіи Менцеля и его критическихъ выходокъ, читая иностранные журналы, которые защищали исполина Германіи противъ его отечества. А Менцель былъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ противниковъ Гёте. Вкрадчивость слога и ѣдкое остроуміе давали ему незаслуженную силу. Увлекаясь жаждою политическихъ переворотовъ, онъ ненавидѣлъ Гёте, не какъ поэта, а какъ величаваго представителя монархическихъ началъ. Юное поколѣніе Германіи, воспитанное среди общихъ тревогъ западной Европы, безъ цѣли, безъ сознанія, требовало новаго поприща. Негодуя на тишину нѣмецкаго быта, молодая генерачія искала себѣ опоры и руководителя. И въ это мгновеніе доходить до нея хула озлобленнаго Менцеля. Неопытные, восторженные умы соби-

раются подъ знамена смѣлаго проповѣдника національнаго перерожденія. Гётева слава мѣшаетъ ихъ собственной, и они съ гнѣвнымъ усердіемъ, вмѣстѣ съ своимъ учителемъ, подрываютъ безсмертный памятникъ великаго имени. Такимъ образомъ Менцель, противъ воли, сдѣлался основателемъ новой школы. Время и опытъ доказали ему ничтожность его прежнихъ усилій, и теперь онъ съ ужасомъ отступаетъ отъ этой юной Германіи, которая съ своей стороны тоже не слишкомъ жалуетъ основателя новой школы. Цѣль этой школы — измѣненіе общества въ самыхъ основныхъ его стихіяхъ; всѣ сочиненія ея устремлены къ низверженію стараго, освященнаго вѣками порядка. Нельзя сказать, чтобы между поборниками этой школы не было людей съ дарованіемъ: Гейне, Бёрне, Гудковъ могли-бы и на лучшемъ поприщѣ занять почетное мѣсто; тѣмъ болѣе должны мы сожалѣть, что всѣ эти силы истрачиваются для достиженія ложной цѣли. Какъ грустно слѣдить за дѣйствіями этихъ людей, исполненныхъ глубокаго убѣжденія въ справедливости своихъ начинаній! Вотъ Бёрне, этотъ мученикъ несбыточной идеи! Для нея онъ пожертвовалъ спокойствіемъ жизни, для нея ополчился жаломъ горькихъ насмѣшекъ. Любя Германію, онъ болѣе всѣхъ страдаетъ отъ раны, которую самъ въ ней углублялъ. Смерть недавно разрѣшила ему тѣ неразгаданныя тайны, которыя были проклятіемъ всей его жизни. Вотъ и Гейне, съ его ужасной ироніей, съ его ядовитымъ юморомъ! Нѣтъ, это не та стыдливая муза Жанъ-Поля, которая съ улыбкой на устахъ, съ глазами пол-

ными слезъ, напѣвала вамъ такія волшебныя пѣсни: это дикая баядерка, которая, не стыдясь своей соблазнительной наготы, заманить васъ въ роскошныя объятія нѣги и заразить ядовитымъ дыханіемъ. Гейне не признаетъ святыни; для него нѣтъ религій; а между тѣмъ онъ облачаетъ свои ужасныя мысли въ такую соблазнительную одежду, онъ говоритъ съ такимъ простодушіемъ, что вы забудетесь надъ сладкимъ ядомъ его поэзіи. Но полное развитіе новой школы мы встрѣчаемъ въ лицѣ Гущкова. Это проповѣдникъ безнравственности; никакія границы не обуздываютъ его дикаго воображенія, и даже самые товарищи его съ ужасомъ отступаются отъ его произведеній. Вотъ главные дѣйствователи новой школы, основанной на образцахъ нынѣшней французской литературы. Не трудно предвидѣть, что такое направленіе словесности распадется отъ собственной ничтожности. Многія, въ томъ числѣ даже и самъ Гущковъ, теперь уже возвращаются въ естественныя границы искусства. Еще забавнѣе безпрестанныя противорѣчія несчастнаго Менцеля: опровергая собственные мнѣнія свои, онъ находится въ самомъ затруднительномъ положеніи. Вся литература такъ-называемой юной Германіи представляетъ неудачную копію съ неудачной картины.

Мы не украсимъ этой школы именами Уланда, Ленау, Анастасія Грюна, Гюккерта и пр., которые некогда не помрачали своего дарованія въ грязныхъ картинахъ безнравственности, хотя нѣкоторые изъ нихъ можетъ-быть, и собирались подъ политическія знамена юной Германіи. Уландъ безъ сомнѣнія одинъ изъ пер-

выхъ лириковъ нашего времени. Начало новой поэзіи, вообще говоря, лирическое. Германія, удаленная въ продолженіе всего своего существованія отъ вѣшняго политическаго направленія, ограничивала дѣятельность свою полнымъ развитіемъ внутренней жизни. Нѣмецъ, погруженный въ безпрерывное созерцаніе, обозначилъ и литературу свою характеромъ мечтательности. Такимъ образомъ въ Германіи съ одной стороны столько же развилась поэзія внутренней жизни, поэзія лирическая, сколько съ другой стороны и философія, какъ наука уединеннаго размышленія, направленнаго, вдали отъ вѣшнихъ бурь, къ изслѣдованію явленій духовнаго міра. Нигдѣ не было такихъ великихъ лирическихъ поэтовъ, такихъ глубокихъ философовъ, какъ въ Германіи. Уландъ сперва почерпалъ свои вдохновенія изъ феодальнаго быта; потомъ, увлекаясь новыми политическими переворотами, поэзія его приняла направленіе политическое; наконецъ, видя ничтожность этихъ усилій, Уландъ оставилъ исторію и погрузился въ поэтическое созерцаніе общихъ человѣческихъ отношеній. Возлѣ Уланда является Анастасій Грюнъ (графъ Ауэрсбергъ); но тамъ, гдѣ глубокое національное чувство удерживаетъ Уланда въ предѣлахъ отечества, Грюнъ переходитъ за эти предѣлы въ объятія цѣлаго человѣчества; кисть его мягка, и онъ какъ Гёте, одѣваетъ свои созерцанія въ пластическія формы. Австрія не могла удовлетворить своего поэта — космополита, и Грюнъ, покинувъ отечество, вдохновеннымъ странникомъ обходитъ міръ, аяменуя скитальческую жизнь роскошными пѣснями. Не менѣе замѣчательны и Линау (фонъ-Нимѣшъ), онъ

еще недавно подарилъ Германіи два превосходныя произведенія изданіемъ Фауста и Савонароллы. Легенда Фауста, общая, можетъ-быть, всѣмъ народамъ и даже всѣмъ литературамъ, нигдѣ не получила такого развитія, какъ въ Германіи. Причина этого явленія легко объясняется самымъ характеромъ народа, въ которомъ заключаются всѣ начала глубокомысленнаго преданія. Фаустъ дебютировалъ сперва въ жалкихъ маріонетныхъ представленіяхъ; потомъ онъ сдѣлался предметомъ глубокихъ, философическихъ изученій, и наконецъ явился въ полномъ своемъ развитіи, въ безсмертномъ твореніи Гёте. Не достигая этой колоссальной высоты, Ленау ознаменовалъ свое произведеніе самостоятельнымъ возрѣніемъ на одну изъ самыхъ трудныхъ задачъ человѣчества. Въ Савонароллѣ поэтъ принялъ форму эпическую; борьба этого пылкаго реформатора, современника папы Александра VI, выражена яркими красками, и все созданіе, при глубокомъ историческомъ изученіи, дышетъ неподдѣльнымъ поэтическимъ вдохновеніемъ. Ленау безъ сомнѣнія принадлежитъ къ лучшимъ украшеніямъ нынѣшней германской литературы; всѣ его произведенія обнаруживаютъ самобытную, творческую силу, и воображеніе его никогда не рисуется въ грязныхъ картинахъ новой литературной школы. Кромѣ того мы встрѣчаемъ еще нѣсколько именъ, ознаменованныхъ высокимъ дарованіемъ: Рюкертъ, Шамиссо, Пфигеръ, (авторъ Ночнаго Смотра, превосходно переведеннаго Жуковскимъ): всѣ они имѣютъ неоспоримое право на наше вниманіе. Не смотря на такіа дарованія, нынѣшняя нѣмецкая литера-

тура представляет печальную картину; первая причина этого бѣдственнаго положенія заключается въ совершенномъ отсутствіи централизаціи талантовъ; вторая въ жалкой подражательности нынѣшней французской словесности. Не принимая на себя обязанности прорицателя, мы думаемъ, основываясь на нѣкоторыхъ достовѣрныхъ примѣтахъ, что послѣдняя причина скоро уничтожится; незначительность новой французской словесности не удовлетворитъ глубины и основательности нѣмецкаго ума, и потому вліяніе ея прекратится, какъ скоро Германія проснется, сознавая собственное свое достоинство.

Ученая нѣмецкая литература и въ наше время представляет много замѣчательныхъ явленій; историческіе труды Раумера, географія Риттера — образцовыя произведенія, которымъ справедливо гордится Германія. Философическія науки постоянно дополняются новыми превосходными сочиненіями. Книга Штраусса разбудила теологію. Богословы съ благороднымъ негодованіемъ подняли брошенную перчатку; со всѣхъ сторонъ появились сочиненія *pro* и *contra*. Телукъ, Неандеръ и др. занялись безпристрастнымъ разборомъ вопроса; ихъ опроверженія служатъ прекраснымъ украшеніемъ теологической литературы; трудно привести даже названія сочиненій, написанныхъ по этому поводу. Но таковъ нѣмецъ: дайте ему спорный вопросъ — и онъ отъ него не отстанетъ, не отступится, пока не изслѣдуетъ всѣхъ его сторонъ, не разглядитъ всѣхъ отѣнковъ, не опредѣлитъ и самыхъ ничтожныхъ недоразумѣній.

Вотъ краткій очеркъ нынѣшней литературы Германіи. Полному ея развитію препятствуетъ не недостатокъ дарованій, но ложное ихъ направленіе. Можетъ-быть, онѣ со временемъ вступятъ на лучшее поприще и тогда безъ сомнѣнія украсятъ литературу своего отечества достойными произведеніями.

О ФИЛОСОФІИ.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

(Отечественныя Записки 1859 г. Т. 1).

ВЗГЛЯДЪ НА РАЗВИТІЕ ФИЛОСОФІИ ДО СХОЛАСТИКОВЪ.

Разсматривая состояніе наукъ въ нашемъ отечествѣ безъ предубѣжденія, но и безъ пристрастія, мы замѣчаемъ быстрые, почти неимовѣрные успѣхи по всѣмъ отраслямъ человѣческаго знанія. Послѣдніе годы ознаменовались многими превосходными произведеніями. Исторія и точныя науки еще болѣе другихъ обогатились самостоятельными изслѣдованіями людей, съ любовью подвизающихся на этомъ трудномъ поприщѣ. Ученыя сочиненія не только печатаются, но и покупаются: лучшее доказательство, что теперь у насъ не только пишутся, но и читаются подобныя книги. Было время, когда у насъ занимались наукою только ex officio, по ремеслу; теперь мы видимъ другое, отрадное явленіе: мы видимъ уже любовь къ наукѣ, это необходимое условіе ея преуспѣянія. Многія страницы

въ обширной книгѣ человѣческихъ познаній украсились самобытными изслѣдованіями нашихъ ученыхъ; много задачъ разрѣшено движеніемъ умовъ, преданныхъ наукѣ и ученымъ изысканіямъ. Не удивительно-ли послѣ того, что одна только философія не нашла себѣ мѣста, что она только неузнанная, безпріютная проходитъ мимо насъ? А между-тѣмъ не въ ней ли заключается ключъ ко всѣмъ наукамъ вообще, не она-ли даетъ имъ и законы и методу? Перебирая скудные дары философіи, принесенные ея жрецами на алтарь отечественнаго образованія, мы съ весьма-немногими исключеніями встрѣчаемъ только слабыя, шаткія попытки ученыхъ, можетъ-быть и любящихъ, но во всякомъ случаѣ несовсѣмъ понимающихъ науку. Темное словопрение, напыщенные фразы нашихъ доморощенныхъ философовъ живо напоминаютъ собою таблицу умноженія восторженной вѣдьмы въ гётевомъ „Фаустѣ“. Разумѣется, что эти напыщенные фразы, никому непонятныя, отбиваютъ и послѣднюю охоту къ наукѣ, покрытой такими гіероглифическими нарядами. И въ самомъ дѣлѣ, одна изъ главныхъ причинъ неуспѣха философіи въ Россіи заключается, можетъ-быть, въ ея номенклатурѣ, сложной и еще неустановившейся у насъ. Но такое препятствіе можетъ-ли навсегда остановить изслѣдованіе науки, столь важной по существу своему и по примѣненіямъ? Еще недавно, чуждая намъ дотолѣ терминологія химіи породила сильныя возраженія; но польза ея, но люди, которые занимались ею, уничтожили это препятствіе,—и мы теперь уже привыкаемъ къ языку ея, и странныя выраженія ея

не смущаютъ болѣе щекотливаго уха нашихъ привязчивыхъ судей. Желая представить читателямъ нашего журнала важнѣйшія явленія нынѣшней философіи, я обращаю главное вниманіе на ясность и простоту изложенія. Встрѣчая русское слово, которое можетъ вполне замѣнить какой-нибудь темный философическій терминъ, я употребляю это слово, не боясь упрека или осужденія. Русскій языкъ, благодаря Бога, не нуждается посторонней помощи: онъ богатъ и силенъ, какъ русская держава. Если-же какое-нибудь философическое выраженіе не переводимо, я употребляю его безъ измѣненія, объясняя, разумѣется, при этомъ точное его значеніе. Въ подобныхъ случаяхъ я пожертвую всѣми притязаніями на филологическое творчество, и не испещрю страницъ этого журнала употребленіемъ словъ, чуждыхъ духу нашего прекраснаго языка.

Руководствуясь неизмѣннымъ правиломъ ясности и упрощая по-возможности запутанную философическую терминологію, я постараюсь указать на главнѣйшія явленія философіи, но обращаю особенное вниманіе на философическія системы, созданныя въ новѣйшее время въ Германіи, потому-что онѣ, начиная съ прошедшаго столѣтія, служатъ истиннымъ мѣриломъ состоянія и развитія философіи въ полномъ ея объемѣ, по всѣмъ ея направленіямъ. Въ первыхъ статьяхъ я отмѣчу въ сжатыхъ очеркахъ главныя идеи философическихъ системъ древности, указывая притомъ на постепенное расширеніе науки, которая въ основныхъ началахъ своихъ никогда не подвергалась измѣненію, въ которой истинная цѣль навсегда обозначилась при пер-

вомъ ея появленіи. Потомъ, прослѣдивъ судьбу философіи въ темныхъ хартіяхъ среднихъ вѣковъ и ея возрожденіе въ блистательную эпоху реформаціи, я перейду къ подробнѣйшему разбору германскихъ мыслителей нашего времени.

Говоря о философіи, мы естественнымъ образомъ приходимъ къ вопросу: что такое философія? Ясное и точное опредѣленіе ея столько-же трудно, сколько легко обозначеніе ея предмета и содержанія. Скромные греческіе мыслители избрали для себя смиренное названіе философовъ, любителей мудрости—и философія обнимала въ то время всю область человѣческихъ познаній; потомъ предѣлы ея стѣснились, но за то цѣль ея означилась яснѣе, идея высказалась сознательнѣе. Предметъ философіи составляютъ высшіе вопросы нашего любознанія: Богъ, природа, человѣкъ; цѣль ея — возможное разрѣшеніе этихъ вопросовъ. Уже Цицеронъ называетъ ее наукой божественнаго и человѣческаго. Наука разума, наука основныхъ истинъ человѣческаго знанія, наука идей—всѣ эти опредѣленія, объясняя различныя стороны философіи, не выражаютъ полного ея значенія. Другіе называютъ ее и высшею наукою, или наукою наукъ, потому-что она опредѣляетъ первоначальные законы и методу каждаго знанія, разрѣшая высшую цѣль каждой частной науки сознаніемъ общей связи всѣхъ умственныхъ явленій. Отношенія конечнаго къ безконечному, частнаго къ общему, условнаго къ безусловному, духа къ природѣ, свободы къ необходимости—вотъ задачи, разрѣшаемыя философіею. Различіе системъ проис-

ходить отъ различнаго воззрѣнія философовъ на тѣ же предметы. Эти системы отличаются между собою или самыми основными началами, или способомъ развитія одинакихъ началъ. Съ другой стороны философія безъ системы, измѣняя разумную свободу въ неограниченный произволъ, рождаетъ вредное, скептическое или мистическое направленіе. Но мудрость, приобретаемая философіею, не ограничивается однимъ только теоретическимъ познаніемъ: она имѣетъ живое, благотѣльное вліяніе и въ примѣненіяхъ къ практической жизни; безъ этого примѣненія философія остается сухою, школьною наукою, бессмысленно-прикованною къ наружной оболочкѣ системы. Наука тогда только становится плодотворною, когда она проникнута дыханіемъ жизни, когда она развиваетъ различныя стороны этой жизни.

Въ древности, философію, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, раздѣляли на логику и діалектику, которыя разсуждали о возможности, формѣ и методѣ философіи; на физику, а впослѣдствіе метафизику, которая объясняла вопросы о конечныхъ началахъ всего сущаго, и на этику, или науку нравственной природы и назначенія человѣка. Въ новѣйшія времена философію раздѣлили на теоретическую и практическую; въ теоретической или умозрительной части разсматриваются высшія истины о Богѣ, о природѣ и о духѣ; въ практической—ихъ примѣненія. Подчиняя философію высшую идею человечества въ тройственномъ ея развитіи—идею истины, блага и красоты, мы получимъ новое раздѣленіе на теоретическую, практи-

ческую и эстетическую философію. Врожденное стремленіе разума познать таинственную связь міра вещественнаго и міра духовнаго, разгадать начальныя причины всего видимаго, послужило первымъ основаніемъ философіи. Мнѣніе о какомъ-то первобытномъ философическомъ народѣ, мнѣніе, которымъ потѣшалось притязательное самолюбіе нѣкоторыхъ философовъ, пытавшихся давностію времени возвысить ту или другую систему, не подтверждается достаточными причинами. Это мнѣніе основано на ложной гипотезѣ.

Философическое стремленіе составляетъ общую принадлежность человѣчества, и первыя философы родились въ то же время, когда религіозное созерцаніе впервые покусилось утвердить размышленіемъ теплое вѣрованіе.

Первоначальное развитіе разума, первое дѣйствіе его заключается въ религіозномъ созерцаніи. Потребность божества — необходимое условіе человѣческой ограниченности. Угадывая, еще безъ сознанія, существованіе этого непостижимаго начала всего видимаго и невидимаго, человѣкъ мало-по-малу переходитъ отъ безотчетнаго ощущенія къ понятію еще грубому, но уже подтвержденному тѣми или другими умственными доводами. Вотъ почему первое философическое дѣйствіе человѣка заключается въ развитіи религіознаго созерцанія, вотъ почему теогонія (наука о происхожденіи боговъ) и космогонія (наука о происхожденіи міра) предшествовали всѣмъ прочимъ частямъ философіи. Первыя попытки этого рода перешли къ намъ съ востока. Физическая бездѣятельность, тѣлесное спокойствіе, эти характеристическія черты, столь свойствен

ныя празднымъ народамъ востока, имѣли, можетъ-быть, благотѣльное вліяніе на развитіе умственной жизни, поощряя духовное созерцаніе и возбуждая дѣятельность воображенія. Но нигдѣ на цѣломъ востокѣ это умственное созерцаніе не развилось до такой высокой степени, какъ въ Индіи. Тамъ, кромѣ олицетворенія силъ природы, имѣли уже и отвлеченное понятіе о безусловномъ и независимомъ божественномъ существѣ. Тамъ мы встрѣчаемъ уже это божество въ двойственномъ видѣ. Въ ученіи браминовъ творческое начало представляется въ Брамѣ, силы природы въ Шивѣ, а нравственное начало въ Вишну. По этому ученію, развитіе природы произошло отъ дѣйствія божественнаго оплодотворенія; этотъ плодотворный зародышъ, по началу своему, не принадлежитъ къ образованіямъ природы, непостояннымъ и измѣняющимся; слѣдовательно, онъ и не уничтожается вмѣстѣ съ оболочкою своею, которая разрушается, какъ и всѣ матеріальныя развитія. Освободясь отъ этой конечной оболочки, божественное сѣмя снова оплодотворяетъ природу и успособляетъ ее къ новымъ, органическимъ образованіямъ. Вотъ гдѣ заключается первоначальная идея о переселеніи душъ. — Въ буддистическомъ религіозномъ ученіи мы встрѣчаемъ двѣ первоначальныя, противоположныя силы. Причина мірозданія заключается въ ихъ взаимномъ дѣйствіи и противодѣйствіи. Эти силы — духъ и матерія. Необходимое условіе духа, по этому ученію, заключается въ безконечномъ раздробленіи и многообразіи, которое содѣлываетъ его рабомъ матеріи или неразвитой природы; каждое ду-

ховное недѣлимое принимаетъ какую-нибудь матеріальную оболочку, болѣе или менѣе благородную, судя по высшей или нисшей степени свободы этого духовнаго недѣлимаго. Перешагнувъ за границы матеріальнаго развитія, уничтоживъ тягостную необходимость жить подъ тѣлесною оболочкою, духъ пользуется уже безъусловною свободою, и въ этомъ состояніи онъ называется Буддою. Подъ оболочкою матеріи духъ не имѣетъ воли; первое сознаніе неволи есть вмѣстѣ съ тѣмъ и первый шагъ къ освобожденію; пробужденная воля, сознаніе причинъ неволи и борьба нравственнаго начала съ началомъ физическимъ довершаетъ мало-помалу это освобожденіе духа отъ матеріальныхъ оковъ.

Переходя отсюда къ другимъ воззрѣніямъ востока, мы встрѣчаемъ въ народной религіи Китая поклоненіе небу, звѣздамъ и олицетвореннымъ силамъ природы. Лао-Кіунъ и Фо приправляли эти религіозныя вѣрованія своими философическими мнѣніями. Конфуцій (550 до Р. Х.) соединилъ всѣ эти переданія вмѣстѣ, улучшилъ законы и обогатилъ своихъ послѣдователей превосходными правилами нравственности. — Религія парсовъ заключалась въ поклоненіи звѣздамъ (сабизмъ) и отличалась простотою и величіемъ. Зороастръ, мудрецъ глубокомысленный и пламенный, проповѣдывалъ свое ученіе въ Мидіи. Соображаясь съ общимъ мнѣніемъ, онъ принималъ одно первоначальное верховное существо, всемогущее и безконечное. Отъ него, въ силу творческаго слова (Гоноферъ), произошло начало добра (Ормуздъ) и начало зла (Ариманъ). Ученіе этого мыслителя, изложенное въ „Книгѣ жизни“

(Зендавеста), имѣло сильное вліяніе и многочисленныхъ послѣдователей. — Египетъ пользуется прекраснымъ названіемъ колыбели человѣческой образованности; тамъ въ самой глубокой древности, уже развивалась наука; но она находилась въ исключительномъ владѣніи жрецовъ, которые ревниво скрывали ее отъ толпы, упрочивая за собою зависимость черни магическимъ вліяніемъ своихъ неприкосновенныхъ тайнъ. Вотъ почему мы не можемъ съ точностію опредѣлить истинный вѣсъ и значеніе египетской мудрости. Народъ поклонялся небеснымъ свѣтиламъ и нѣкоторымъ животнымъ. Озирисъ и Изида составляютъ проявленіе двойственного начала, мужскаго и женскаго. Но объясненіе истиннаго, тайнаго смысла народной міеологіи осталось для насъ неразрѣшенною загадкою. Геометрія, астрономія и астрологія составляли, по всей вѣроятности, главное занятіе египетскихъ жрецовъ.

Итакъ религіозное созерцаніе составляетъ отличительную черту восточнаго характера. Прекрасная идея развитія міра изъ одного божественнаго начала и конечнаго возвращенія всего созданнаго къ этому началу принадлежитъ востоку. Недостатокъ здраваго философическаго умозрѣнія препятствовалъ основательному развитію этой мысли; дѣятельное воображеніе загромодило ее странными несвязными баснями, Агждадая вкусу времени и прихотямъ народа.

Но всѣ эти умственные попытки служатъ только приуготовленіемъ или предисловіемъ къ философіи собственно, которая, какъ извѣстно, получила первое

и истинное свое начало въ Греціи. Въ исторіи цѣлаго человѣчества мы, кромѣ грековъ, не встрѣтимъ другаго народа, который могъ-бы представить развитіе такой полной, совершенной организаціи. Первые сѣмена просвѣщенія, зароненныя иноземнымъ вліяніемъ въ нѣдра греческаго духа, принесли богатые плоды. Всѣ разнородныя стихіи многообразнаго просвѣщенія разрабатывались неутомимою дѣятельностію самобытнаго ума. Поэзія — родная, отличительная черта греческаго народа — породила философію, и этотъ духъ философическій, однажды пробужденный силою счастливыхъ обстоятельствъ, захватилъ всю обширную область человѣческаго знанія, и смѣлымъ, вѣрнымъ полетомъ понесся къ предположенной цѣли.

Теннеманъ справедливо опредѣляетъ періодъ греческой философіи свободнымъ стремленіемъ разума къ познанію конечныхъ причинъ и законовъ природы и свободы, безъ яснаго сознанія методы, которая могла бы довести до этого познанія. Въ первомъ отдѣлѣ этого періода умозрѣніе еще мало удалялось отъ поэзіи, еще не имѣло системы; философія занималась тогда изслѣдованіемъ вопроса о происхожденіи природы и объ основныхъ началахъ міра. Фалесъ (600 до Р. Х.), основатель *іонической* школы, первый занялся умозрительнымъ рѣшеніемъ этого вопроса, принимая за основаніе «данныя» опыта. По его мнѣнію, вода или влага составляетъ основное начало всего сущаго. Мы не знаемъ однакожъ, какимъ образомъ соединялъ онъ идею боговъ съ этою матеріальною системою. Ему приписываютъ знаменитое выраженіе:

υποστηρικτῶν. Анаксимандръ, другъ и современникъ
Θалеса, при изслѣдованіи того-же вопроса, прини-
малъ за основаніе безконечность, не давая впрочемъ
ей точнѣйшаго опредѣленія. Эта безконечность, по
мнѣнію нѣкоторыхъ неизмѣвшая никакого стихійнаго
состава, по мнѣнію другихъ представляла нѣчто сред-
нее между водою и воздухомъ. Анаксименъ, ученикъ
Анаксимандра, замѣнилъ эту неопредѣленную беско-
нечность воздухомъ, называя его безконечною, перво-
начальною стихіею. Всѣ эти мыслители руководство-
вались опытомъ при изслѣдованіи вопроса объ основ-
ныхъ началахъ міра. — Пифагоръ (584 до Р. Х.),
учредитель *италійской* школы, разрѣшалъ ту-же за-
дачу формами созерцанія, основываясь на выводахъ
опыта. Этотъ таинственный мудрецъ, прославленный
баснями древности, былъ въ одно и тоже время
предметомъ почти-религіознаго поклоненія и метою
безпрерывныхъ гоненій. Облекая въ священный мракъ
сокровеннѣйшія тайны обширнаго знанія, онъ дѣй-
ствовалъ на толпу волшебнымъ вліяніемъ мудрости,
непонятной для близорукихъ его современниковъ.
Математика и астрономія обязаны ему такими-же
важными успѣхами, какъ и философія и нравствен-
ность. Мы не имѣемъ достовѣрныхъ рукописей его
сочиненій, и потому только приблизительно можемъ
опредѣлить сущность его ученія. По мнѣнію Пифа-
гора, цѣль философіи состоитъ въ освобожденіи
духа отъ всѣхъ препятствій, мѣшающихъ его конеч-
ному усовершенствованію. Математика — первая сту-
пень мудрости. Разсматривая предметы, сохраняющіе

середину между матеріальными и духовными вещами, она непримѣтнымъ образомъ приуготовляетъ духъ къ отвлеченному созерцанію. Число само по себѣ не безконечное представляетъ источникъ той безконечной дѣлимости, которая составляетъ непремѣнное качество всѣхъ тѣлъ. Число въ отвлеченномъ понятіи существовало въ божественномъ духѣ до зачатія всего созданнаго, представляя такимъ образомъ начало и образецъ всего творенія. Монада (единица) составляетъ основное начало всѣхъ прочихъ чиселъ.

Истинный смыслъ этого ученія, не смотря на всѣ попытки, остался неразгаданнымъ. Не умѣя выразить своихъ отвлеченныхъ понятій на обыкновенномъ языкѣ, Пифагоръ, по всей вѣроятности, принималъ числа, какъ символическія представленія началъ природы, замѣчая аналогію между ими и между формами мышленія въ божественномъ разумѣ. Такъ единица, основа и начало всѣхъ прочихъ чиселъ, изображала, можетъ быть, простое, единое, божественное существо, отъ котораго происходятъ всѣ прочія развитія природы. Богъ, по опредѣленію Пифагора, духъ вселенной, повсемѣстный, вездѣсущій, невидимый, неразрушимый, доступный только разуму, источникъ всей животной жизни, внутренняя причина всякаго движенія, творческое начало вселенной. Человѣкъ созданъ на божественномъ началѣ; душа его состоитъ изъ двухъ частей — изъ умственной или раціональной, и изъ чувственной, составляющей вмѣстилище страстей; послѣдняя, *чувственная* душа (*Эвмосъ*,) погибаетъ духъ (*Фрэнъ*) безсмертенъ. Въ ученіи этого философа

повторяется и восточная идея о переселеніи душъ. Между его послѣдователями, болѣе другихъ прославились Алкмеонъ, Гиппонъ и Филолай, отъ котораго Платонъ приобрѣлъ письменное изложеніе пифагоровыхъ идей.

Возлѣ этихъ двухъ школъ является новая, *элеатическая* школа, основанная Ксенофаномъ, отвергающая непреложность опыта, противопоставляя ему чистое умозрѣніе. Здѣсь въ тождествѣ міра и божества проявляется пантеистическая идея. Ксенофанъ (536 до Р. Х.) опредѣляетъ божество существомъ совершеннѣйшимъ, сходнымъ съ самимъ собою, въ которомъ все мысль, все ощущеніе. Объясняя разнообразіе видимыхъ явленій природы, онъ принимаетъ за начало двѣ основныя стихіи — воду и землю. Парменидъ, послѣдователь той-же школы, утверждаетъ, что одному только разуму доступно познаніе истины, что доказательство чувства обманчиво. Отсюда онъ выводитъ двоякую систему познанія, приписывая разуму познаніе истинное, а чувству — кажущееся, ложное. Все, что существуетъ едино и тождественно, безначально, недѣлимо и неизмѣнно; всякое превращеніе, всякое движеніе есть только кажущееся, мнимое явленіе, основанное на постоянномъ способѣ представленія предметовъ. Эти ложныя представленія, исходящія отъ чувствъ нашихъ, причиняются двумя началами, теплотою или свѣтомъ, и холодомъ или мракомъ. Зенонъ, подтверждая мнѣнія Парменида, въ то же время съ рѣдкимъ остроуміемъ опровергалъ эмпирическія системы. Противопоставляя выводамъ опыта

изслѣдованіе разума, Зенонъ первый проложилъ дорогу скептическому направленію, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлался основателемъ діалектики, или искусства убѣжденія, въ которомъ излагались первыя практическія правила краснорѣчія.

Наконецъ въ четвертой, *атомистической* школѣ соединяются два предъидущія воззрѣнія разума и опыта. Левкиппъ (500 до Р. Х.) принимаетъ началомъ дѣйствительнаго, видимаго міра разнообразное вещество, наполняющее собою пространство. Безпрерывныя дѣленія этого вещества ограничиваются наконецъ начальными частицами, *атомами*. Въ противоположность этой матеріальной существенности, онъ принимаетъ еще пустоту, объясняя соединеніемъ и раздѣленіемъ этихъ двухъ началъ происхожденіе и состояніе міра. Атомы, пустота и движеніе заключаютъ въ себѣ главныя основы этой системы. Атомы, по своей малости, неизмѣнны, недѣлимы и непримѣтны. Круглые атомы одарены движеніемъ. Душа не что иное, какъ собраніе круглыхъ атомовъ. Демокритъ, послѣдователь той-же школы, доказывалъ необходимость атомовъ невозможностію безконечнаго дѣленія.

Мы видѣли до этого времени, съ какою ревностію умозрѣніе посягало на достиженіе высшихъ познаній. Быстрое распространеніе многообразныхъ свѣдѣній, можетъ быть, и суетное желаніе пощеголять этими свѣдѣніями породили злоупотребленіе умозрительныхъ изслѣдованій. Притязаніе софистовъ, которыхъ одинъ нѣмецкій писатель удачно сравниваетъ съ французски-

ми энциклопедистами, захватили всю ученость того времени. Доказательство и опроверженіе одного и того-же предмета составляли торжество ихъ жалкаго ремесла. Безкорыстное изслѣдованіе истины замѣнилось суетнымъ щегольствомъ діалектики. Чуждые истиннаго духа философіи, софисты становились поборниками любой философической идеи, и при первомъ удобномъ случаѣ измѣняли ей въ пользу другой, ей противоположной. Горгій (440 до Р. Х.) доказывалъ, что нѣтъ ничего дѣйствительнаго, и что человѣку доступно одно только ложное познаніе. Протагоръ утверждалъ, что всякое познаніе зависитъ отъ индивидуальнаго взгляда, что то или другое мнѣніе одинаково справедливо, и что въ самомъ человѣкѣ заключается мѣрило его изслѣдованій. По ученію Тразимаха, единое правило жизни опредѣляется прихотями, желаніями и физическою силою человѣка. Эти и подобныя имъ злоупотребленія софистовъ возбуждали съ другой стороны желаніе утвердить философію на другомъ, болѣе основательномъ началѣ. Необходимость положительныхъ правилъ, какъ для практической, такъ и для нравственной жизни, продолжала системы, и вмѣстѣ съ тѣмъ подавала поводъ къ критическому разбору прежнихъ ученій.

Вліяніе Сократа породило это новое благотѣльное направленіе, которымъ начинается второй періодъ греческой философіи, періодъ, отличающійся систематическимъ изслѣдованіемъ высшихъ вопросовъ чело-вѣчества. *Сократъ* (470—400 до Р. Х.) является безкорыстнымъ поборникомъ истины, однимъ изъ тѣхъ

великихъ геніевъ міра, которыхъ чернить клевета себлюбивыхъ современниковъ для того только, чтобы слава ихъ тѣмъ ярче горѣла въ грядущихъ вѣкахъ, — однимъ изъ тѣхъ мучениковъ правды, которые смертию запечатлѣваютъ неприкосновенность своего ученія. Не основывая новой школы, не создавая системы, Сократъ дѣйствовалъ на умы силою нравственности. Никакая діалектика не могла устоять противъ здраваго смысла, противъ холодной ироніи Сократа. Святость помысловъ, чистота характера удерживали за нимъ слѣпое довѣріе его послѣдователей. Лукавыя козни завистниковъ погубили мудреца; гнусная неблагодарность современниковъ поднесла ядовитую чашу одному изъ великихъ наставниковъ человѣчества.

Нравственность и религія, назначеніе и обязанности человѣка составляютъ главные предметы ученія Сократа. По его словамъ: познать добро и дѣйствовать, соображаясь съ нимъ, — вотъ высшее условіе человѣческаго счастья. Познаніе самого себя и умѣніе управлять собою приводятъ къ этой цѣли. Личныя обязанности человѣка состоятъ въ благоразуміи, храбрости и умѣренности; обязанность его относительно другихъ — въ справедливости. Первая идея естественнаго права принадлежитъ Сократу. Далѣе онъ говоритъ о тождественности добродѣтели и счастья. Богъ — верховное начало всѣхъ нравственныхъ законовъ; порядокъ и гармонія природы свидѣлствуютъ о существованіи его. Душа создана по подобію божію. Разумъ сближаетъ ее съ создателемъ. Прочія науки, не имѣющія примѣненія къ практической

жизни, Сократъ считалъ ненужными. Онъ предподавалъ свое ученіе въ видѣ разговоровъ и пользовался возраженіями слушателей для лучшаго доказательства собственныхъ мнѣній. Отвергая исключительныя начала умозрѣнія, расширяя область философическихъ разысканій, указывая на истинное начало всякаго познанія, Сократъ открываетъ новую, блистательную эпоху философіи. Правота его характера, новостъ ученія, убѣдительность методы собирали около него толпу пламенныхъ послѣдователей. Ксенофонъ, Эсхинъ, Критонъ, соображаясь съ правилами его ученія о нравственности, собственною жизнію распространяли его ученіе. Одинъ изъ учениковъ его, Антисеенъ, основалъ *циническую* школу. По его мнѣнію, высшее благо человѣка состоитъ въ добродѣтели, которая сама по себѣ заключается въ воздержаніи и въ готовности къ лишеніямъ; этими только средствами человѣкъ, выходя изъ зависимости внѣшняго міра, упрочиваетъ за собою свободу. Этотъ способъ приводитъ его къ высшему совершенству. Все прочее не заслуживаетъ нашихъ усилій. Вотъ почему циники презираютъ науку умозрѣнія и пренебрегаютъ всѣми общественными приличіями. Антисеенъ имѣлъ между прочимъ весьма очищенное понятіе о *единомъ* Богѣ далеко превышающемъ всѣ народныя божества. Благородная гордость, строгость добродѣтели и странность поведенія привлекали къ основателю цинической школы толпу послѣдователей, между которыми преимущественно славился Діогенъ. — Другой ученикъ Сократа, Аристиппъ, избалованный всѣми дарами

счастія, любя роскошь и чувственные наслажденія, подъ благотѣльнымъ вліяніемъ Сократа научился облагораживать самыя страсти. Онъ основалъ *киринеискую* школу. Возбуждая къ удовольствіямъ жизни, онъ опредѣлялъ счастье человѣка наслажденіями и духовною свободою. Его послѣдователи развили это начало въ особенной системѣ. Исходя отъ чувственныхъ ощущеній, они раздѣляли ихъ, какъ для тѣла, такъ и для души, на удовольствія и на горести, предпочитая впрочемъ удовольствія тѣла. По мнѣнію ихъ, цѣль жизни заключается не въ духовномъ счастіи, но въ наслажденіяхъ, нѣги и чувственности. — Пирронъ, вмѣстѣ съ Сократомъ, называлъ добродѣтель верховнымъ благомъ человѣка. Все прочее — знаніе, науку, онъ считалъ ненужнымъ, невозможнымъ. Онъ доказывалъ эту невозможность науки, выводя изъ противорѣчія началъ непостижимость предметовъ. На этомъ основаніи онъ принималъ безстрастіе (*ἀπαθεία*) за лучшее правило жизни. Такимъ образомъ Пирронъ сдѣлался основателемъ истинной *спектической* школы, давая ей частное и точное направленіе.

Но высшее развитіе ученія Сократа, проникнутое живымъ, самостоятельнымъ взглядомъ, совершились въ раціональной системѣ догматической философіи *Платона* (430 до Р. Х.) Этотъ великій мыслитель, одаренный глубокою поэтическою душою, находился восемь лѣтъ подъ могущественнымъ вліяніемъ Сократа, который далъ ему философическое направленіе. Сократъ возбудилъ дѣятельность ума, разрушивъ мнимую славу софистовъ, установивъ высокія правила

нравственности и бросивъ свѣтлую искру на темный путь умозрѣнія; но этотъ зародышъ новой философіи еще не имѣлъ системы: Платонъ создалъ эту систему, и, по указаніямъ своего наставника, силою творческаго, самобытнаго генія обогатилъ науку новыми, бессмертными мыслями. Платонъ основалъ при академіи новую школу, которая на долгое время осталась разсадникомъ великихъ мужей, съ пользою подвизавшихся на трудномъ поприщѣ. Разсматривая философію съ высшей точки зрѣнія, Платонъ озарилъ ее новымъ свѣтомъ, распространилъ ее въ объемъ, усовершенствовалъ въ методѣ. Онъ называлъ философію наукою по-преимуществу. Источникомъ нашихъ познаній онъ принимаетъ разумъ. Въ немъ а ргіогі находятъ нѣкоторыя предустановленныя, прирожденныя, такъ сказать, понятія (*νοήματα*). Они составляютъ основаніе всѣхъ нашихъ мыслей и побудительное начало нашихъ поступковъ. Платонъ называетъ ихъ *идеями*, выставляя ихъ вѣчными образцами всего созданнаго и истиннымъ началомъ нашихъ познаній, къ которому мы, посредствомъ мысли, относимъ безконечное разнообразіе частныхъ предметовъ, такъ что познаніе не производится, но только развивается опытомъ. Душа сознаетъ существованіе этихъ идей, замѣчая ихъ подобія въ явленіяхъ ви́шшняго міра; она создаетъ ихъ въ смутномъ воспоминаніи прежняго блаженнаго своего состоянія, когда она еще не имѣла на себѣ тѣлесной оболочки. Изъ соотвѣтствія предметовъ, наблюденія и идей, Платонъ выводитъ необходимость общаго начала этихъ предметовъ и души,

ихъ сознающей; это общее начало заключается въ Богѣ. — Вотъ на какихъ основаніяхъ составилаcя система Платона, который рѣзкою чертою отдѣлилъ познаніе эмпирическое отъ раціональнаго. Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ раздѣлилъ философію на логику или діалектику, метафизику (фізіологію или физику), и мораль или политику, и яснѣе означилъ различіе между способностями познавать, чувствовать и хотѣть. Платонъ опредѣляетъ добродѣтель, какъ усиліе чело-вѣка уподобиться своему Создателю, или какъ соглашеніе правилъ съ поступками, что составляетъ усло-віе высшаго счастія. Основные стихіи добродѣтели состоятъ въ мудрости, умѣренности, мужествѣ и справедливости. Красота есть чувственное изображе-ніе духовнаго и тѣлеснаго совершенства. Истина и добродѣтель составляютъ съ нею одно цѣлое, кото-рое рождаетъ любовь, лучшую путеводительницу къ добродѣтели, любовь, чуждую наслажденія чувстви-тельнаго (платоническую). — Философія, кромѣ того, обя-зана Платону первою попыткою создать философиче-скій языкъ, первымъ объясненіемъ идеи познанія и науки, развитіемъ значенія матеріи, формы, случайно-сти и сущности, дѣйствія и причины, доказательствомъ бытія Божія и безсмертія души. Сила мысли, свѣжее, полное жизни изложеніе и личное вліяніе Платона привлекали къ нему толпу учениковъ, которые сдѣ-лались ревностными проповѣдниками его ученія. Но не только современники, философія всѣхъ вѣковъ обязана ему новымъ, глубокомысленнымъ направле-ніемъ. Его вліяніе отозвалось и въ позднѣйшихъ сто-

лѣтіяхъ, и при всѣхъ переворотахъ, въ которыхъ возбуждалась высшая дѣятельность человѣческаго духа, философія все снова возвращалась къ нему, согрѣваясь теплою жизнію его ученія.

Въ то время, когда умозрѣніе Платона положило твердое начало раціональной философіи, *Аристотель* (р. 384 до Р. Х.) съ другой стороны развилъ и усовершенствовалъ эмперическія системы. Естественныя науки были первымъ и любимымъ предметомъ его занятій; потомъ онъ въ продолженіи двадцати лѣтъ находился подъ вліяніемъ Платона; но, не смотря на то, еще можетъ-быть, не было ученика, который принялъ-бы направленіе столь противоположное направленію своего учителя. Способность анализа составляетъ отличительную черту Аристотеля. Изученіе природы — цѣль его, наблюденіе — средство. Онъ отвергалъ прирожденныя идеи Платона, принимая и самыя возвышенныя понятія разума примымъ, непосредственнымъ слѣдствіемъ опыта, который даетъ имъ и основаніе и развитіе. По его мнѣнію, жажда познанія породила философію; онъ принимаетъ познанія двоякаго рода, отличая посредственныя познанія отъ непосредственныхъ и почитая послѣднія необходимыми для возможности первыхъ. Сужденіе переходитъ отъ непосредственнаго познанія, порожденнаго опытомъ и наблюденіемъ, къ посредственному. Логика есть наука сужденія. Аристотель раздѣляетъ философію на умозрительную, рассматривающую существенный, ненарушимый порядокъ міра, независящій отъ нашей воли, и на практическую, разбирающую все

случайное и произвольное. Въ умозрительной философіи Аристотель разсматриваетъ физику, космологію и психологію; для послѣдней онъ создалъ первую правильную теорію, основанную на началахъ, дознанныхъ опытомъ и наблюденіемъ. Душа, по его мнѣнію, первая форма всякаго органическаго тѣла, первое дѣйствующее начало жизни. Она отличается отъ дѣла по существу, но какъ форма не можетъ отъ него отличиться. Въ практической философіи Аристотель разсматриваетъ идею высшаго блага и конечную цѣль назначенія человѣческаго. Счастіе составляетъ эту цѣль. Оно заключается въ полномъ и совершенномъ упражненіи разума. Добродѣтель и счастіе одно и то же, потому-что добродѣтель состоитъ въ полномъ развитіи и усовершенствованіи разума. — Аристотель распространилъ кругъ философіи болѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ; онъ основалъ *перипатетическую* школу и имѣлъ многочисленныхъ послѣдователей. Вліяніе Платона и Аристотеля произвело двѣ главныя системы, которыя въ-теченіи многихъ столѣтій раздѣляли умы и служили исходнымъ пунктомъ для самыхъ разнообразныхъ изслѣдованій.

Двѣ философическія школы, о которыхъ мы уже говорили, получили въ это время большее развитіе. Киренейская школа породила систему *Эпикура*, а циническая послужила основаніемъ ученію *стоиковъ*. Эпикуръ (р. 337 до Р. Х.) преподавалъ въ Аѳинахъ свою систему. Философія, по его мнѣнію, доводитъ человека посредствомъ разума до счастія. Познаніе предметовъ зависитъ отъ непосредственнаго дѣйствія

чувственнаго усмотрѣнія. Принимая безошибочность чувственнаго усмотрѣнія, онъ раздѣляетъ сужденіе на истинное и ложное, судя по тому, соотвѣтствуетъ ли оно этому усмотрѣнію, или нѣтъ. Удовольствія составляютъ высшее благо человѣка. Освобожденіе отъ тѣлесныхъ и душевныхъ недуговъ составляетъ цѣль нашей жизни. Наслажденія и печали духа имѣютъ верхъ надъ ощущеніями тѣла. Существованіе Бога Эпикуръ доказываетъ повсемѣстностію религіозныхъ идей. Эта школа, основанная на самыхъ общихъ правилахъ, долгое время предохранялась ими отъ всѣхъ существенныхъ измѣненій. Уничтожая суевѣріе, она вмѣстѣ съ тѣмъ искореняла идеальное направленіе души и возбуждала своихъ послѣдователей къ чувственной жизни. Зенонъ (340 до Р. Х.) былъ основателемъ *стоической системы*. Строгая нравственность отличаетъ его ученіе. По его опредѣленію, философія — наука человѣческой мудрости, обнаруживающейся въ мысли, въ познаніи и въ дѣйствіи. Главная часть философіи — мораль: главное правило морали — подражаніе природѣ. Безстрастіе, но не безчувственность, — необходимое условіе добродѣтели. Обязанность человѣка состоитъ въ совершенномъ уничтоженіи страстей. Самоубійство допускается при извѣстныхъ обстоятельствахъ, какъ слѣдствіе безусловной свободы. — Правила этой школы, не примѣняемая съ одной стороны къ практической жизни, возбуждали съ другой стороны послѣдователей ея къ самымъ смѣлымъ подвигамъ самоотверженія. Увѣренность и смѣлость стоической философіи породила строгій разборъ и опровер-

женіе ихъ догматическаго ученія. Ардезилай, основатель новой, или второй академіи, далъ ей скептическое направленіе. Спромность и недоувѣріе составляютъ отличительный характеръ этой школы. Она ограничиваетъ притязанія разума, не уничтожая впрочемъ мнѣнія о возможности дѣйствительнаго или по-крайней-мѣрѣ вѣроятнаго познанія. Распря между стоиками и академіею увеличивалась со дня на день. Чѣмъ отважнѣе первые заступались за свое ученіе, тѣмъ смѣлѣе возставало сомнѣніе второй. Но эта борьба не принесла уже важныхъ плодовъ; силы истощались, а во время Филона и Антиохія послѣдовало даже явное сближеніе обѣихъ школъ.

Греція ослабѣвала. Она исполнила свое назначеніе и не могла идти далѣе; разумъ прошелъ по всѣмъ возможнымъ направленіямъ, развернулъ всѣ стороны изслѣдованія, не находилъ удовлетворенія; разногласіе системъ влекло за собою недоувѣріе, а недостатокъ методы затруднялъ дальнѣшее изученіе. Обновленіе философіи требовало свѣжаго, новаго изслѣдованія и новаго, молодаго народа, съ другими элементами, для дальнѣйшаго развитія прежнихъ идей, — и вотъ покоренная Греція сдѣлалась наставницею своихъ побѣдителей и пересадила благотворныя сѣмена просвѣщенія на грубую, но свѣжую почву воинственнаго Рима. Хотя усмотрѣніе не могло имѣть блистательныхъ успѣховъ въ народѣ чисто-практическомъ, хотя неестественное политическое устройство всемірной монархіи и развращеніе нравовъ вполнѣдствіи препятствовали чистотѣ философическаго воззрѣнія; но

римляне оказывали по временамъ и на атомъ поприщѣ ревностную дѣятельность. Знаніе философіи считалось у нихъ необходимымъ условіемъ образованности, какимъ-то лакомъ, который придавалъ блескъ общественному человѣку. Они предпочитали усмотрѣнія Платона и Аристотеля, а правила нравственности заимствовали у стоиковъ и Эпикура. Они усовершенствовали свою юриспруденцію посредствомъ философіи, хотя, вообще говоря, не проложили новыхъ путей, не открыли новаго направленія. Однакожь и между ними являлись люди, которые съ жадностію изучили науки и съ безпристрастіемъ обсуживали системы. Такъ Цицеронъ, утративъ свое политической вліяніе, съ прежнимъ краснорѣчіемъ передавалъ своимъ согражданамъ науку Греціи. Я упомянулъ уже о тѣхъ философахъ, которыхъ римляне изучили съ особенною любовію. Такъ Эпикуръ, проповѣдникъ правилъ легкой, беззаботной жизни, нашелъ между ними толпу послѣдователей; но ученіе его излагалось безъ дальнѣйшаго развитія, безъ самостоятельнаго изслѣдованія. Дидактическая поэма Лукреція (р. 95 до Р. Х.) не что иное, какъ краснорѣчивое изложеніе системы Эпикура. Съ другой стороны твердость и суровость римскаго характера не могла не сочувствовать строгимъ правиламъ стоическаго ученія. Эта философія имѣла рѣзкое вліяніе на науку права и на законы. Римляне примѣняли ее къ практической жизни, наблюдая суровыя начертанія ея морали. Между римскими стоиками Сенека и Эпиктетъ занимаютъ первое мѣсто. Сенека отличилъ философію практической жизни отъ

философіи школы, а Эпиктетъ привелъ законы стоической морали къ простому правилу: *sustine et abstine*. Въ это-же время вниманіе любопытнаго Рима устремилось и на Пивагора, на это таинственное, загадочное лицо былаго міра, окруженное баснями и чудесами. Многіе примѣняли его ученіе къ практической жизни, ожидая отъ подобнаго переворота самыхъ благодѣтельныхъ послѣдствій. Другіе объясняли темное значеніе его загадочной системы. Греческіе перипатетики (такъ назывались послѣдователи Аристотеля) этого времени не произвели никакого впечатлѣнія; они безъ всякаго участія занимались неблагодарнымъ толкованіемъ Аристотеля. Духъ анализа, свойственный этой философіи, дѣлалъ ее чуждою основнымъ стихіямъ римскаго характера. Та же причина, которая отдѣлила римлянъ отъ Аристотеля, пристрастила ихъ къ философіи Платона. На мѣсто скептической академіи, во время Августа, въ Римѣ основалась *новая платоническая школа*, которая и силою вліянія и числомъ послѣдователей превзошла свою предшественницу. Эти *неоплатоники* передавали народу нравственныя и религіозныя идеи Платона, примѣняя ихъ, подъ аллегорическою оболочкою, къ стариннымъ мистеріямъ, которыя за давностію времени сдѣлались ходячимъ вѣрованіемъ толпы. Самыя отвлеченныя умозрѣнія Платона развивались этою школою подъ догматическою формою; самыя легкія указанія принимали видъ положительныхъ истинъ.

Но тамъ, гдѣ проявлялись такія противоположныя системы, вмѣстѣ съ тѣмъ и сомнѣнію открывалось

обширное поприще,—и Энезидемъ снова возбудилъ скептическое направленіе. Онъ далъ ему большее расширеніе и утвердилъ на болѣе-прочномъ началѣ. Онъ основался на взаимной противоположности вещей, говоря о противорѣчіи умственныхъ представленій. Скептическая школа, учрежденная имъ, достигла высшаго развитія во время Секста-Эмпирика, который съ особенною ловкостію опредѣлялъ предметъ, цѣль и методу философіи сомнѣнія. Онъ называетъ скептицизмъ способностію познавать противорѣчія чувственныхъ представленій и умственныхъ понятій. Отъ сличенія этого противорѣчія онъ переходитъ къ уничтоженію всякого опредѣлительнаго сужденія о предметахъ, которые въ сущности своей недоступны нашему познанію. Такое смиреніе влечетъ за собою душевное спокойствіе и совершенное равновѣсіе духа — можетъ-быть, гибельнѣйшее состояніе души. Допуская представленія и явленія, скептическое ученіе не отвергаетъ возможности познанія, не уничтожаетъ его дѣйствительности. Слѣдуя этому направленію, Секстъ оказалъ философіи существенную услугу, подвергая различныя системы строгому разбору и обнаруживая взаимныя ихъ противорѣчія.

Около этого времени, въ Александріи является и восточная философія въ соприкосновеніи съ греческими идеями, подъ новыми формами. Ученые раввинисты-евреи, принявъ во время изгнанія различныя религіозныя идеи Зороастра, слѣлались первымъ органомъ этой философіи. Когда Египетъ, въ послѣдствіе, приютилъ этихъ ученыхъ, они познакомились и съ грече-

скими умозрѣніями. Александрія, которая, начиная отъ Птолемея, приняла и еврейское ученіе, поощряла вмѣстѣ съ тѣмъ и взаимную мѣну идей между восточною и западною философіею. Между этими мыслителями выше прочихъ стоитъ Филонъ. Одаренный высокими способностями, онъ съ ревностію изучалъ греческую философію. Платонъ, котораго система сама по себѣ представляетъ разительное сближеніе съ восточными идеями, сдѣлался его руководителемъ. Филонъ принимаетъ два первыя начала, которыя существовали отъ вѣка — божество и матерію. Соображаясь съ идеями Платона, онъ принимаетъ божество какъ безконечное, неподвижное, дѣйствительное, непостижимое существо: матерію онъ разсматриваетъ какъ небытіе — (*μη ὄν*); она одарена отъ божества и формою и жизнію. Въ системѣ Филона мы встрѣчаемъ явное сближеніе прежнего талмудо-раввинскаго ученія и платоническихъ идей.

Трудно опредѣлить истинное начало *каббалы* (изустнаго преданія), этого таинственнаго ученія, переданнаго и распространеннаго между евреями, по увѣренію ихъ, сверхъестественными, непостижимыми путями. Но развитіе каббалистики подъ философическими формами принадлежитъ Акибѣ и его ученику, Симеону-Бен-Юхаю. Все это ученіе представляетъ странную смѣсь самыхъ превратныхъ понятій, затемненныхъ, при вліяніи восточныхъ релігіозныхъ идей, восторженными мистическими воззрѣніями. Все, что существуетъ, есть созданіе, или истеченіе божества или „первоначальнаго свѣта“, какъ называютъ божество.

ство каббалисты. По этому духовному происхожденію и самое грубое вещество представляет только большее или меньшее сгущеніе лучей свѣта. Человѣкъ есть отраженіе вселенной; восторгъ приводитъ его къ возможности познанія.

То же самое злоупотребленіе умозрительнаго изслѣдованія отличаетъ и *гностиковъ*, которые имѣли притязаніе на тайное и совершенное познаніе высшихъ вопросовъ философіи. Многие изъ нихъ исповѣдывали религію Христа; но церковь называла ихъ еретиками, потому-что ученіе, преподаваемое ими, представляло таинственную смѣсь христіанскихъ истинъ и греческихъ идей съ халдейскими и персидскими религіозными вѣрованіями. Другіе послѣдователи гностической философіи были еврейскаго происхожденія; еще другіе пришли съ востока. Одни изъ нихъ принимали божество, какъ единое начало всего сущаго, другія признавали два противоположныя начала, доброе и злое, которыя находятся въ непрерывной борьбѣ между собою. Теряясь въ самыхъ смѣлыхъ гипотезахъ, они называли свое ученіе слѣдствіемъ высшаго, божественнаго откровенія. Восторженное воображеніе и неограниченная мечтательность составляютъ отличительную черту этой философіи. Свободному изслѣдованію ума препятствовала неодолимая склонность ко всему таинственному и сверхъ-естественному.

Это же преобладаніе воображенія породило во второмъ столѣтіи по Р. Х. новую школу между александрійскими послѣдователями Платона, которая отличалась мечтательною восторженностію. Плотинъ былъ

истиннымъ основателемъ этой школы. Несправедливо смѣшивали этого философа съ безотчетными, ему современными мистиками. Возвышенность созерцанія, твердость характера, чистота вдохновенія отличаютъ его рѣзкими чертами отъ болѣзненныхъ мечтателей этого времени. Правда, и въ немъ обнаруживается общій недостатокъ свободнаго умозрѣнія; но отрицаніе матеріи и пространства, этого „отвѣта дѣйствительности“, этой „тѣни духовъ“, какъ называется ихъ Плотинъ, влекло за собою глубокую душевную потребность сообщенія съ божествомъ и непосредственное созерцаніе безконечнаго (абсолютнаго). Созерцаніе замѣняетъ познаніе и дѣлаетъ его возможнымъ, потому что душа, погружаясь въ сущность предмета, ею созерцаемаго, соединяется съ нимъ и понимаетъ его въ этомъ соединеніи.

Мистическое направленіе, данное философіи, поддерживалось суевѣріемъ этого времени. Восторженная мечтательность находила обильную жатву на обширномъ полѣ неосновательныхъ шаткихъ и нелѣпыхъ гипотезъ. Люди съ умомъ и дарованіями, Ямблихъ, Порфирій и другіе слѣдовали общему, ложному направленію. Угождая суевѣрію времени, они сами терялись въ таинственныхъ вымыслахъ своего воображенія. Умозрѣніе унизилося до самыхъ жалкихъ мистическихъ выдумокъ, а духъ истинной философіи все болѣе и болѣе исчезалъ въ запутанныхъ системахъ болѣзненныхъ мечтателей.... Но дряхлое чело-вѣчество, истощенное переворотами тысячелѣтій, жаждало обновленія; внутреннее, безотчетное стремленіе

томило человѣка въ изношенныхъ формахъ его общественной и духовной жизни; онъ не находилъ убѣжденія въ запутанныхъ гипотезахъ своихъ наставниковъ, которые въ гордости обманывали самихъ-себя, выдавая свое ученіе за непреложную истину. Смутное ожиданіе неизвѣстнаго, но необходимаго переворота носилось надъ истомленнымъ міромъ и приуготовляло его къ воспріятію этого переворота.... И дивно, отраднo сбылось темное предчувствіе міра: въ Вифлеемѣ родился божественный младенецъ — Христосъ. Слово Божіе дохнуло новою, свѣтлою жизнію, новымъ, божественнымъ здоровьемъ на разрозненный составъ больного, изнеможеннаго человѣчества!..

Тихо и свято росло въ первыя столѣтія спасительное сѣмя религіи, посаженное благостію истиннаго Бога на грязную почву порочной земли во искупленіе грѣшныхъ чадъ ея. Незамѣтно, безъ шума переходило ученіе Христа отъ племени; уединенно созрѣвали плоды его. Простота и святость религіи, согрѣтой божественною любовью, сила и смиреніе ея проповѣдниковъ открывали ей путь къ сердцаамъ, которыя жаждали спасенія, блуждая по невѣрной тропѣ шаткаго мышленія. И вотъ со всѣхъ сторонъ являются новые поборники евангелія; слово истины усиливается; вѣра мужаетъ; единая искра, случайно упавшая въ изгибы страждущаго сердца, разгорается и наполняетъ это сердце животворною теплотою любви и утѣшенія. Быстрое развитіе христіанской религіи не могло не возбудить всеобщаго вниманія, не могло не породить сопротивленія и со стороны самолюбивыхъ филосо-

фовъ, дрожавшихъ при яркомъ свѣтѣ божественнаго ученія за непогрѣшительность своихъ мнѣній. Необходимость защищать евангеліе отъ этихъ дерзкихъ нападений породила первое сближеніе религіи и философіи. Многіе пастыри западной церкви съ усердіемъ отыскивали согласіе между философскими системами и христіанскимъ ученіемъ. Идеи Платона, представляя во многихъ отношеніяхъ естественное сближеніе съ догматами новой религіи, пользовались особеннымъ уваженіемъ. Эпикуръ, стоики и перипатетики, удаляясь въ своихъ разсужденіяхъ о Богѣ, провидѣніи и безсмертіи души отъ церковнаго изложенія, не могли возбудить того-же вниманія. Философія служила защитою христіанскаго ученія противъ возраженій греческихъ мыслителей и опроверженіемъ еретиковъ, которые покушались дерзкими выходками подрывать твердыя основанія вѣры; но во всѣхъ этихъ случаяхъ философія подчинялась богословію. Откровеніе сдѣлалось точкою исхода, представляя собою единственный источникъ всякаго умозрительнаго и практическаго знанія. Вотъ почему всѣ католическіе философы этого времени являются *супернатуралистами* въ своихъ сужденіяхъ. Главный предметъ ихъ занятій состоялъ въ размышленіи о Богѣ и его отношеніяхъ къ міру и къ человѣку. Познаніе Бога достигается посредствомъ его изображенія, посредствомъ виѣшней природы, или посредствомъ откровенія. Въ сущности своей Богъ недоступенъ разуму. Опровергая предопредѣленіе астрологовъ, эти мыслители покушались согласовать всевѣдѣніе Божіе съ свободою человѣка. Происхожденіе

нравственнаго и физическаго зла объяснялось, съ одной стороны, вліяніемъ злыхъ духовъ, съ другой свободою человека. Зло необходимо—и какъ необходимость допускается провидѣніемъ. Воля Божія составляетъ первый законъ нравственности; первое условіе ея — повиновеніе этой волѣ. Откровенность, безкорыстная любовь къ человѣчеству, цѣломудренность и терпѣніе—главныя добродѣтели, ведущія къ спасенію.

Между учеными проповѣдниками западной церкви имя святаго Августина (354 г.) занимаетъ первое мѣсто. Пламенное краснорѣчіе святаго Амбросіа Медиоланскаго убѣдило его въ спасительныхъ истинахъ религіи—и онъ предался ей со всею силою страсти, употребляя свои обширныя познанія на защиту божественнаго ученія. Онъ соединилъ въ своей системѣ идеи неоплатониковъ съ католическими догматами. Онъ называетъ Бога совершеннѣйшимъ и возвышеннѣйшимъ существомъ, вѣчною истиною, создателемъ міра. Всѣ разумныя существа сотворены имъ для счастья, котораго необходимое условіе—добродѣтель. Разумъ и воля приводятъ къ этому счастью. Назначеніе человека состоитъ въ соединеніи съ Богомъ, въ которомъ заключается и высшее благо духовнаго міра. Вотъ основныя начала перваго ученія св. Августина; въ старости онъ замѣнилъ его другимъ, увлекшись споромъ съ своими противниками. Сочиненія св. Августина оказали философіи существенную услугу, возбуждая къ ней любовь и вниманіе въ такое время, когда науку преслѣдовали какъ ненужную утварь въ человѣческой жизни. И въ-самомъ-дѣлѣ, книги Боэція и Кассіодора,

вмѣстѣ съ сочиненіями св. Августина, служили впоследствии единственными посредниками и толкователями древнихъ и новыхъ ученій. Книга Боеція «*De consolatione philosophiæ*» (Объ утѣшеніи, доставляемомъ философіею) долгое время пользовалась всеобщимъ уваженіемъ, сохраняя на западѣ ослабѣвшее ученіе Аристотеля.

Упадокъ словесности, пренебреженіе греческой учености, темное, мистическое направленіе суевѣрнаго времени влекли за собою совершенное паденіе истинной философій. Свободному умозрѣнію уже не было мѣста. Глубокая, живая дума мудреца не находила сочувствія; наука сиротѣла; суевѣріе заглушало голосъ плачущей истины. Грубое, невѣжественное направленіе среднихъ вѣковъ грозило философій совершеннымъ уничтоженіемъ, и только мелькомъ скудный обломокъ какой-нибудь испорченной греческой системы напоминалъ уму человѣческому объ утраченномъ поприщѣ высшей, духовной дѣятельности. И даже въ то время, когда наука, по манію Карла-Великаго, снова проснулась отъ долгаго, тяжелаго сна, снова заговорила непонятнымъ, страннымъ языкомъ, ей оставался еще трудный, продолжительный путь по мрачнымъ закоулкамъ невѣжества до свѣтлой, отрадной цѣли живаго, истиннаго обновленія. Какому-же генію судьба предоставила это дивное, завидное право отдать человѣчеству затерянный кладъ умственной жизни и возратить его на благородное поприще его высокаго назначенія?...

Это разсмотримъ мы въ слѣдующихъ статьяхъ „о философій“.

СТАТЯ ВТОРАЯ.

(Тамъ-же, 1839 г. N. 3).

СХОЛАСТИКИ.

Дикіе, бездомные бродяги положили первое основаніе Риму. Слѣпая отвага сопровождала всѣ ихъ предпріятія. Они были готовы на самыя дерзкіе подвиги, потому-что имъ нечего было терять. Судьба полюбила ихъ смѣлую предпріимчивость и дивно возвеличила городъ семихолмный. Горсть беззаботныхъ искателей приключеній была зародышемъ того великаго народа, который покорилъ себѣ вселенную. Но бездѣйствіе скоро ослабило горделивую силу и разстроило власть самонадѣяннаго Рима, во внутреннемъ его составѣ. Побѣжденный міръ потворствовалъ прихотямъ своихъ побѣдителей, какъ рабыня, послушно-ласкающая своего повелителя.—Римъ задремалъ въ объятіяхъ нѣги, и за краткій отдыхъ въ объятіяхъ купленной нѣги заплатилъ короною міра. Дикіе варвары несмѣтными толпами приблизились къ спящему исполину; ихъ буйные крики разбудили его; но напрасно изнможенный

колоссъ высылалъ свои изнѣженные полчища на грозныхъ враговъ: суровая сила свѣжихъ племенъ поборола старого побѣдителя—и Римъ, подавленный собственною громадностію, преклонилъ покорную голову къ стопамъ суровыхъ властителей. Могила Рима сдѣлалась могилою древняго міра.

Новое, свѣжее племя поселилось на священныхъ развалинахъ древности. Это племя, грубое и необразованное, попирало ногами оскверненную святыню классическаго міра; изъ поруганныхъ обломковъ какого-нибудь дивнаго, греческаго зданія строилась грязная хата; роскошная, мраморная ваза переходила въ домашнюю утварь; дивныя изваянія художника замѣнялись уродливыми изваяніями новыхъ боговъ, грубыхъ, какъ самый народъ, который имъ поклонялся; вещественная сила торжествовала, наука гибла.

Но никакая власть, никакое угнетеніе не уничтожитъ вѣчнаго, животворнаго вліянія духа: и въ самомъ горькомъ униженіи онъ идетъ впередъ, достигаетъ дальнѣйшей цѣли, живетъ и дѣйствуетъ, и наконецъ побораеъ своихъ гонителей. Самая темная эпоха въ исторіи человѣчества была не менѣе того шагомъ впередъ. Предположеніе, что міръ на всѣхъ ступеняхъ своего существованія все болѣе и болѣе развивается и совершенствуется, подтверждается всѣми періодами въ жизни человѣчества и находитъ себѣ новыя доказательства даже на самыхъ кровавыхъ страницахъ среднихъ вѣковъ. Варвары наслѣдовали вещественные остатки древности; но и самая образованность ея должна была содѣлаться ихъ достояніемъ. Наука, столь

чуждая, столь разнородная съ основными элементами дикаго, грубаго племени, мало-по-малу должна была вступить въ свои законы права. Необходимое слѣдствіе, сопровождавшее первое сближеніе двухъ столь-противоположныхъ стихій, жизни духовной и жизни вещественной, была борьба, тяжкая, долгая борьба; и одна изъ самыхъ яркихъ главъ этой борьбы есть *философія схоластиковъ*.

Когда ученіе Христа распространилось между варварами, они впервые смутно познали истинную цѣль земнаго странствія. И въ-самомъ-дѣлѣ, религія, разрушающая преграду между человѣкомъ и его богами, сближающая его въ лицѣ Спасителя, принявшаго на себя человѣческій образъ, съ Богомъ любви и милосердія, не могла не подѣйствовать на грубый народъ, трепетавшій передъ ложными кумирами.

Слово примиренія, сознаніе духовнаго міра, непосредственно-дѣйствительнаго, возвышало духъ; этому возвышенію противорѣчило грубое невѣжество, дикая необразованность; столкovenіе двухъ крайностей породило борьбу, которая высказалась въ смутномъ броженіи разума, неумѣвшаго отъ вымысловъ воображенія перейти къ твердому понятію трезваго ума. Переходы изъ одной крайности въ другую составляютъ характеристическую черту среднихъ вѣковъ. Вспомнимъ только крестовые походы: несмѣтныя полчища съ фанатическимъ рвеніемъ покидаютъ свое отечество для священной цѣли, указанной имъ вдохновенными проповѣдниками; но эти-же фанатическіе защитники религіи на пути ко гробу Христа предаются всѣмъ

ужасамъ разврата и насилія, всѣмъ преступленіямъ страстей, для того, чтобы подъ стѣнами Іерусалима оплакать горькими слезами нелицемѣрнаго раскаянія свои злодѣянія, а потомъ, разрушивъ эти стѣны, достигнувъ съ упорною твердостію предположенной цѣли, снова погрязнуть въ дикихъ оргіяхъ страстей и порока.

Философія схоластиковъ характеризуется стремленіемъ разума къ наукѣ подъ вліяніемъ посторонняго авторитета, вѣрою въ дѣйствительность религіозныхъ истинъ и желаніемъ дойти до умственного убѣжденія въ этихъ истинахъ. Мы видимъ странное усиліе ума, покушающагося, безъ положительныхъ свѣдѣній, на высшее познаніе человѣческое, на познаніе Бога, для того, чтобы съ этой точки, въ противоположность греческому мудрствованію, объять науку во всѣхъ ея отрасляхъ. Характеръ схоластической философіи заключается въ разсужденіи, въ разумѣніи *по предположенію*; идея является несвободною, но прикованною къ формѣ внѣшняго начала или предположенія.

Философія и богословіе составляютъ одно цѣлое; ихъ отличіе и раздѣленіе принадлежитъ переходу къ новѣйшей философіи, переходу, который породилъ мнѣніе, что истина мыслящаго ума не всегда бываетъ теологическою истиною. Но въ средніе вѣка принимали одну только истину, которая служила и философіи и богословію.

Обращая свое вниманіе на способъ, употребляемый схоластиками въ ихъ умозаключеніяхъ, мы усматриваемъ сначала отдѣльное сужденіе, чуждое дѣйствительности, опыта и наблюденія. Дѣйствительность оста-

валась въ сторонѣ: грубому, необразованному уму была завѣщена великая идея, божественная истина; но она была для него непостижима, неосязаема; въ напрасныхъ попыткахъ связать эту истину съ тѣснымъ кругомъ ограниченныхъ понятій, умъ все болѣе и болѣе терялся въ безднѣ странныхъ предположеній. Въ отдѣльныхъ сужденіяхъ, лишенныхъ внутренней связи, онъ погружался въ міръ отвлеченія, а съ другой стороны ограничивался вліяніемъ посторонняго начала, чуждаго авторитета. Отсюда являлось школьное, силлогистическое умствованіе: приискивали предложеніе, подводили къ нему всѣ возможные возраженія и наконецъ опровергали ихъ новыми силлогизмами. Сужденіе, какъ мы уже замѣтили, не исходило изъ самого себя, но зависѣло отъ даннаго содержанія, въ которомъ заключалась граница и условіе мышленія. Результатъ послѣдняго былъ данъ а priori; оставалось только подтвердить его формами науки. Такимъ образомъ съ одной стороны развивалась діалектика, съ другой стороны философія терялась въ мелочныхъ, ребяческихъ умозрѣніяхъ и удаляясь отъ положительныхъ свѣдѣній, вмѣсто вѣрнаго изслѣдованія, упиралась только на безпрекословныя рѣшенія чуждаго авторитета.

Происхожденіе самаго названія *схоластиковъ* принадлежитъ тому времени, когда, по волѣ Карла Великаго, оставленная наука снова водворилась въ училищахъ, основанныхъ имъ при главныхъ соборахъ и монастыряхъ. Но время еще не благопріятствовало философін; властолюбивая католическая іерархія препятствовала свободному развитію науки — и только

немногіе мыслители, вызванные волею императора изъ дальнихъ странъ, изрѣдка озаряли слабымъ, сомнительнымъ свѣтомъ непроницаемый мракъ грубаго невѣжества. Между ими отличался Алкуинъ, который завѣдывалъ и училищами, основанными императоромъ. Частные начальники училищъ назывались схоластиками (scholastici). Отъ нихъ и самая философія, которая болѣе или менѣе преподавалась въ этихъ школахъ, получила свое названіе.

Мы раздѣлимъ исторію схоластиковъ на два отдѣла: въ первомъ, рассмотримъ схоластическую философію отъ IX столѣтія до возобновленія наукъ; во второмъ, дальнѣйшее развитіе отъ возобновленія наукъ до реформаціи Лютера (*).

Первые зародыши просвѣщенія перешли съ востока на западъ. Въ то время, когда германскіе народы праздновали свои побѣды на дымящихся развалинахъ римской имперіи, религія Мухаммеда съ быстротою молніи распространилась и по фанатическому востоку. Съ тою же быстротою распространилась и греческая философія между арабами; сочиненія Аристотеля пользовались особеннымъ уваженіемъ; ихъ переводили, прилаживали къ корану, толковали *ad libitum*. Разумѣется, въ этихъ переводахъ не было ни вѣрности, ни точнаго разумѣнія идей. Греческія системы не ознаменовались новыми самостоятельными изслѣдова-

(*) Въ подраздѣленіяхъ я слѣдовалъ Гегелю, который ближе и точнѣ другихъ опредѣляетъ различныя цѣли схоластической дѣятельности. — Э. Г.

ніями, но все-таки арабы сохранили науку и передали ее другимъ народамъ. Вотъ почему они принадлежатъ исторіи философіи и имѣють въ ней свои неотъемлемыя заслуги.

Такимъ образомъ арабы сдѣлались толкователями Аристотеля; они изучали его метафизику, логику и физику. Ихъ переводы впервые познакомили западъ съ Аристотелемъ. Своенравная судьба этого греческаго философа не хотѣла прямымъ путемъ свести его съ германскими варварами, но употребила для сего обратныя, большею частію искаженные, невѣрные переводы съ арабскаго на латинскій языкъ.

Восточная философія отличается пламеннымъ, свободнымъ, глубокимъ воображеніемъ; александрійская или неоплатоническая идея служила ей основаніемъ. Неопредѣленность, свойственная возвышенному характеру востока, отличаетъ и философію арабовъ. Но и при пламенномъ, необузданномъ движеніи умовъ, они не могли дойти до свободного развитія науки, которому препятствовали и народное суевѣріе и безпрекословныя истины корана. Отношеніе философіи къ религіи было то же, какъ и на западѣ. Но, не смотря на всѣ преграды, наука находила себѣ покровителей въ лицѣ Аль-Мансура, Гарун-аль-Рашида, Аль-Мамума и другихъ калифовъ, которые старались о распространеніи просвѣщенія. Такимъ образомъ арабы не занимають особенной ступени въ общемъ ходѣ философіи: они не подвинули ея началъ. Главныя задачи заключались въ идеѣ единого Бога, въ вѣчности міра и т. п.

Одну изъ первостепенныхъ школъ составляла зна-

менитая секта *медабберимъ*. Здѣсь, по словамъ Моисея Маймонида, никто не смотрѣлъ на истинную природу вещей, всякій высматривалъ въ нихъ то, что могло служить подтвержденіемъ его собственному мнѣнію. Они не признавали возможности точнаго познанія вещей, на томъ основаніи, что умъ всегда можетъ себя представить противное каждому предмету. Они не умѣли отдѣлить ума отъ воображенія. Атомы и пустое пространство составляютъ первыя начала; рожденіе—не что иное, какъ соединеніе атомовъ; смерть—раздѣленіе ихъ. Арабы, какъ мы уже выше говорили, съ усердіемъ изучали Аристотеля; они переводили его метафизическія и логическія сочиненія, объясняли и пополняли ихъ посвоему. Изъ главныхъ комментаторовъ Аристотеля назовемъ: *Алкенди* (800), который пояснялъ его логику, и *Алфараби* (+966). Онъ писалъ о происхожденіи и раздѣленіи наукъ и занимался толкованіями „*Органона*“ Аристотеля, которыми впослѣдствіи пользовались схоластики. Разсказываютъ, что онъ сорокъ разъ прочелъ разсужденіе Аристотеля „О слухѣ“ и двѣсти разъ его „Реторику“, не чувствуя при этомъ ни скуки, ни пресыщенія; по замѣчанію Гегеля, „онъ имѣлъ хорошій желудокъ“. Но самый замѣчательный послѣдователь Аристотеля между арабами былъ *Аверроэсъ* (Averroes). Его по преимуществу называютъ *комментаторомъ*. Не смотря на то, что онъ только переводилъ Аристотеля, въ его переводахъ встрѣчаются такія вещи, которыя греческому философу и въ голову не приходили. Аверроэсъ обладалъ замѣчательными дарованіями и свѣт-

лымъ умомъ; онъ вѣрилъ въ непогрѣшительность ко-
рана, но принималъ его за популярное изложеніе
высокаго религіознаго ученія, необходимо предоста-
вленнаго наукѣ для настоящаго уразумѣнія.

Переходя отъ арабовъ къ схоластикамъ, мы долж-
ны еще взглянуть, для общей связи, на еврейскую
философію, которая служила посредницею между во-
стокомъ и западомъ. Въ южной Испаніи, въ Португаліи
и Африкѣ евреи занимались переводами Аристотеля
съ арабскаго на латинскій языкъ, и уже отсюда пе-
редавали Европѣ свои вторичные переводы. Въ еврей-
скую философію этого времени входитъ много кабба-
листическихъ идей. Астрологія, геомантия и т. д.
испещрены странными выходками мистическаго суе-
вѣрія. Отличимъ *Моисея Маймонида* (Moses Maimo-
nides, 1131), въ которомъ мы находимъ строгую
отвлеченную метафизику, приспособленную къ методѣ
Филона; въ ней попадаются доказательства единого
Бога по идеѣ атеатовъ, тѣлности матеріи и сотво-
ренія міра.

Исторію схоластики большею частію начинаютъ съ
IX столѣтія именемъ *Іоанна Скотта Эриены*, хотя
его и нельзя отнести къ собственнымъ схоластикамъ.
Онъ отличался рѣдкимъ въ то время знаніемъ греческа-
го, еврейскаго и даже арабскаго языковъ, переводилъ
сочиненія Діонисія-Ареопагиты, одного изъ позднѣй-
шихъ греческихъ философовъ александрійской школы,
и въ собственныхъ своихъ сочиненіяхъ слѣдовалъ ме-
тодѣ неоплатониковъ. Онъ навлекъ на себя негодова-
ніе папы, и католическіе богословы вообще не бла-

говорили къ нему. Въ его сочиненіяхъ встрѣчалось много такого, что не соответствовало духу времени. На одномъ изъ ліонскихъ церковныхъ собораній о немъ судили слѣдующимъ образомъ: „До насъ дошли сочиненія болтливаго пустослова, который о божественномъ предвѣдѣніи и предопредѣленіи, человѣческими, или какъ самъ хвастаетъ, философическими аргументами разсуждаетъ, не подчиняется авторитету отцовъ церкви, но все сіе собственными доводами изъ себя защищаетъ (*).“

Первыя попытки схоластики заключались въ стараніи привести ученіе католической церкви къ метафизическому основанію, которое предоставлялось свободному сужденію философа. Одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ философовъ этого разряда есть *Аргіенисконъ Кентерберійскій* (1034—1109). Онъ разсматривалъ католическое ученіе философическимъ образомъ и, по мнѣнію нѣкоторыхъ, положилъ истинное основаніе схоластикѣ. Вотъ что говоритъ онъ объ отношеніи вѣры къ мышленію: „Вѣру нашу мы должны защищать доводами разума противъ безбожниковъ, а не противъ христіанъ, потому-что о послѣднихъ мы вправѣ думать, что они не отступятся отъ обѣщанія,

(*) «Bulæus: Historia Univer. Paris. Ч. 1. стр. 132.» Venerunt ad nos cujusdam vaniloqui et garruli hominis scripta, qui velut de præscientia et prædestinatione divina humanis et, ut ipse gloriatur, philosophicis argumentationibus disputans... nulla scripturarum sive S. S. Patrum auctoritate prolata, velut tuenda et sequenda sola sua præsumptione definire ausus est.

даннаго ими при святомъ крещеніи; но безбожникамъ мы разумомъ должны доказать, какъ неразумно они хулятъ нашу религію. Христіанинъ переходитъ отъ вѣры къ разуму; а не отъ разума къ вѣрѣ; онъ не долженъ покидать вѣры тамъ, гдѣ она для него непостижима. Если онъ можетъ дойти до умственного убѣжденія, онъ наслаждается симъ разумѣніемъ; если нѣтъ, поклоняется тамъ, гдѣ не понимаетъ“ (*). Далѣе онъ говоритъ въ своемъ разсужденіи: „*Cur Deus homo?*“: „Кто въ вѣрѣ твердъ и не старается понимать того, чему вѣруетъ, тотъ пренебрегаетъ вѣрою“ (**). Желаніе доказать разсужденіемъ то, чему онъ вѣровалъ, существованіе Бога, не давало ему покоя. Такое побужденіе смущало бѣднаго епископа, и онъ сначала принималъ его за навожденіе дьявола. Ему принадлежить такъ-называемое оптологическое доказательство существованія Божія, которое сохранилось до самого Канта. Архіепископъ разсуждаетъ слѣдую-

(*) (Anselmi Epistol. XLI, I, 11). *Fides nostra contra impios ratione defendenda est non contra eos, qui se Christiani nominis honore gaudere fatentur. Ab his enim juste exigendum est, ut cautionem, in baptis mate factam inconcusse teneant: illis vero rationabiliter ostendendum est, quam irrationabiliter nos contemnant. Christianus per fidem debet ad intellectum proficere, non per intellectum ad fidem accedere; aut si intelligere non valet, a fide recedere. Sed cum ad intellectum valet pertinere, delectatur: cum vero nequit, cum capere non potest, veneratur.*

(**) (*Cur Deus homo*, I, 2). *Negligentia mihi videtur, si, postquam confirmati sumus in fide, non studemus, quod credidus, intelligere.*

шимъ образомъ: „Иное дѣло вещь, представленная умомъ, иное дѣло видѣть, что вещь существуетъ. И невѣжда убѣдится, что въ умѣ можетъ быть представленіе, котораго выше нельзя придумать, потому-что онъ, услышавъ это, разумѣетъ, а всякое разуміе находится въ умѣ. Но то, чего выше придумать нельзя, необходимо находится не въ одномъ только умѣ; ибо еслибъ оно находилось въ одномъ только умѣ, то можно-же себѣ представить, что оно существуетъ и въ-самомъ-дѣлѣ: а это выше. Стало-быть, если то, чего выше себѣ представить нельзя, находится въ одномъ только умѣ, то это-же самое представленіе, котораго выше придумать нельзя, есть уже то, чего выше себѣ представить можно. Но этого быть не можетъ. А слѣдовательно, безъ всякаго сомнѣнія, то, чего выше себѣ представить нельзя, въ одно и то же время находится и въ умѣ и существуетъ на дѣлѣ“ (*). Такое странное сужденіе не менѣе того справедливо. Древніе говорили: „Богъ существуетъ“, основываясь на случайности всѣхъ видимыхъ, преходящихъ явленій

(*) Proslogium, (c. 2). Aliud est, rem esse in intellectu; aliud, intelligere rem esse.—Convincitur ergo etiam insipiens, esse vel in intellectu aliquid, quo nihil majus cogitare potest; quia hoc, cum audit, intelligit; et quidquid intelligitur, in intellectu est. Et certe id, quo majus cogitari nequit, non potest esse in intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, potes cogitari, esse et in re: quod majus est. Si ergo id, quo majus cogitari, non potest, est in solo intellectu: id ipsum, quo majus cogitari non potest, est quo majus cogitari potest. Sed certe hoc esse non potest. Existit ergo procul dubio, aliquid, quo majus cogitari non valet, et in intellectu et in re.

міра. Отъ сей случайности они переходили къ истинѣ безконечнаго. Въ разсужденіи архієпископа въ первый разъ является противоположеніе мысли и бытія, — это чистое отвлеченіе, сознание средними вѣками. Здѣсь уже идея является какъ подлежащее, а бытіе, какъ сказуемое.

Возлѣ архієпископа Кентербѣрійскаго назовемъ по тождеству направленій и *Абелара* (1079—1142), знакомаго чувствительнымъ сердцамъ по любви его къ Элоизѣ. Онъ преподавалъ въ Парижѣ, какъ средоточіи богослововъ того времени, объяснялъ религію фило-софическими доводами и вообще старался соединить богословіе съ философією.

Другое направленіе схоластики состояло въ покушеніи — дать церковному ученію систему и привести его къ методическому изложенію.

Между философами, которые стремились къ этой цѣли, замѣчательнѣе знаменитый *Петръ-Ломбардскій* (1164) прозванный современниками *magister sententiarum*. Поводъ къ такому названію подали вѣроятно изданныя имъ *Четыре книги сентенцій* (*IV libri sententiarum*), которыя долгое время служили основаніемъ церковному ученію. Онъ бралъ какую-нибудь религіозную тему, предлагалъ на нее вопросы и возраженія, и дѣлалъ ее такимъ образомъ предметомъ ученаго спора; участники такого диспута приводили свои доказательства и опроверженія, отыскивали противорѣчія, ссылались на авторитеты. Такимъ образомъ въ схоластическихъ умствованіяхъ явилась нѣкоторая метода.

„Сентенціи“ Петра-Ломбардскаго сдѣлались предме-

томъ всеобщаго изученія. Много явилось на нихъ поясненій, которыя большею частію принадлежатъ такъ называемымъ *докторамъ догматическаго богословія* (doctores theologiae dogmaticae). Эти люди получили значительное вліяніе на церковныя дѣла. Ученыя книги препровождались къ нимъ на разсмотрѣніе; они одобряли и осуждали ихъ по произволу.

Неменѣе знаменитъ и доминиканецъ *Томас-Аквинскій* (Thomas ab Aquino или Aquinas, 1224—1274), ученикъ Альберта-Великаго. Онъ славился обширными свѣдѣніями, писалъ коментаріи на Аристотеля, пояснялъ Петра-Ломбардскаго и самъ издалъ книгу подъ заглавіемъ «Summa theologiae», которая прославила его между схоластиками. Его называли Doctor angelicus, Doctor communis, вторымъ Августинѣмъ. И онъ предлагалъ вопросы, дѣлалъ возраженія, возбуждалъ сомнѣнія и указывалъ на обстоятельства, отъ которыхъ зависѣло ихъ разрѣшеніе. Его ученіе нашло многочисленныхъ послѣдователей, которые назывались *томистами*. Далѣе замѣтимъ знаменитаго въ свое время *Иоанна Дунс-Скотта* (1275—1308), прозваннаго Doctor subtilis. Онъ пользовался славою остроумнаго, тонкаго мыслителя. Его называли Deus inter philosophos и величали между прочимъ слѣдующимъ образомъ: „онъ до того обработалъ философію, что могъ-бы быть ея изобрѣтателемъ, еслибы она не была уже открыта; онъ до такой степени *понималъ* всѣ таинства вѣры, что ему почти не нужно было вѣрить имъ, до того разумѣлъ пути провидѣнія, какъ будто-бы провидѣлъ ихъ, до того зналъ качества ангеловъ, какъ будто-бы самъ

былъ ангеломъ. Онъ написалъ въ немногіе годы столько книгъ, что нѣтъ человѣка, который-бы могъ ихъ прочесть, ниже понять.“ Онъ бралъ предложеніе, присоединялъ къ нему длинный рядъ доказательствъ и потомъ такой-же длинный рядъ опроверженій; метода *pro et contra* доведена имъ до высшей степени развитія.

Ученіе *Томы-Аквинскаго* встрѣтило въ немъ опаснаго и ловкаго соперника, который среди безчисленныхъ, діалектическихъ тонкостей сохранялъ постоянную, благородную цѣль: хотѣлъ дойти до какого-нибудь положительнаго основанія истины. Предметъ ихъ ожесточеннаго спора заключался въ вопросѣ, о которомъ мы будемъ говорить подробнѣе при разборѣ номиналистовъ и реалистовъ. *Дунс-Скоттъ* основалъ особенную школу, которая славилась необыкновенною діалектикою. Его послѣдователи назывались *скоттистами*. Они, по примѣру основателя, находились въ непрерывной борьбѣ съ *томистами*. Но ослѣпленіе страстей, которое волновало и ту и другую партію, препятствовало всякому полезному выводу для науки.

Въ-теченіе XIII-го столѣтія западные богословы ближе познакомились съ сочиненіями Аристотеля, которыя вскорѣ сдѣлались предметомъ всеобщаго удивленія. Многіе западные ученые отправлялись въ Испанію и между арабами изучали Аристотеля. Разумѣется, что и новые переводы, составленные по латинскимъ передѣлкамъ, не познакомили запада съ истиннымъ ученіемъ греческаго философа; но они, по-крайней-мѣрѣ, были полнѣе и многостороннѣе прежнихъ выдержекъ *Боеція* и *Кассіодора*.

Одинъ изъ первыхъ переводчиковъ Аристотеля представляется намъ въ лицѣ Алезія или *Александра-Галесскаго* (*Doctor irrefragabilis*, +1245), съ котораго Тидеманнъ начинаеть исторію схоластиковъ. Онъ написалъ также „*Summa theologiæ*“, гдѣ развиваеть и поясняетъ „Сентенціи“ Петра-Ломбардскаго.

Сначала, католическая церковь препятствовала распространенію системы Аристотеля; папа Григорій запретилъ его „физику“ до дальнѣйшаго разсмотренія; но въ послѣдствіи одобрили сочиненія Аристотеля и сдѣлали ихъ даже необходимымъ условіемъ, безъ котораго нельзя было достигнуть ученыхъ степеней.

Между толкователями сего философа замѣчательнъ еще *Альбертъ-Великій* (*Albertus magnus*), знаменитый между нѣмецкими схоластиками (+1280). Рассказываютъ, что въ молодости онъ не оказывалъ особенныхъ способностей, пока наконецъ не явилось ему тайное видѣніе, которое ободрило его къ изученію философіи, освободило отъ духовной немощи и дало обѣщаніе, что онъ, не смотря на пріобрѣтенныя познанія, умреть съ твердою, неприкосновенною вѣрою. Такъ и случилось, говорить преданіе: еще за пять лѣтъ до своей кончины, онъ вдругъ позабылъ всю свою философію и умеръ въ прежнемъ невѣдѣніи. Такимъ образомъ составила о немъ старинная поговорка: „*Albertus repente ex asino factus philosophus et ex philosopho asinus.*“ Альбертъ писалъ комментаріи на „магистра сентенцій“, поясняя Діонисія-Ареопагиту и Аристотеля. Скѣдныя познанія его въ исторіи философіи доказываются между прочимъ слѣдующимъ образкомъ:

онъ производилъ названіе эпикурейцевъ отъ того, что они возлежали *en cutem* (auf der faulen Haut liegen), то есть предавались лѣни, или отъ слова *cura* (*supercurantes*), потому-что они хлопотали о пустякахъ. Къ стойкамъ онъ причисляетъ Пифагора, Сократа и Платона.

Логика Аристотеля еще болѣе изощрила діалектику этого времени, между-тѣмъ какъ чистыя умозрѣнія греческаго философа оставались незамѣченными.

Другой философическій вопросъ, который занималъ схоластиковъ, заключается въ спорѣ *реалистовъ и номиналистовъ*. Этотъ споръ основанъ на метафизическомъ противоположеніи *общаго и индивидуальнаго*; онъ приноситъ честь схоластической философіи, которая занималась имъ въ-теченіи нѣсколькихъ вѣковъ. Начало спора относится еще къ XI столѣтію, гдѣ мы встрѣчаемъ знаменитыхъ противниковъ въ лицѣ Абелара и Росцелина. Послѣдній былъ основателемъ номиналистовъ. Онъ первый разсматривалъ общія, родовыя идеи, какъ пустыя названія, обозначающія общія качества различныхъ индивидуальныхъ предметовъ. Такое воззрѣніе влекло за собою другія мнѣнія, несообразныя съ духомъ времени. Католическая церковь смотрѣла на Росцелина, какъ на еретика, и осудила его сочиненія. Въ 1092 году онъ умеръ на кострѣ.

Вотъ въ чемъ заключается сущность этого спора: имѣютъ-ли общія, родовыя, собирательныя понятія (*universalia*), напримѣръ: „человѣчество“, „животное“ и прочее, то, что Платонъ называетъ идеями, — имѣютъ-ли они, сами по себѣ, видъ умственного представленія,

свое отдѣльное, дѣйствительное бытіе, или они принадлежать только нашей мысли, нашему умственному представленію, какъ условное обозначеніе извѣстнаго общаго понятія? Тѣ, которые приписывали имъ самобытную дѣйствительность, назывались *реалистами*; противники ихъ, которые утверждали, что общія понятія суть не что иное, какъ принятыя и созданныя нами умственныя представленія, и что одни только индивидуальныя предметы имѣютъ и дѣйствительное бытіе, назывались *номиналистами* или *формалистами*.

Посему реалисты, отказывая чувственнымъ, подлежащимъ нашему непосредственному наблюденію предметамъ въ дѣйствительной сущности и приписывая оную только общимъ понятіямъ, во многомъ сходятся съ идеалистами нашего времени, по общему основанію, согласному съ платоническимъ воззрѣніемъ: между-тѣмъ какъ номиналисты, принимая одиѣ только индивидуальныя особенности истинными и дѣйствительными, называя общія понятія (*universalia*) пустыми отвлеченіями, имѣющими безъ собственной реальности одно только отношеніе къ дѣятельности ума, сближаются съ идеями Аристотеля, уступая опыту полнаго его права.

Споръ между реалистами и номиналистами принялъ различныя подраздѣленія. Иные (Монтанъ, † 1174) соединяли общее съ особеннымъ, утверждая что общее индивидуально и по существу соединено съ частными видами своими. Другіе принимали ограниченіе общаго, приведеніе его къ индивидуальности за отрицаніе; еще другіе находили въ этомъ ограниченіи нѣчто положительное, утверждая, что все индивиду-

альное есть только точнѣйшее выраженіе того, что уже заключено въ общемъ понятіи, такъ что эти понятія, не смотря на ихъ раздѣленія, остаются простыми.

Этотъ споръ достигъ высочайшаго своего развитія во время *Оккама* (*Doctor invincibilis, singularis, venerabilia inceptor*) въ началѣ XIV столѣтія. Его оборотливость, остроуміе и мѣткость возраженій сдѣлали его однимъ изъ сильнѣйшихъ защитниковъ номиналистовъ. Заступаясь противъ надменныхъ приказаній папы за права германскаго императора, Лудвига Баварскаго, онъ говорилъ послѣднему: ты защити меня мечемъ, я защищу тебя неромъ (*tu me defendas gladio, ego te defendam calamo*). Смѣлость замысла, непоколебимая энергія въ исполненіи всего предпринятаго отличаютъ характеръ Оккама. Подвергая различныя мнѣнія строгому, логическому, безпристрастному разбору, онъ убѣдился въ неосновательности реалистовъ. Оккамъ утверждаетъ, что общія идеи, внѣ умственнаго представленія, не имѣютъ дѣйствительности, потому что ни наука, ни сужденія не нуждаются въ такихъ предположеніяхъ, изъ которыхъ проистекаютъ странныя несообразныя слѣдствія. Общія идеи принадлежатъ душѣ, какъ произведенія чистаго отвлеченія; душа создаетъ ихъ для себя, обозначая ими внѣшніе предметы. Ученіе Оккама распространило скептическое и эмпирическое направленіе. Онъ самъ былъ ученикъ Скотта — и споръ между еомистами и скоттистами доведенъ имъ до высшей степени ожесточенія. Неприимимая ненависть возгорѣлась между ними. Личныя

страсти вѣшались въ дѣло науки. Самый споръ принялъ политическое направленіе по взаимной распрѣ францисканскаго ордена, принявшаго сторону Оккама, и доминиканскаго, слѣдовавшаго ученію Ѳомы. Запрещенія парижскаго университета и папскія буллы сыпались на бѣднаго, но непреклоннаго Оккама. По приказанію Лудовика XI, собраны всѣ сочиненія номиналистовъ и въ 1473 году наложены на нихъ тяжелыя цѣпи. Бѣдныя книги восемь лѣтъ томились въ оковахъ, но, наконецъ, по прошествіи этого времени, невинныхъ плѣнниковъ спустили съ цѣпей. До какой степени доходило ожесточеніе при этихъ спорахъ, между прочимъ доказываетъ каедрa, которую и теперь еще показываютъ. Деревянный простѣнокъ отдѣляетъ ее отъ того мѣста, на которомъ находился оппонентъ; причина такой предосторожности заключалась въ предположеніи, что если достопочтенныя противники, разгоряченные споромъ, подерутся, то крѣпкій, дубовый простѣнокъ воспрепятствуетъ непосредственному соприкосновенію, столь неприличному званію философовъ.

Между противниками Оккама назовемъ только *Бурлея* (Walter Borleigh, doctor planus et perspicuus; 1275 — 1337); между его послѣдователями — *Буридана*, который склоняется на сторону *детерменистовъ*, допуская зависимость воли отъ обстоятельствъ.

Но споръ номиналистовъ не ограничивался однимъ только упомянутымъ нами вопросомъ. Въ ихъ сочиненіяхъ въ первый разъ проявляется стремленіе ума къ независимости, въ первый разъ высказывается попытка освободиться отъ ига авторитета.

Съ другой стороны, страсть къ діалектическимъ словопреніямъ возрасла до неимоверной степени. Изобрѣтеніе самыхъ странныхъ техническихъ терминовъ составляло одно изъ важныхъ занятій схоластиковъ. Желаніе представить самыя отвлеченныя идеи въ чувственномъ видѣ перешло за границы здраваго смысла. Приковывая такимъ образомъ все то, что принадлежитъ другому, безконечному, духовному міру, къ тѣснымъ чувственнымъ отношеніямъ, схоластики впадали въ непостижимыя нелѣпости. Духовное начало служило основаніемъ, но, подведенное подъ вѣшнюю оболочку формальной діалектики, оно большею частию теряло свое значеніе. Для примѣра приведемъ нѣсколько предположеній и вопросовъ Юліана-Толедскаго, увѣряя притомъ, что этотъ образчикъ еще одинъ изъ самыхъ толковыхъ и умѣренныхъ. Юліанъ разсуждаетъ о воскресеніи мертвыхъ, принимая за основаніе безпрекословное ученіе религіи; но далѣе, при словахъ: «мертвые снова одѣнутся тѣломъ» — ему открывается обширное поле для самыхъ нелѣпыхъ вопросовъ и предположеній, подобныхъ, напримѣръ, слѣдующимъ: «Въ какомъ возрастѣ воскреснутъ мертвые? Дѣтьми, юношами или старцами? Въ какомъ видѣ воскреснутъ они? Останутся-ли тучные тучными, тощіе тощими? Вознаградятся-ли всѣ тѣлесныя утраты, ногти, зубы, волосы, и т. д.?»... Вотъ какими нелѣпыми предположеніями увлекались тогда! Все иѣшалось и путалось; непрерывныя противорѣчія затемняли всякое изслѣдованіе. Умъ метался отъ одного вопроса къ другому. Идея пропадала въ грязномъ омутѣ

бездонной діалектики. Схоластики мало заботились о смыслѣ, объ идеѣ: они нуждались только въ діалектическихъ различеніяхъ, въ хитрыхъ опредѣленіяхъ, въ наружной оболочкѣ науки. Всѣ ихъ изслѣдованія терялись въ пустыхъ словопреніяхъ. Для самобытнаго мыслителя наука представляла непреодолимую преграду въ самомъ духѣ времени.

Но и тогда, среди общаго смутнаго броженія ума, являлись люди, которые не раздѣляли пагубнаго, современнаго направленія, люди набожные, проникнутые духомъ истинной философіи; ихъ называли *мистиками*. Понимая всю суету мелочной діалектики, они покушались дать наукѣ новое, прочное начало; но старанія ихъ еще не могли имѣть успѣха: исполненію цѣли, предположенной ими, препятствовало противорѣчіе вѣка.

Сюда относится *Рожеръ Баконъ* (Doctor mirabilis, 1214—1294). Онъ отличался основательными свѣдѣніями въ химіи, физикѣ, математикѣ и филологіи. Ему приписываютъ изобрѣтеніе пороха и зеркалъ. Вникая въ общій, основный недостатокъ всякаго современнаго ему знанія, онъ хотѣлъ дать наукѣ болѣе свободное направленіе, приводя ее къ изученію природы и языковъ: онъ ненавидѣлъ схоластическія словопренія.

Далѣе — *Раймундъ Луллъ* (Raimundus Lullus или Lullius, по прозванію doctor illuminatus, 1234—1315). Онъ еще любопытенъ, какъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые, повидимому, составлены изъ самыхъ разнородныхъ стихій. Пламенное, неукротимое вообра-

женіе, сильныя, необузданныя страсти отличали его въ молодости. Онъ искалъ упоенія въ дикихъ оргіяхъ разврата. Наука не смущала его легкомысленной мечты. Но, вдругъ, въ жизни его совершается непостижимый переворотъ; онъ удаляется въ пустыню и забывая о буйныхъ наслажденіяхъ распутной юности, погружается въ размышленіе и съ упорною ревностію изучаетъ чуждую ему дотоле науку. Въ тишинѣ уединенія его занимаетъ одна мечта, живая, неотступная: онъ задумалъ быть орудіемъ распространенія божественной религіи Христа между мухаммеданами въ Азіи и Африкѣ. Съ этой мыслию онъ отправляется въ путь, подвергаясь гоненію, нищетѣ, опасностямъ и заточенію. Впослѣдствіи онъ жилъ долгое время въ Наринѣ, изготовилъ около 400 сочиненій и умеръ наконецъ отъ печальныхъ слѣдствій набожнаго путешествія своего по Африкѣ. Онъ старался, между прочимъ, привести въ систематическій порядокъ различные категоріи, къ которымъ принадлежать тѣ или другіе предметы, для того, чтобы удобнѣе означить всѣ примѣняющіяся къ нимъ понятія. Система его, со всѣми ея табличками, составленными изъ круговъ съ вписанными треугольниками, въ которые опять проведены были круги, — эта система не что иное, какъ механическая игрушка, не смотря на то, что онъ самъ величаетъ ее пышнымъ названіемъ «ars magna».

Наконецъ, замѣтимъ еще *Раймунда-Сабундскаго*, который, въ началѣ XV столѣтія, преподавалъ свое ученіе въ Тулузѣ. Онъ принимаетъ два источника познанія: природу и откровеніе. Изъ нихъ человѣкъ по-

знаеть Создателя и свои отношенія къ нему. Наблюденіе природы и человѣка было главнымъ его занятіемъ. Какъ моралистъ, онъ занимаетъ высокое мѣсто въ сравненіи съ своими современниками.

Тревожное стремленіе мистиковъ предвѣщало приближеніе новаго переворота въ ходѣ науки. Неудовлетворяясь діалектическими формулами схоластическаго мудрствованія, они томились жаждою новой умственной пищи и стѣснялись мертвою системою, которая покушалась основать философію на сухихъ опредѣленіяхъ, тощими, логическими соображеніями подъ вліяніемъ чуждаго начала или по исковерканнымъ идеямъ Аристотели. Изученіе классической древности познакомило, въ исходѣ XV столѣтія, дремлющій западъ съ греческою философіею изъ прямыхъ ея источниковъ. Донынѣ мы видѣли невѣрныя попытки схоластиковъ; всѣ онѣ представляютъ странную смѣсь здравыхъ идей и невѣжественнаго суевѣрія, всѣ ограничиваются какою-то одностороннею метафизикою ума, ничѣмъ невозбуждающею нашего живаго участія. Въ изслѣдованіи самыхъ высокихъ идей мы встрѣчаемъ одно только форменное усиліе ума, двигавшагося въ безконечныхъ соединеніяхъ категорій безъ глубины, безъ содержанія. Духовный интеллектуальный міръ подведенъ подъ чувственные отношенія, живая полная дума умираетъ въ холодной діалектикѣ. Въ этихъ внѣшнихъ, форменныхъ отправленияхъ своихъ умъ дѣйствуетъ безъ убѣжденія, какъ ремесленникъ, прикованный къ станку, чуждый вдохновенія, безъ внут-

ренняго сознанія своего труда, безъ любви и сочувствія къ нему.

Теперь умъ просыпается; счастливый случай знакомитъ его съ новыми, богатыми идеями; онъ принимаетъ ихъ съ жадностію; съ невольнымъ страхомъ приближается къ стройной, греческой системѣ и съ темнымъ сознаніемъ видитъ передъ собою новый путь — и робкими невѣрными шагами пытается идти по немъ.

Паденіе Византіи, открытіе Америки, изобрѣтеніе книгопечатанія, все тревожитъ, — все возбуждаетъ смутное движеніе ума. Взятіе Константинополя было причиною, что многіе греческіе ученые переселились въ Италію а слѣдствіемъ этого было распространеніе настоящихъ, неискаженныхъ идей Платона, Аристотеля, Эпикура. Государии покровительствовали изученію классической литературы. Италія, которая пріютила греческихъ ученыхъ, сдѣлалась средоточіемъ наукъ: въ Италію съ жаждою познаній стекались люди со всѣхъ концовъ Европы.

Имена Петрарки и Боккачіо прославились не только на скрижаляхъ поэзіи, но въ то же время занимаютъ высокое мѣсто между именами ученыхъ, которые съ ревностію содѣйствовали изученію классиковъ и возобновленію наукъ.

Первое слѣдствіе изученія греческой философіи состояло въ томъ, что западъ познакомился съ истиннымъ ученіемъ древнихъ мыслителей въ первоначальномъ его видѣ. Время для самостоятельнаго, дальнѣйшаго изслѣдованія еще не наступило. Но и древнія системы сами по себѣ представляли рѣзкое противорѣчіе со всѣми теоріями схоластиковъ и возбуждали со-

миѣніе въ непогрѣшительности прежнихъ изслѣдованій. Съ одной стороны, живая, глубокая идея, съ другой — сухія, мертвыя формулы: — выборъ былъ нетруденъ, Сомнѣніе нанесло первый ударъ ветхому зданію схоластики, ударъ, отъ котораго пошатнулись ломкія, діалектическія построенія. Но съ другой стороны, новое движеніе мысли, связанной старыми предразсудками, вѣковою привычкою, еще не имѣло вѣрной цѣли, еще бродило въ туманѣ: умъ стремился къ новому развитію прежнихъ, разъ уже принятыхъ идей, вмѣсто того, чтобы сперва разсмотрѣть свои собственныя начала и законы, по которымъ онъ познаетъ предметы. Такимъ образомъ, старое вліяніе еще несовсѣмъ уничтожилось и авторитетъ сохранилъ еще на нѣкоторое время свои привычныя права, которыя пренятствовали свободной дѣятельности ума.

Изъ греческихъ философовъ Платонъ и Аристотель первые возбудили живое участіе на западѣ; къ нимъ примыкали и другія системы, болѣе или менѣе сходствующія съ ними; такъ къ философіи Платона присоединилась каббалистика, къ философіи Аристотеля система атомистовъ. Стоики и скептики только поодиѣ нашли своихъ послѣдователей. Философія Платона, съ восторгомъ принятая пламеннымъ воображеніемъ юга, процвѣтала подъ покровительствомъ медическаго дома, но еще не столько въ первоначальной простотѣ своей, сколько подъ формою неоплатонизма. Болѣе другихъ, *Фициній* (1433—1499) оказалъ философіи важную услугу ловкими переводами Платона, Плотина и другихъ; кромѣ того, онъ написалъ къ нимъ и

собственные, замѣчательныя поясненія. Въ своей «Theologia platonica» онъ съ необыкновеннымъ умѣніемъ доказываетъ безсмертіе души. — За нимъ является графъ *Мирандола* (1463—1494). Онъ доискивался сближенія Платона съ ученіемъ ветхаго завѣта. Знаніе восточныхъ языковъ познакомило его съ каббалистикою и онъ занимался ею съ особеннымъ наслажденіемъ. Любимая мечта его состояла въ томъ, чтобы согласить платониковъ съ аристотелистами. Въ старости онъ написалъ превосходное опроверженіе астрологическаго суевѣрія.

Изученіе каббалистики достигло еще высшаго развитія стараніями ученаго филолога *Рейхлина* (1455—1522), который познакомилъ съ нею Германію въ своихъ сочиненіяхъ: *De verbo mirifico* и «*De arte cabbalistica*». Первое сочиненіе его служило предметомъ публичныхъ лекцій *Агриппы Нетесейма*, человека, жаждавшаго денегъ и славы. Онъ былъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ чернокнижниковъ своего времени. Книга его «*De occulta philosophia*» наполнена всѣми странностями необузданнаго воображенія; въ ней называетъ онъ магію дополненіемъ философіи и ключемъ къ тайнамъ природы. По тому-же направленію мы встрѣчаемъ знаменитаго *Парацельса* (*Aureolus Theophrastus Paracelsus*, 1493 — 1541). Онъ былъ въ одно и то же время медикомъ и химикомъ, теософомъ и каббалистомъ. Съ быстрымъ взглядомъ опытнаго наблюдателя, съ огромными практическими свѣдѣніями онъ соединялъ живое, пламенное воображеніе. Медицина обязана ему многими преобразованіями

ми. Онъ переходилъ отъ одного предмета къ другому, привлекалъ толпу таинственными странностями и пользовался огромною славою. Всемирная гармонія, вліяніе звѣздъ, стихійные духи—вотъ главные начала его „Теософін“ и „Теургін“.

Философія Аристотеля, и въ новомъ, неискаженномъ ея видѣ, нашла себѣ многочисленныхъ послѣдователей. Схоластики, которые и прежде удивлялись Аристотелю и почти исключительно его изучали, съ изумленіемъ познакомились съ настоящею его системою. Они съ жадностію бросились на всѣ его отдѣльныя сочиненія, поясняли ихъ повсюду, дѣлали извлеченія. Между богословами и врачами основалась многочисленная школа перипатетиковъ, которая сама по себѣ раздѣлялась на особенныя партіи, судя по тому или другому толкованію Аристотеля. Одного изъ самыхъ замѣчательныхъ перипатетиковъ этого времени мы встрѣчаемъ въ лицѣ *Петра Помпанациа* (1462—1530). Онъ изучалъ Аристотеля безъ слѣпаго, рабскаго довѣрія къ нему, умѣлъ находить слабыя стороны его системы и пополнялъ ихъ собственными идеями. Между его учениками отличались Скалигеръ, Порцій и Контарини. Съ другой стороны, ученіе Аристотеля породило и возраженія нѣсколькихъ смѣлыхъ головъ, которые, наперекоръ вѣку, подрывались подъ самые корни его системы и съ торжествомъ открывали ея недостатки. Между противниками Аристотеля замѣчательнъ Телезій, который упрекаетъ его въ томъ, что онъ, рассматривая систему природы, принимаетъ за начала—пустыя отвлеченія. Какъ натуралистъ, Телезій сближается съ

идеями Парменида; онъ признаетъ два дѣйствующія начала, *тепло* и *холодъ*, и одно страдательное, *матерію*, которая принимаетъ дѣйствія первыхъ. Небо происходитъ отъ начала холода.

Такое направленіе должно было имѣть свои благотѣльные послѣдствія. Оно приуготовило ту эпоху, въ которую умъ человѣческій, съ довѣріемъ къ самому-себѣ, освободился отъ тяжкихъ оковъ посторонняго авторитета. Онъ окрѣпъ и возмужалъ въ смутной борьбѣ старыхъ привычекъ и новыхъ идей. Необходимость творческой дѣятельности день-о-то-дня высказывалась явственнѣе. Внутреннее непреодолимое стремленіе увлекало умы, которые уже не съ прежнимъ раболѣпиемъ оглядывались на устарѣлые преграды. Самое время кипѣло смѣлыми предпріятіями, бурною жизнію, новыми переворотами по всѣмъ направленіямъ. Духъ времени отпечатлѣвался и на отдѣльномъ челоѣкѣ. Общая фیزیономія знаменитыхъ характеровъ этой эпохи отличается какимъ-то дикимъ, тревожнымъ движеніемъ, бурнымъ вдохновеніемъ, отнюдь неспособнымъ къ спокойному изслѣдованію науки, и непреклонною энергіею въ исполненіи предположенной цѣли. Вотъ почему мы повсюду замѣчаемъ смѣлыя, самостоятельныя попытки въ смутномъ хаосѣ пестраго, неправильнаго знанія, высокія, отдѣльныя мысли безъ стройнаго цѣлаго. Умъ потѣшался непривычною свободою и на первый разъ не рѣшался даже стѣснять себя строгими условіями науки. Неудовлетворенный несообразными идеями отжитаго міра, онъ повѣрялъ права обветшалаго насилія. Разрушеніе устарѣлаго, ветхаго зданія влекло

за собою порожденіе новыхъ идей, новыхъ мнѣній, новыхъ системъ. Умственное обновленіе человѣчества принадлежитъ реформаціи. Она указала путь *къ свободному самостоятельному изслѣдованію*; съ нея начинается новая эпоха философіи, новый переворотъ идей, который служилъ преддверіемъ къ нынѣшнему философическому воззрѣнію. Вотъ почему я думаю, что самыя имена Кардана, Бруно, Ванини, и по времени и по направленію, болѣе относятся къ эпохѣ реформаціи, нежели къ схоластикѣ, которая не совсѣмъ справедливо себѣ ихъ присвоила во многихъ „исторіяхъ философіи“ (*).

Но чтѣ-же такое были Карданъ, Бруно, Ванини, современники Лютера, увлеченные общимъ стремленіемъ вѣка, общею борьбою идей, общимъ броженіемъ Европы?

Страненъ характеръ *Кардана* (1501—1575), если мѣрять его обыкновенною, прозаическою мѣркою будничныхъ людей; поучителенъ онъ, какъ яркое проявленіе дикаго боренія ума, увлеченнаго неукротимыми страстями. Въ своемъ сочиненіи «*De vita propria*» онъ самъ рассказываетъ намъ свои похождения, самъ становится строгимъ, неумолимымъ обвинителемъ своего характера и направленія. Онъ родился въ Павіи; мать его, еще до родовъ, грозила ему смертію; она старалась разными зельями уничтожить незримый зародокъ.

(*) Въ слѣдующей статьѣ, при разборѣ *вѣка Лютера* и его вліянія на философію, я постараюсь подробнѣе изложить свое мнѣніе. Э. Г.

дышъ; провидѣніе не допустило исполненіе страшнаго намѣренія—и дитя родилось; кормилица, которая питала его своимъ молокомъ, умерла отъ мора; младенецъ остался цѣлъ и невредимъ. Такимъ образомъ онъ сдѣлался отъ самой колыбели игралищемъ безжалостной судьбы. Отъ нищеты онъ переходилъ къ изобилію; его осыпали почестями—и мучили пыткой; онъ пользовался дружбою и ласками государей—и годы проводилъ въ темницѣ. Въ Карданѣ пылкое, творческое воображеніе соединялось съ обширными, многосторонними свѣдѣніями. Онъ былъ медикомъ, астрологомъ, математикомъ; мы до-сихъ-поръ еще разрѣшаемъ уравненія третьей степени по способу Кардана. Но еще ужаснѣе внѣшнихъ страданій его волновали внутреннія бури: въ мучительномъ бореніи души онъ отравлялъ своимъ присутствіемъ все окружающее. Стараясь внѣшними страданіями облегчить внутреннія, онъ подвергалъ тѣло свое жестокимъ истязаніямъ: то въ пышныхъ нарядахъ вельможи, то въ грязныхъ лохмотьяхъ нищаго, то скромнѣе, тихъ и покоенъ, то въ неукротимомъ изступленіи сумасшествія, онъ сегодня являлся живымъ противорѣчіемъ того, чѣмъ казался вчера. Вотъ онъ погружается въ безчисленныя занятія, трудится дни и ночи, работаетъ безъ отдыха, не покидая уединеннаго кабинета, чуждаясь людей; а вотъ уже наскучилъ работою, бросаетъ неконченный трудъ, кидается въ дикія оргіи разврата, проигрываетъ послѣднія крохи своего состоянія. Въ воспитаніи его дѣтей выказывается то же противорѣчіе характера: одинъ изъ сыновей его умираетъ на плахѣ,

какъ убійца собственной своей жены; другому, въ наказаніе за распутное поведеніе, самъ отецъ приказалъ отрѣзать уши. Собственные признанія Кардана отличаются какою-то грубою откровенностію. Онъ говоритъ между прочимъ: „Я отъ природы имѣю философическое направленіе и склонность къ наукамъ; я остроумень, вѣжливъ, добродушенъ; люблю истину, веселье и нѣгу; я задумчивъ, предпріимчивъ, услужливъ, изобрѣтателенъ, самъ-собою ученъ, ищу чудесъ и познаній; я хитеръ, лукавъ, насмѣшливъ, трезвъ, прилеженъ, болтливъ, безпеченъ, завистливъ, мстителенъ, жестокъ; я предатель, врагъ религій, не люблю своихъ родныхъ и кровныхъ; я магъ, предсказатель, волшебникъ, развратникъ, клеветникъ; я суровъ, переменчивъ и несчастенъ. Вотъ какія противорѣчія заключаются во мнѣ!“ — Сочиненія Кардана вполнѣ соотвѣтствуютъ этой странной картинѣ его характера: та-же смѣсь, тѣ-же переходы, тѣ-же крутыя противорѣчія; свѣтлая, глубокая мысль возлѣ какого-нибудь обветшалаго суевѣрія; грубый предразсудокъ каббалистики возлѣ яснаго, философическаго созерцанія; слогъ его дикъ, шероховатъ, несвязенъ. Но все, что онъ писалъ, — самостоятельно; онъ черпалъ изъ самаго-себя и не подчинялся чуждому авторитету; въ этомъ отношеніи его вліяніе было благотвѣтельно, потому-что оно возбуждало современниковъ къ самобытнымъ трудамъ, къ самостоятельной дѣятельности ума.

Кампанелла (1568—1639) и по жизни и по сочиненіямъ много имѣетъ общаго съ Карданомъ: и онъ боролся съ бурями жизни, и онъ опорожнилъ до дна

горькую чашу опыта. Окруженный врагами, онъ сдѣлался жертвою ихъ гоненія, двадцать-семь лѣтъ провелъ въ темницѣ, въ оковахъ, какъ государственный преступникъ. Увлеченный сочиненіями Телезія и собственнымъ размышленіемъ, онъ пренебрегъ системою Аристотеля. Кампанелла принимаетъ два источника познанія: откровеніе и природу; первое есть начало богословія, вторая — основаніе философіи. Сочиненія его сами-по-себѣ не представляютъ важныхъ результатовъ, но и они возбуждали движеніе, и они поколебали умственную дремоту челоуѣчества.

Бруно (Giordano Bruno) тоже принадлежитъ къ бурнымъ, безпокойнымъ характерамъ мятежнаго XVI столѣтія: и онъ кидался изъ одной крайности въ другую, увлекаясь воображеніемъ и страстями. Онъ сперва принадлежалъ къ доминиканскому ордену, но, осуждая съ упорнымъ самоотверженіемъ злоупотребленія католическаго монашества, онъ навлекъ на себя всеобщее негодованіе и долженъ былъ оставить Италію. Онъ переселился въ Женеву; но и здѣсь не поладилъ съ идеями Кальвина, поссорился съ нимъ — и переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ опровергалъ въ публичныхъ диспутахъ, философическія мнѣнія послѣдователей Аристотеля. Въ этихъ опроверженіяхъ онъ не имѣлъ успѣха, потому-что система Аристотеля въ то время еще имѣла и вѣсъ и значеніе. Изъ Франціи онъ отправился въ Англію, изъ Англіи въ Германію. Здѣсь онъ отложился отъ католической религіи и перешелъ на сторону протестантовъ. Повсюду читалъ онъ публичныя лекціи, издавалъ книги, училъ и спорилъ; такимъ об-

разомъ всѣ его сочиненія разсѣяны по разнымъ мѣстамъ. Наконецъ, Бруно возвратился въ Италію и прожилъ нѣсколько времени въ Падуѣ; но и на этотъ разъ ему не посчастливилось на родинѣ: инквизиторы Венеціи схватили бѣднаго философа и бросили его въ темницу, откуда впослѣдствіи перевезли его въ Римъ. Его судили, требовали торжественнаго отреченія отъ прежнихъ мнѣній; но Бруно остался непреклоненъ, и умеръ на кострѣ, какъ мученикъ науки.

Всѣ сочиненія Бруно проникнуты вдохновеніемъ гордаго самосознанія, которое чувствуетъ присутствіе духа, единаго и тождественнаго съ общимъ духомъ міра. Въ новѣйшее время Якоби обратилъ вниманіе на сродство идей Спинозы съ идеями Бруно, но Бруно самъ увлекался смѣлыми гипотезами элеатовъ и александрійскихъ неоплатониковъ; впрочемъ всѣ философскія идеи его свидѣтельствуютъ о самостоятельности, живости и оригинальности его ума. Въ общихъ его воззрѣніяхъ высказывается глубокое убѣжденіе въ оживленность природы и въ присутствіе разума въ природѣ. Система его имѣетъ пантеистическое направленіе. Онъ принимаетъ общее, единое начало, въ которомъ заключается основаніе и причина всего существующаго; такимъ образомъ это начало есть вмѣстѣ съ тѣмъ и общій, дѣятельный разумъ, проявляющійся въ общей формѣ вселенной. Форма и матерія первоначально тождественны, такъ что одна безъ другой существовать не можетъ; ибо если мы себѣ представимъ возможность или силу дѣйствія, произвожденія, то необходимо должна существовать и другая возмож-

ность воспринять дѣйствіе, быть произведену. Въ первомъ, общемъ началѣ заключается все, что существуетъ; оно можетъ быть всѣмъ и есть все; въ немъ возможность и дѣйствительность, свобода и необходимость, воля и дѣйствіе — нераздѣльно одно и то же. Чтобы дойти до идеи единства, Бруно принимаетъ понятія *наибольшаго и наименьшаго*. Заклячая первое начало въ понятіе наименьшаго, оно необходимо сливается съ понятіемъ наибольшаго, какъ въ безпредѣльности вселенной нѣтъ различія между центромъ и окружностью, между конечнымъ и безконечнымъ: здѣсь все—средоточіе и это—средоточіе вездѣ. Вотъ въ чемъ заключается основная идея Бруно, которая вдохновляла всю его умственную дѣятельность. Предаваясь своей идеѣ, онъ становится поэтомъ; многія сочиненія его писаны стихами и часто онъ выражается фантастическими аллегоріями.

Кромѣ того, Бруно занимался усовершенствованіемъ лулловыхъ таблицъ. И здѣсь онъ выказалъ свои глубокія соображенія. Его таблицы имѣютъ высшее значеніе; онъ изображаютъ систему общихъ представленій. Бруно исходитъ отъ общихъ данныхъ идей; приводя все къ одной жизни, къ одному разуму, онъ хотѣлъ подчинить этому общему разуму всѣ духовныя подраздѣленія и такимъ образомъ составить логическую философію, предметомъ которой онъ почиталъ «вселенную въ ея отношеніяхъ къ истинному, познаваемому и разумному». Главное его стараніе состояло въ томъ, чтобы согласить предметы разума съ предметами дѣйствительности, умственные представ-

ленія съ вещами видимыми или подлежащими чувственному наблюденію. Такимъ образомъ, Бруно оставилъ намъ въ своихъ таблицахъ замѣчательную, хотя и неудачную попытку, въ которой онъ старался показать въ полной логической системѣ соотвѣтствіе творческой мысли съ чувственными изображеніями внѣшней природы.

Ванини (1586 — 1619), какъ и Бруно, принадлежитъ къ числу несчастныхъ мучениковъ науки: и онъ скитался изъ стороны въ сторону, безъ вѣрнаго пріюта, безъ постоянного крова, то въ Германіи, то во Франціи, то въ Англіи. Въ Италіи онъ навлекъ на себя подозрѣніе папскихъ лазутчиковъ преподаваніемъ философіи природы и богословскими спорами. Избѣгая неминуемыхъ преслѣдованій, онъ искалъ пріюта во Франціи; но и здѣсь мнѣнія его нашли непримиримыхъ враговъ. Ванини обвинили, какъ богоотступника; напрасно увѣрялъ онъ, что признаетъ католическую церковь, напрасно, въ отвѣтъ на грозныя обвиненія, онъ поднималъ съ земли соломенку и говорилъ, что и она уже въ состояніи убѣдить его въ существованіи Божіемъ, — ничто не могло спасти его: въ Тулузѣ ему готовилась смерть; новый костеръ, воздвигнутый злобою непримиримыхъ враговъ, ожидалъ непреклоннаго Ванини; но прежде казни еще палачъ вырвалъ дерзкій языкъ отважнаго философа, это грѣшное орудіе его преступленій.

Ванини отдѣляетъ философію отъ богословія; до сихъ-поръ философія схоластиковъ служила подпорою теологіи; но католическая религія не признавала правъ

науки, церковь отдѣлилась отъ свободнаго изслѣдованія и сохранила одно только діалектическое искусство; наука нашла своихъ защитниковъ въ лицѣ Ванини и Бруно.

Ванини болѣе остроуменъ, нежели глубокъ; онъ излагалъ свои сочиненія въ видѣ разговоровъ, въ которыхъ иногда трудно рѣшить, какое мнѣніе принадлежитъ ему. Онъ принимаетъ божественность природы и механическое происхожденіе вещей. Доказывая мнѣніе, противоположное правиламъ католическаго ученія, онъ всегда подчиняетъ свое убѣжденіе постановленіямъ религіи. Наказывая костромъ и плахой такое смиреніе разума передъ вѣчными, но непостижимыми истинами вѣры, католическая церковь не соблюдала собственныхъ выгодъ, стараясь, можетъ-быть, подвести законы божественныхъ истинъ подъ законы человѣческихъ соображеній. Но въ этомъ случаѣ папа и церковь ошибались, потому-что казнями и пыткой доказывали соотвѣтствіе и согласіе религіи съ условными законами ограниченнаго, человѣческаго мышленія, не думая о томъ, что божественныя истины всегда выше нашего слабаго, близорукаго понятія, и потому, непостижимыя для смертнаго ума, требуютъ вѣры и смиренія; но вѣра и смиреніе въ лицѣ Ванини наказывались приговоромъ, костромъ и плахою.

Желаніе католиковъ подтвердить религію философическими доводами обнаруживается также въ любопытномъ судѣ Петра Рама (Pierre de la Ramée, Petrus Ramus). Онъ сперва занимался философіею Аристотеля, но впоследствии сдѣлался страшнымъ сопер-

никомъ всѣхъ его послѣдователей. Онъ уже въ первомъ публичномъ диспутѣ своемъ доказывалъ, что все ученіе Аристотеля ложно. Обладая рѣдкими, діалектическими способностями, онъ вышелъ побѣдителемъ изъ этого спора. Но католическая церковь, какъ мы уже выше замѣтили, подкрѣпляла свое ученіе философією Аристотеля и потому не могла оставить безъ вниманія такого опаснаго соперника. Рама предала суду. Сперва, когда судъ производился въ парламентѣ, дѣло клонилось въ пользу Рама; тогда враги его отсторонили конечное рѣшеніе и успѣли передать разсмотрѣніе спорнаго вопроса особенной комиссіи, которая состояла изъ предсѣдателя и четырехъ судей, двухъ, назначенныхъ Рамомъ, и двухъ, избранныхъ его противникомъ Говеаномъ (Goveanus). Самъ король избралъ предсѣдателя. Такіе споры возбуждали вниманіе публики въ высшей степени; многіе изъ нихъ отличались своими забавными побужденіями; такъ, на примѣръ, происходила упорная тяжба между двумя партіями, изъ которыхъ одна утверждала правильность прямого произношенія «quidam», «quoque», «quoniam»; а другая перемѣняла это произношеніе, выговаривая «kidam», «koke», «koniam». Подобный сему, не менѣе горячій споръ, въ который тоже наконецъ вмѣшалось правительство, состоялъ въ вопросѣ: можно-ли слово «ego» отнести и къ третьему лицу, такъ-какъ къ первому, то-есть, можно-ли, на примѣръ, сказать «ego amat», по примѣру того, какъ говорятъ «ego amo»? Въ первый день суда, Рамъ утверждалъ, что логика Аристотеля не основательна, потому-что „Органонъ“ его на-

чинается не съ опредѣленія. Вслѣдствіе такого возраженія комиссія рѣшила, что въ диссертациі опредѣленіе необходимо, но въ діалектикѣ можно и обойтись безъ него. На другой день Рамъ говорилъ, что въ логикѣ Аристотеля не достааетъ раздѣленія, которое во всякомъ случаѣ необходимо. Эта злая выходка смутила судей и они рѣшились уничтожить начатое слѣдствіе. Рамъ протестовалъ, но, не смотря на то, его обвинили, и приговоръ былъ разосланъ по всѣмъ академіямъ Европы.

Много было въ эту эпоху еще замѣчательныхъ людей, которые большею частію тоже принадлежать къ исторіи философіи; укажемъ хоть на имена Монтаня и Маккиавеля. Но они имѣли только косвенное вліяніе на философію; всѣ ихъ сочиненія относятся болѣе къ общему ходу просвѣщенія и образованности, нежели къ собственному значенію философіи. Они разсматривали различные вопросы, касающіеся жизни, общественныхъ правъ и человѣческаго быта; они почерпали свои наблюденія изъ чаши опыта и вникали въ тайныя пружины страстей и движеній человѣческихъ. Но высшіе вопросы философіи, по прямому ихъ направленію, оставались для нихъ посторонними, и потому они не относятся къ общей цѣли нашего обзора (*).

(*) Обѣщаннаго авторомъ продолженія этихъ статей, (*О философіи въ вѣкъ Лютера и о новѣйшихъ германскихъ философахъ*)—не было. Прим. А. Т.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ ТЕЛЛЪ.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНІЕ ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.
Сочиненіе Шиллера. Переводъ Ѳ. Миллера.

(Библ. д. Чт. 1845 г. № 2).

СТАТЯ ПЕРВАЯ.

Поговоримъ

О Шиллерѣ, о славѣ, о любви.

А. Пушкинъ.

Есть какіе-то особенно счастливыя имена литераторовъ: ихъ любятъ, ихъ произносятъ съ особеннымъ участіемъ, съ любовью именно, когда другія возбуждаютъ чувство удивленія, благоговѣнія, если угодно, но не любви. Что-то похожее на любовь дѣтскую и родительскую видимъ въ нашемъ безкорыстномъ чувствѣ къ любимымъ авторамъ нашимъ. И не всегда самые любимые суть самые великіе, или говоря яснѣе, чувства любви нельзя принимать мѣрою сравнительнаго достоинства авторовъ. Мы говоримъ не о

тѣхъ, которыхъ любимъ мы, какъ милыхъ намъ друзей, родныхъ, потому-что они близки намъ по какому нибудь отношенію частному. Такова бываетъ привязанность къ родной пѣснѣ, основанная на чувствѣ любви къ родинѣ, на личныхъ воспоминаніяхъ нашихъ. Таково чувство, которое заставляетъ восхищаться простою драмою, когда огромное трагическое созданіе остается непонятнымъ, чуждымъ для насъ. Беремъ размѣръ далѣе, и для примѣра — двухъ русскихъ современныхъ поэтовъ, Жуковского и Пушкина. Сомнѣнія нѣтъ, что сравниваемые по безотносительному достоинству они не равны: Пушкинъ выше Жуковского, какъ мыслитель и поэтъ. Но никогда творенія Пушкина не приобрѣтали и не приобретутъ той любви, которою возбуждали и всегда будутъ возбуждать творенія Жуковского. Такъ въ англійской словесности уважаютъ Соутея и любятъ Мура; въ германской признаютъ достоинства другихъ, но любятъ Шиллера, и не такое-ли чувство возбуждаетъ Шиллеръ во всѣхъ чужеземцахъ, которые узнаютъ его? Здѣсь нѣтъ уже чувства родины, нѣтъ нашихъ частныхъ отношеній, но въ чемъ-же скрывается причина? Изслѣдовать такой вопросъ любопытно, тѣмъ болѣе, что для него надобно рассмотреть поэта, его творенія и его жизнь (мы уже знаемъ, что одно взаимно поясняется другимъ, и взятое отдѣльно будетъ не полно). Подобное разсмотрѣніе всегда поучительно. Но кромѣ того здѣсь можно коснуться одного изъ современныхъ вопросовъ искусства, вопроса важнаго, потому-что ложное рѣшеніе его губить теперь современное искусство. Будемъ крат-

ки въ нашихъ изъясненіяхъ, предполагая, что читатели наши уже предварительно знаютъ данныя, то есть, твореніе Шиллера и современное состояніе европейской критики и эстетики.

Іоганнъ Христофоръ Фридрихъ Шиллеръ родился въ городкѣ Марбахѣ, въ Виртембергскомъ герцогствѣ, въ половинѣ прошлаго столѣтія, октября тридцатаго (старого стиля) 1759 года отъ частныхъ простыхъ родителей: отецъ его былъ полковой хирургъ, уроженецъ виртембергскій, а мать—дочь хлѣбника. Послѣ ахенскаго мира, въ 1757 году, когда баварскій полкъ, гдѣ служилъ отецъ Шиллера, переформированъ, возвратился онъ на родину въ Виртембергъ, и опредѣлился прапорщикомъ въ полкъ принца Людовика. Находясь въ корпусѣ союзныхъ войскъ въ Богеміи, въ ужасное время Семилѣтней Войны, онъ заслужилъ любовь и уваженіе общее и замѣнялъ врача при пособіи раненымъ, и пастыря, утѣшая страждущихъ на одрѣ скорби и смерти. Съ 1759 года находясь при виртембергскомъ нейтральномъ корпусѣ въ Гессайнѣ и Тюрингенѣ, онъ старался дополнить чтеніемъ и ученіемъ свое недостаточное образованіе. По окончаніи войны находясь въ Людвигсбургѣ, онъ обратилъ на себя благосклонность герцога Карла Виртембергскаго своими познаніями въ садоводствѣ. Мать Шиллера была нѣмецкая *добрая хозяйка* (gutmüthige Hausfrau), умная женщина, которой нѣкогда было читать при заботахъ о хозяйствѣ; но въ свободные часы наслажденіе ея составляли однакожъ стихотворенія Уца, Геллерта и духовныя пѣснопѣнія. Рожденіе единственнаго

сына умножило семейное счастье родителей Шиллера, уважаемыхъ и любимыхъ всѣми знавшими ихъ. Они приложили всевозможныя попеченія о воспитаніи сына, положивъ въ основаніи его благочестіе и нравственность. Въ 1765 году переселились они въ Лорхъ, гдѣ почтенный пасторъ Мозеръ былъ первымъ наставникомъ юнаго Шиллера въ теченіи трехъ лѣтъ, а самъ пасторъ — первымъ никогда незабываемымъ другомъ поэта. Пылкая, впечатлительная душа Шиллера до того была увлечена чувствомъ религіозности, что любимую мечтою его сдѣлалось тогда желаніе быть пасторомъ; въ 1768 году родители Шиллера возвратились въ Лудвигсбургъ, и здѣсь въ первый разъ дѣсятилѣтній Шиллеръ былъ въ театрѣ. Онъ говаривалъ самъ, что не можетъ выразить силы впечатлѣнія, какое произвела на него театральная сцена. Возвратясь домой, онъ бредилъ драматическими героями и принялся писать трагедію. Между-тѣмъ онъ учился въ городской школѣ, и казался робкимъ и неловкимъ. Мало успѣвая въ урокахъ, которыми мучилъ его воспитатель, грубый, угрюмый педантъ, Шиллеръ отличался только познаніями въ языкахъ. Нѣжно-любившій его отецъ не препятствовалъ желанію сына посвятить себя духовному званію, и Шиллеръ выдержалъ въ Стутгартѣ испытаніе, которымъ обратилъ на себя вниманіе герцога Карла, изъявившаго отцу его непремѣнную волю, чтобы юнаго Шиллера помѣстили въ заведенную тогда герцогомъ знаменитую штутгартскую академію (Carlschule). И отецъ и сынъ слышали съ прискорбіемъ о желаніи герцога, хотя это надобно было почести

знакомъ особеннаго благоволенія. Мечты Шиллера разрушились новымъ назначеніемъ. Ослушаться не смѣли и въ 1773 году Шиллеръ записанъ былъ въ юридическое отдѣленіе академіи. Отсюда началась борьба поэта съ міромъ, имѣвшая важное вліяніе на его дарованіе и даже на самую жизнь его.

По-неволѣ предназначенный въ юристы, Шиллеръ изрѣдка, украдкою могъ удѣлять часы своимъ любимымъ занятіямъ и положеніе его сдѣлалось еще тягостнѣе, когда въ 1773 году перевели его въ медицинское отдѣленіе академіи. Какъ-будто желая поскорѣе свергнуть съ себя иго несроднаго ему ученія, Шиллеръ оказывалъ прилежаніе и успѣхи необыкновенные. Сочиненія его: „Философія фізіологіи“, на латинскомъ языкѣ, и другое: *Ueber den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen*, заслуживали похвалу наставниковъ и будущій творецъ „Валленштейна“ и „Вильгельма Теля“, былъ выпущенъ изъ академіи съ званіемъ лекаря, опредѣленъ, какъ *Regiments - Medicus*, въ полкъ, и принужденъ дежурить въ военномъ госпиталѣ. Знавшіе тогда Шиллера рассказывали, что въ медицинской практикѣ показывалъ онъ „много ума и смѣлости, но лечилъ неудачно“. Вѣримъ. Больному плохо, когда лекарь приходитъ къ нему съ планомъ трагедіи въ головѣ, съ мечтами о поэмѣ въ душѣ.

Шиллеръ родился поэтомъ и, какъ говорится, лепеталъ стихами въ колыбели. Думая сначала вступить въ духовное званіе, семъ лѣтъ пробывъ потомъ въ академіи и принужденный читать Горациевъ и Томазіевъ, или

слушать лекціи объ анатоміи и фармацевтикѣ, онъ отдыхалъ только за твореніями древнихъ, жадно перечитывалъ Клопштока, Лессинга, Гете, Герштенберга, Лейзевица, волновавшихъ Германію реформою нѣмецкой поэзіи вообще и особенно драмы. Принужденное стараніе скрыть свои занятія, усиливали страсть Шиллера. Въ 1773 году онъ уже началъ эпическую поэму „Моисей“; потомъ трагедію „Козьма Медичи“, что-то въ родѣ Лейзевица, „Юлія Таренскаго“, и наконецъ драму: „Студентъ Нассаускій.“ Все было брошено и сожжено. Поэтъ страдалъ, чувствуя бѣдность своихъ опытовъ, искалъ идей, составлялъ и не могъ составить плана, и „за хорошій планъ трагедіи готовъ былъ отдать свой послѣдній талеръ,“ какъ говорилъ онъ впослѣдствіи. Нѣкоторыя бездѣлки безъ имени Шиллера, были тогда напечатаны въ „Швабскомъ Магази́нѣ.“ Шиллеръ тщательно изучалъ нѣмецкій языкъ въ лютеровомъ переводѣ библіи, и приходилъ въ восторгъ отъ героев Плутарха; оставляя ихъ, принимался онъ за Гарве и Гердера, и читалъ и не понималъ Шекспира, съ которымъ начали знакомить Германію Лессингъ и Гердеръ. Наконецъ тогда Шиллеръ вышелъ изъ академіи; все тогдашнее состояніе души, всѣ мечты, все свое образованіе выказалъ онъ въ „Разбойникахъ,“ явившихся съ эпиграфомъ изъ Иппократа: Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat. (Когда лекарства не излечаютъ—лечи *железомъ*, когда *железо* не излечаетъ—лечи *огнемъ*).

Юные друзья Шиллера слушали трагедію его и во-

схищались, но онъ не зналъ, куда съ ней дѣваться. Никто изъ книгопродавцевъ не брался печатать страннаго произведенія молодаго лекаря. Онъ напечаталъ его на собственный счетъ, и съ радостію получилъ приглашеніе мангеймскаго книгопродавца Швана поставить ее на сцену на тамошнемъ театрѣ по распоряженію директора, барона Дальберга. Требовали исключеній, перемѣтъ; Шиллеръ на все согласился и въ январѣ 1782 года „Разбойники“ были даны въ первый разъ.

Успѣхъ трагедіи былъ необыкновенный; восторгъ жителей походилъ на изступленіе. Шиллеръ присутствовалъ самъ при первомъ представленіи, и до того увлекся игрою Иффланда въ роли Франца Моора, что хотѣлъ вступить въ труппу. Дальбергу, Швану, самъ Иффландъ отговорили его. „Вы должны составить славу нѣмецкаго театра, но какъ авторъ, а не какъ актеръ,“ говорилъ ему актеръ Бейль. „Клянусь въ томъ!“ отвѣчалъ восторженный поэтъ.

Съ горящею, исполненною мечтаній и плановъ головою возвратился Шиллеръ въ Штутгартъ. Здѣсь горячку его охладилъ двухъ-недѣльный арестъ, потому что онъ ѣздилъ въ Мангеймъ, не взявши надлежащаго отпуска. Поэта могло утѣшить всеобщее вниманіе. Молодежь бредила его Карломъ Мооромъ; впечатлѣніе было такъ сильно, что въ университетахъ и училищахъ составлялись даже братства освободителей человѣчества, и клялись преслѣдовать злодѣйства и несправедливость.

Разумѣется, такого направленія нельзя было ни одобрить, ни позволить. „Освободителей человѣчества“

запирали въ карцеры, и имя Шиллера съ негодованіемъ произносили люди благочестивые. Желчныя критики послѣдовали за успѣхомъ. Наконецъ послѣдовала и фѳормальная жалоба отъ жителей Граубиндена, которыхъ въ „Разбойникахъ“ назвали „промышленниками большихъ дорогъ.“ Напрасно поэтъ оправдывался, что это говорятъ *разбойники*, и странно-почитать его собственнымъ мнѣніемъ то, что влагается въ уста сценическихъ злодѣевъ. Именнымъ повелѣніемъ герцога запрещено было Шиллеру печатать что-либо другое, кромѣ медицинскихъ сочиненій.

Поэтъ не смѣлъ противорѣчить, хотя не могъ скрыть своего негодованія и не думалъ слушать приказа. Многіе біографы Шиллера старались представить отношенія виртембергскаго герцога къ Шиллеру какими-то деспотическими мѣрами. Они забыли, что герцогъ былъ тогда добродѣтельный, просвѣщенный, желавшій добра и счастья поданныхъ, Карлъ Евгеній, умѣвшій предохранить свое государство отъ бѣдствій Семилѣтней Войны, ничего не щадившій для науки и просвѣщенія, и покровитель родителей Шиллера. Достойный дядя нашей незабвенной благодѣтельницы сиротъ, Императрицы Маріи, онъ не думалъ преслѣдовать Шиллера, восхищался его дарованіями, но не могъ ни одобрить направленія сочиненій юнаго поэта, ни даже позволить ихъ оффиціально. Вспомнимъ одно, что на лѣвомъ берегу Рейна уже начиналось тогда гибельное движеніе умовъ. „Разбойники“ казались искрою, брошенною въ молодые безрасудныя головы. Герцогъ скоро узналъ, что вопреки его запрещенію

Шиллеръ вступилъ въ участіе по изданію газеты, начатой профессоромъ Абелемъ и бібліотекаремъ Петерсеномъ, подъ названіемъ Виртембергскаго литературнаго реперторія (Württembergisches Repertorium der Literatur), гдѣ помѣщены были, безъ имени автора, Шиллера, статьи: Ueber das gegenwärtige deutsche Theater; der Spaziergang unter den Linden; eine grossmüthige Handlung der neuesten Geschichte, и нѣсколько рецензій. Тогда-же онъ издавалъ съ Шейдлицомъ Антологію, написавши къ ней предисловіе отъ „Тобольскаго жителя,“ и посвятивъ его Смерти. Всѣ эти шалости поэта произвели только то, что добродушный герцогъ, не снимая запрещенія, велѣлъ Шиллеру прежде печатанія представлять стихи и прозу на его собственное разсмотрѣніе, потому-что, говорилъ герцогъ, онъ „находитъ ихъ писанными въ дурномъ вкусѣ,“ (fand häufige Verstosse gegen den bessern Geschmack in Schillers Producten). Это совершенно разсердило поэта, и онъ рѣшился навсегда оставить отчизну, гдѣ не было свободы его генію. Сначала вздумалъ-было онъ просить увольненія, но получилъ отказъ. Герцогъ не хотѣлъ съ нимъ разстаться. Во время пребыванія Великаго Князя Павла Петровича въ Штутгартѣ, въ октябрѣ 1782 года всѣ заняты были праздниками; Шиллеръ ушелъ ночью пѣшкомъ изъ столицы, съ нѣсколькими талерами въ карманѣ, и подъ чужимъ именемъ онъ укрылся въ Мейнингенѣ. Герцогъ не думалъ его преслѣдовать, изъявилъ искреннее сожалѣніе отцу Шиллера, что сынъ его, одаренный необыкновеннымъ талантомъ, увлекается юно-

шескою пылкостью. Все, что было потомъ писано Шиллеромъ, герцога всегда читалъ съ особеннымъ участіемъ, и продолжалъ покровительство отцу его, который напрасно звалъ своего сына, увѣряя, что все давно забыто. До самой кончины герцога, въ 1793 году, Шиллеръ не смѣлъ явиться въ Штутгартъ и тогда только старикъ отецъ, со слезами радости, обнялъ своего сына, уже знаменитаго литератора въ Германіи, уже отца семейства, уже страдальца жизни по другимъ отношеніямъ, которыхъ не могъ познать добрый старикъ. Восхищенный славою сына, онъ записалъ тогда въ своемъ молитвенникѣ слѣдующія трогательныя слова: Und du Wesen aller Wesen! Dich hab'ich nach der Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, dass Du demselben an Geisten Kräften zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte, und Du hast mich erhört. Dank Dir, gütiges Wesen, dass Du auf die Bitten der Sterblichen achtest.

Бурны и тревожны были эти десять лѣтъ, протекшія со времени бѣгства Шиллерова изъ отчизны. Душа его перекипала въ страстяхъ, наслажденіяхъ, лишеніяхъ, торжествахъ, паденіяхъ, и когда имя его съ почтеніемъ произносили другіе, самъ поэтъ готовъ былъ предаться отчаянію отъ сознанія своего ничтожества. Таковъ поэтъ.

Мы сказали, что Шиллеръ укрылся въ Мейнингенѣ. Не желая требовать ничьей помощи, онъ нанялся въ учителя дѣтей баронессы Вольцогенъ, съ старшимъ сыномъ которой былъ знакомъ въ Штутгартѣ. Безза-

ботно, съ мечтами и восторгами, прожилъ онъ цѣлый годъ въ Бауербахѣ, помѣстьѣ баронессы, написалъ Заговоръ Фіески, республиканскую трагедію (ein republicanisches Trauerspiel) и „Коварство и Любовь“, „мѣщанскую трагедію“ (ein bürgerliches Trauerspiel). Съ ними спѣшилъ онъ въ Мангеймъ—опять съ мечтами, которыя не могли осуществиться....

Таково было и на всегда осталось свойство души Шиллера; онъ не умѣлъ ничего ни чувствовать, ни любить въ половину. Всего себя отдавалъ онъ увлекающей его идеѣ, и съ дѣтскою довѣренностію на людей и на свои силы, принимался онъ за то, что поражало его, создавая цѣлый міръ идей, которыя мечталъ осуществить. Слѣдствіемъ такого безотчетнаго и безграничнаго стремленія всегда было разочарованіе, уныніе, упадокъ духа, даже отвращеніе отъ того, чему предавался онъ, не говоря о неровности характера и самыхъ дѣйствій. Иногда изумляя своею дѣятельностью, Шиллеръ вдругъ дѣлался безпечнымъ, невнимательнымъ. Изъ восторженной радости переходилъ онъ въ грусть, даже въ отчаяніе. То бросался къ людямъ, какъ братьямъ, видѣлъ въ знатныхъ и сильныхъ особахъ благодѣтелей, покровителей, то, разочарованный людьми, смотрѣлъ на нихъ, какъ на чудовищъ эгоизма, рабовъ суеты, и въ прежнихъ покровителяхъ и благодѣтеляхъ находилъ притѣснителей ума, угнетателей всякаго свободнаго порыва. Но разлюбить людей никогда не могла пламенная душа Шиллера, и весь упрекъ, вся тяжесть взыскательности за обманъ и разочарованіе обращались на него самого.

Онъ считалъ себя во всемъ виноватымъ, не довѣрялъ даже ни своей добродѣтели, ни своему гению. Такъ съ восторгомъ принимаясь за трудъ, онъ терялъ силы на половинѣ пути, ужасался предлежавшаго подвига, готовъ былъ разрушить все уже созданное, и плакать на развалинахъ творенія, въ которое передавалъ всю свою душу, все бытіе свое.

Здѣсь разгадка Шиллера, его жизни, его твореній, перемѣнъ въ образѣ его мыслей. Такихъ людей мирить съ свѣтомъ и съ самимъ собою — только могла....

Съ двумя трагедіями своими, съ планами другихъ, съ мыслью преобразовать театръ нѣмецкій, составить общество драматурговъ, создать актеровъ, авторовъ и публику, явился Шиллеръ въ Мангеймъ. Его приняли съ почестью, чтили въ немъ поэта, требовали отъ него трагедій, хотя отложили составленіе драматическаго общества, предполагаемаго Шиллеромъ, до времени. Онъ началъ тогда изданіе журнала, подъ названіемъ: Рейнская Талія (Rheinische Thalia) и въ объявленіи объ немъ говорилъ: Alle meine Verbindungen sind nun mehr aufgelöst. Das Publicum ist mir jetzt Alles, mein Studium, mein Souverain, mein Vertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an. Vor diesem und keinem andern Tribunal werde ich mich stellen. Dieses nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas Grosses wandelt mich an bei der Vorstellung, keine andere Fessel zu tragen, als den Ausspruch der Welt — an keinen andern Thron mehr zu appelliren als an die menschliche Seele. Den Schriftsteller über-

hüpfte die Nachwelt, der nicht mehr war, als seine Werke.... Двѣ новыя трагедіи Шиллера и журналъ его встрѣчены были всеобщими похвалами публики, злостью критиковъ, и пересудами благоразумныхъ людей, которые кричали, что Фіеско и Коварство и любовь, объ — продолженіе Разбойниковъ. Шиллеръ думалъ только объ успѣхахъ своихъ, забывалъ объ людяхъ и критикахъ, хотѣлъ оправдываться новыми созданіями, и — ничего не могъ создать. Онъ думалъ тогда писать вторую часть „Разбойниковъ“, которая оправдала бы первую, началъ трагедію Конрадинъ, передѣлывалъ Шекспировыхъ „Макбета“ и „Тимони“, но бросилъ все, увлеченный идеей Донъ Карлоса. Сцены изъ него были напечатаны въ Талии и обратили на Шиллера вниманіе гессенъ-дармштадскаго двора. Онъ долженъ былъ читать „Донъ Карлоса“ при дворѣ, и здѣсь познакомился онъ съ герцогомъ Саксенъ-Веймарскимъ, другомъ и покровителемъ Вилланда и Гердера. Герцогъ пожаловалъ Шиллеру чинъ совѣтника и звалъ его въ Веймаръ. Лелѣемый судьбою, увлекаемый надеждами, Шиллеръ терзался, что ничего не могъ кончить, и рѣшился на время укрыться въ уединеніи. „Тамъ, думалъ онъ, созрѣютъ думы мои“, и уѣхалъ въ Лейпцигъ, но въ Лейпцигѣ окружили Шиллера юные обожатели его; дружбы его искали почтеннѣйшіе люди. Лѣто 1785 года проведено было имъ въ веселомъ обществѣ друзей, въ Голицѣ близъ Лейпцига и памятью этого времени жизни Шиллера осталась Пѣсня радости, сдѣлавшаяся народною въ Германіи (Freude, schöner Götterfunke Tochter aus

Elysium), гдѣ поэтъ такъ радостно восклицалъ: Seyd umschlungen, Millionen! Dieser Kuss der ganzen Welt! Осенью уѣхалъ Шиллеръ въ Дрезденъ. Здѣсь передѣлалъ онъ „Донъ Карлоса,“ набросалъ оставшіяся сцены *Мизантропа*, недовольный ни Молиеровымъ, ни Шекспировымъ Мизантропами. Извѣстность Калиостро, и шумъ, произведенный имъ тогда въ Парижѣ, возбудили въ Шиллерѣ мысль романа: *Духовидецъ*, котораго написалъ онъ одну первую часть. Между-тѣмъ неутомимо работалъ Шиллеръ надъ своимъ журналомъ, и наконецъ рѣшился бросить поэзію. Все сдѣланное имъ казалось ему такъ недостаточно, такъ ничтожно. Не кончивъ „Донъ Карлоса“, Шиллеръ рѣшился заняться положительными *полезными трудами*, и хотѣлъ даже приняться за давно брошенную, прежде столь ненавидимую имъ медицину. Но изысканія, какія долженъ былъ онъ дѣлать, изучая испанскую исторію для своего Донъ Карлоса, увлекли его въ новый міръ: исторія представила ему свою вѣчную драму. Воображеніе его воспламенилось геройскимъ патріотизмомъ, какой оказали въ борьбѣ съ Испанією Нидерланды и онъ началъ свое сочиненіе: *Исторія освобожденія Нидерландовъ*. Новый трудъ восхитилъ его. Онъ рѣшился сдѣлаться историкомъ, составилъ планъ описать всѣ важнѣйшія революціи извѣстныхъ государствъ, и спѣшилъ въ Бауербахъ, гдѣ думалъ отдохнуть, собраться съ мыслями, и куда звала его бывшая его благодѣтельница госпожа Вольцогенъ. Тамъ хотѣлъ Шиллеръ обработать планы и новой жизни и новыхъ твореній своихъ.

Бѣдный мечтатель! Неожиданный случай ждалъ его страсти. Остановясь въ Рудольштадтѣ, онъ познакомился съ почтенною дамою, госпожею Ленгефельдъ; увидавъ дватцати-лѣтнюю, прелестную дочь ея Шарлотту, онъ влюбился и забылъ всѣ свои планы. Шарлотта казалась ему ангеломъ-хранителемъ, и была дѣйствительно такова, соединяя нѣжное сердце съ пламенною головою. Она видѣла въ Шиллерѣ идеалъ человѣка и поэта. Она требовала отъ него стиховъ. Поэзія отвергнутая неблагодарнымъ поэтомъ, снова воспламенила его. Новыя, прелестныя, исполненныя жизни созданія поэтическія рождались по волѣ Шарлотты. Но мечта быть положительнымъ человѣкомъ соединялась тогда у Шиллера съ новымъ желаніемъ—быть супругомъ Шарлотты. Семейная жизнь казалась ему идеаломъ семейнаго счастья. Ich bin jetzt ein isolirter fremder Mensch, писалъ онъ одному изъ друзей, in der Natur herumgeirrt und habe nichts als Eigenthum besessen. Ich sehne mich nach einer bürgerlichen und häuslichen Existenz. Ich habe seit vielen Jahren kein ganzes Glück gefühlt, und nicht sowohl, weil, mir die Gegenstände dazu fehlten, sondern darum, weil ich die Freuden mehr nahte, als genoss, weil es mir immer an gleicher und sanfter Empfänglichkeit mangelte, die nur die Ruhe des Familienleben giebt. Совѣты госпожи Вольцогенъ утвердили Шиллера въ его новомъ рѣшеніи, и онъ отправился въ Веймаръ, предполагая получить мѣсто профессора исторіи въ іенскомъ университетѣ, откуда Эйхгорнъ, тогдашній профессоръ исторіи, просилъ увольненія.

Шиллеръ провелъ нѣсколько счастливыхъ дней въ Рудольштадтѣ и спѣшилъ къ цѣли своего путешествія. *Mein Abzug aus Rudolstadt ist mir in That schwer geworden*, писалъ онъ. *Ich habe dort viele schöne Tage gelebt....*

Дружескій приемъ Гердера и Виланда, благосклонность герцога и герцогини Амаліи, незабвенной тѣмъ покровительствомъ наукъ и просвѣщенію, которое доставила Веймару названіе германскихъ Афинъ, и всеобщее уваженіе, съ какимъ встрѣтили Шиллера, очаровали его. Онъ потерялъ даже тогда свою всегдашнюю робость и неловкость при сближеніи съ незнакомыми, особливо знатными людьми. Его изумила простота обращенія при герцогскомъ дворѣ. Гёте жилъ уже въ Веймарѣ съ 1776 года, и въ 1779 году получилъ чинъ тайнаго совѣтника. Гердеръ переселился въ Веймаръ 1775 году, и имѣлъ званіе придворнаго проповѣдника, генераль-суперъ-интендента, и консисторіальнаго совѣтника. Виландъ, бывший воспитателемъ двухъ саксенъ-веймарскихъ принцевъ, переселился въ Веймаръ съ 1772 года: Шиллеръ Гёте не засталъ тогда въ Веймарѣ; онъ былъ въ Италіи. Гердеръ и Виландъ приняли Шиллера какъ стараго друга. Благоговѣнно смотрѣлъ Шиллеръ на знаменитаго Гердера, но старикъ Виландъ, не смотря на лѣта казался добрымъ ровесникомъ Шиллеру. *Wieland ist jung wenn er liebt*, говорилъ объ немъ Шиллеръ. Дѣятельное участіе принялъ Шиллеръ въ „Нѣмецкомъ Меркуріи,“ и напечаталъ въ немъ: *die Götter Griechenlands*, Художниковъ, отрывки изъ Исторіи осво-

божденія Нидерландовъ, письма о Донъ Карлосѣ и проч. Изъ Оберона Виландова принимался онъ тогда дѣлать оперу. Бесѣды съ Виландомъ увлекли Шиллера въ міръ Греціи. Онъ влюбился въ древнюю Элладу, перевелъ Эврипидову *Ифигенію въ Авлиду*, и часть его Финикіанокъ, хотѣлъ потомъ переводить Эсхилова „Агамемнона.“ Съ особеннымъ удовольствіемъ принято было прошеніе его въ іенскомъ университетѣ. „Мнѣ кажется, что я переселенъ въ Афины,“ писалъ Шиллеръ, живя съ людьми, которыми гордится Германія!“ Испросивъ себѣ годъ времени на приготовленіе къ должности, Шиллеръ поѣхалъ въ Бауербахъ и Рудольштадтъ. Здѣсь неожиданно встрѣтилъ онъ Гёте. Первое свиданіе не было благопріятно. Шиллеръ увидѣлъ господина тайнаго совѣтника Гёте въ большомъ обществѣ, гдѣ онъ явился блестящимъ, придворнымъ челоѡкомъ, и испугалъ бѣднаго, робкаго Шиллера своею свѣтскою любезностью, своимъ живымъ разговоромъ, своими разсказами объ Италіи, откуда Гёте тогда возвращался. „Вообще идея о величіи Гёте, какую составилъ я себѣ, не измѣнилась отъ личнаго знакомства моего съ нимъ, писалъ Шиллеръ, но сомнѣваюсь, чтобы когда-нибудь могли мы съ нимъ сблизиться. Многое что еще занимаетъ меня, чего я желаю, что я надѣюсь, уже кончилось для Гёте. Онъ не такъ созданъ какъ я. Его свѣтъ не мой свѣтъ, и нашъ образъ воззрѣнія кажется существенно различенъ. Тутъ ничего не можетъ быть ни вѣрнаго, ни основательнаго. Впрочемъ, время покажетъ чего ожидать далѣе.“

Весною 1789 года Шиллеръ занялъ свое профессорское мѣсто. Въ февралѣ 1790 года женился онъ на своей Шарлоттѣ.

Самое счастливое было это время въ жизни Шиллера. Ему совершилось тогда тридцать лѣтъ. Десять лѣтъ прожилъ онъ въ Іенѣ, и здѣсь любовь супруги, рожденіе двухъ сыновей и двухъ дочерей, спокойное занятіе, обезпеченное еостояніе, такъ, что онъ могъ купить себѣ домикъ и садъ въ окрестностяхъ Іены, все могло успокоить тревожную душу поэта. Кромѣ поѣздки въ Штутгартъ для свиданія съ отцемъ (который скончался въ 1796 году), и частыхъ поѣздокъ въ Веймаръ, Шиллеръ не оставлялъ Іены, гдѣ окружало его избранное общество друзей, и обожали его многочисленные ученики. Палусъ Шютцъ, Гуфеландъ, Рейнгольдъ, братья Гумбольдты были всегдашними собесѣдниками Шиллера. Его умъ, знаніе, характеръ, дѣлали дружескія связи съ нимъ столь крѣпкими, что, разставаясь съ нимъ, друзья продолжали бесѣдовать съ нимъ письменно и потому переписка Шиллера составляетъ драгоцѣнную психологическую и литературную лѣтопись жизни многихъ замѣчательныхъ людей Германіи его времени. Съ сердечною признательностью поддерживалъ Шиллеръ сношенія свои съ тогдашнимъ княземъ — примасомъ гротъ-герцогомъ франкфуртскимъ, и съ благодарностью видѣлъ знакъ особеннаго уваженія, какой оказали ему наслѣдный принцъ гольштейнъ-августенбургскій, и датскій министръ графъ Шиммельманъ, опредѣленіемъ пенсіи, по 1000 талеровъ въ годъ и присылкою ея впередъ за три года. Вотъ что говорилъ Шиллеръ о

своей тогдашней жизни: Jetzt erst genieße ich die schöne Natur ganz, und lebe in ihr. Es kleidet sich wieder um mich herum in dichterische Gestalten, und oft regt sich's wieder in meiner Brust. Was für ein schönes Leben führe ich jetzt! Ich sehe mit fröhlichem Geiste um mich her, und mein Herz findet eine immerwährende sanfte Befriedigung ausersich, mein Geist eine so schöne Nahrung und Erholung. Mein Dasein ist in eine harmonische Gleichheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gehen mir diese Tage dahin. Meinem künftigen Schicksale sehe ich mit heiterem Muth entgegen; jetzt, da ich um erreichten Ziele stehe, erstaune ich selbst, wie Alles doch über meine Erwartungen gegangen ist. Das Schicksal hat die Schwierigkeiten für mich besiegt, es hat mich zum Ziele gleichsam getragen. Von der Zukunft hoffe ich alles. Wenige Jahre und *ich werde im vollen Genüsse meines Geistes leben*, ja, ich hoffe, *ich werd' wieder zu meiner Jugend zurückkehren*, ein inner Dichterleben giebt mir sie zurück!

Увы! не суждено было сбыться мечтамъ поэта! Ни дружба, ни любовь, ни счастье семейной жизни не спасли его, не возвратили ему его поэтической юности.

Уже съ 1791 года, онъ началъ чувствовать ослабленіе здоровья, часто бывалъ боленъ, и особливо страдалъ грудною болѣзнью. Несмотря на то онъ трудился непрерывно. Кромѣ лекцій тщательно приготовляемыхъ, Шиллеръ участвовалъ во многихъ предпріятіяхъ литературныхъ; писалъ рецензіи въ ленискія Литературныя

Вѣдомости; занимался изданіемъ „Записокъ“, которыхъ напечаталъ двѣнадцать томовъ, съ 1790 до 1801 года, Паулусъ и Вольтманъ, и Нѣмецкаго Плутарха. Журналъ, начатой имъ подъ именемъ „Рейнской Талии“, потомъ продолжаемый подъ именемъ просто Талии, прекратился въ 1791 году. Два слѣдующія года выдавалъ онъ Новую Талию, а въ 1795 году предложилъ Гёте, Гумбольдту, и всѣмъ современнымъ знаменитостямъ, издавать журналъ „лучшій, какой только можно составить“. Подъ именемъ : Часы (Uhren) журналъ этотъ выходилъ до 1797 года. Въ 1797 году Шиллеръ началъ Альманахъ Музъ. Первая часть Духовидца выдана была въ 1789 году; его перепечатывали нѣсколько разъ, но напрасно публика требовала продолженіе романа, и книгопродавцы давали дорогую цѣну за его рукопись:—Шиллеръ не могъ ни продолжать ни кончить его. Такъ не оканчивалъ онъ своей „Исторіи освобожденія Нидерландовъ“, начало которой издано было въ 1788 году. Ревностно взялся онъ за предположеніе написать Исторію Тридцатилѣтней Войны, но написалъ также только начало, помѣщенной въ „Историческомъ Альманахѣ“ 1791 года. Тщетно просили у него продолженія послѣ необыкновеннаго успѣха начала.

Все это не показываетъ-ли, что перемѣна жизни и общественныхъ отношеній не укротила тревожнаго бурнаго духа Шиллерова? Да, онъ не укротился, былъ и остался прежній, тревожный, восторженный, недовольный собою, обвиняющій себя.

Трудъ не убиваетъ, какъ ни былъ бы онъ великъ,

если онъ уравновѣшенъ съ силами и если духъ чловѣка самодоволенъ. У Шиллера не было ни того ни другаго условія.

Онъ убивалъ себя чрезмѣрностью труда, несоразмѣрностью его съ тѣлесными силами и еще болѣе безпорядкомъ своихъ занятій. День Шиллера посвященъ былъ обществу друзей, прогулкѣ, семейству, чтенію, отдыху, съ наступленіемъ ночи онъ садился за работу, просиживалъ до утра, для подкрѣпленія бодрости силъ пилъ шоколадъ, кофе, шампанское. Голова его горѣла, мысли кипѣли, и слабое тѣло сгорало въ огнѣ духа. Сосѣди видали иногда, какъ онъ одинъ, среди ночной тишины, ходилъ, бѣгалъ по комнатѣ, читалъ, декламировалъ, говорилъ и разсуждалъ самъ съ собою, принимался писать, и бросая перо, сидѣлъ въ глубокой задумчивости.

Когда имя его знала вся Европа, когда въ Россіи и во Франціи восхищались его твореніями, даже въ плохихъ переводахъ, когда каждую строчку Шиллера повторяла вся Германія, онъ отчаявался иногда въ своемъ призваніи, утопалъ въ изслѣдованіяхъ, размышленіяхъ, не рѣшалъ ничего, начиналъ и не окончивая—стремился къ несбыточнымъ идеаламъ....

Все раздражало его геній. Такъ событія съ 1789 года во Франціи, ужасы революціи, война начавшаяся на благословенныхъ берегахъ Рейна, неудачи союзныхъ государей, гибель, грозившая основаніямъ вѣры и закона, ужасали и воспаляли Шиллера. Онъ жилъ жизнью чловѣчества и страдалъ его страданіями. Съ негодованіемъ услышалъ онъ, что имя его причислили

къ числу кровожадныхъ демагоговъ; съ восторгомъ играли его „Разбойниковъ“ въ Парижѣ въ кровавый 1793 годъ; и народное собраніе опредѣлило послать ему дипломъ на званіе гражданина французской республики. Когда гибель угрожала Людовику Шестнадцатому, Шиллеръ хотѣлъ писать въ защиту его, перевести свое сочиненіе на французскій языкъ, и распространить его во Франціи. „Не образумить-ли свободная, обдуманная рѣчь моя эти безумныя головы? Какаго усовершенствованія требовать человѣку, если избранные будутъ молчать? Бываютъ времена, когда должно говорить и теперь настало это время.“

Но мечтая примирять царей и народы, поэтъ не могъ примириться съ самимъ собою.

Несмотря на рѣшеніе заниматься исторіею, на то, что занятіе ею, составляло даже обязанность его, онъ опять колебался между выборомъ главныхъ своихъ трудовъ, а историческое поприще такъ далеко раздвигалось передъ нимъ, что сдѣлалось наконецъ необъемлемымъ. „У насъ, новѣйшихъ, исторія вышла изъ предѣловъ, какіе назначили ей древніе, ограничиваясь только сочувствіемъ роднаго, говорилъ Шиллеръ. Такъ бываетъ только въ дѣтствѣ народовъ, въ юности обществъ. Совсѣмъ другое представляютъ намъ дѣянія человѣчества. Какой бѣдный, мелкій идеалъ—писать для того или другаго народа. Духъ философа переступаетъ тѣсныя границы. Онъ не останавливается на одномъ какомъ-нибудь вопросѣ: (а что другое самыя великіе народы?) Онъ смотритъ на нихъ, какъ на части цѣлаго, всеобщаго.“

Опять недостижимый идеалъ! Здѣсь видимъ сильное впечатлѣніе, какое произвело на Шиллера знакомство съ Кантовою философіею. Другъ его Рейнгольдъ, изъяснитель Канта, ввелъ его въ эту, дотолѣ неизвѣстную ему, очарованную страну, область мысленія. Критика Канта разрушила всё, что прежде казалось Шиллеру такъ твердо, такъ незыблемо. Увлеченный силою логики кенигсбергскаго мыслителя, Шиллеръ думалъ, что люди, не понимающіе Канта, затрудняются только тяжелымъ изложеніемъ его. Онъ хотѣлъ изложить Канта по-своему, испытывалъ силы въ философическихъ разсужденіяхъ, и наконецъ рѣшился писать новую Теодицею.

Все это время драма была забыта, хотя отъ поэзій Шиллеръ не отказывался. Онъ писалъ лирическія произведенія. Чтеніе Гомера сдѣлалось въ одно время его любимымъ чтеніемъ. „Почти ничего не читаю я кромѣ Гомера“ писалъ онъ. „Чтеніе древнихъ-истинное наслажденіе. Zugleich bedarf ich ihrer im höchsten Grade, um meinen eigenen Geschmack zu reinigen, der sich durch Spitzfindigkeit, Künstlichkeit und Witzelei sehr von den wahren Simplicität zu entfernen anfang.“ Слѣдствіемъ такого взгляда былъ переводъ изъ Энеиды двухъ отрывковъ, октавами. Нѣмецкій гекзаметръ казался Шиллеру не выражающимъ простоты и прелести гексаметра древнихъ. Онъ думалъ тогда объ эпепѣ, увѣренный, что новѣйшая эпопея можетъ существовать; предметомъ поэмы избиралъ онъ Фридриха Великаго, и хотѣлъ писать октавами. „Надобно, чтобы поэму пѣли какъ греки пѣли Илліаду, какъ гондолье-

ры венеціанскіе поюць освобожденный Іерусалимъ.“
 — „Недавно перечиталъ я снова Нейставаго Орланда, и не могу выразить довольно какъ уладило меня чтеніе его. Тутъ жизнь и движеніе, краски и чувство; — забывая себя, живешь полною жизнью и опять уладительно возвращаешься въ себя, плаваешь въ нѣдрахъ безконечной стихіи, сбрасываешь съ себя свое я и болѣе сочувствуешь потомъ самому себѣ....“

Но ссоры поэтовъ, съ своимъ главнымъ назначеніемъ, всегда ссоры любовниковъ, начинаемая только для того, чтобы любить потомъ еще болѣе прежняго. Мирятся, когда думаютъ ненавидѣть другъ друга. Съ жаромъ принявшись за исторію Тридцатилѣтней Войны, Шиллеръ плѣнился характеромъ Густава Адольфа. Воображеніе Шиллера облекло тѣмъ шведскаго героя въ живые образы, и мысль о трагедіи вспыхнула въ душѣ его. Вскорѣ первая идея измѣнилась, и Валленштейнъ такъ очаровалъ поэта, что въ 1792 году началъ онъ драму изъ его жизни и весь отдался ей. Но никогда прежде не казалось ему созданіе драмы столь труднымъ. Семь лѣтъ употребилъ Шиллеръ на сочиненіе *трилогіи*, какъ назвалъ онъ прологъ (*Латеръ Валленштейна*) и двѣ части своего драматическаго стихотворенія (*Dramatisches Gedicht*), Пикколомини и Смерть Валленштейна. Что затрудняло поэта?

Съ пылкостью юноши увлеченный предметомъ драмы, онъ не былъ удовлетворенъ тѣмъ, что создавалъ. Думая, что теоретическое изслѣдованіе поведетъ его къ цѣли, бросилъ онъ свое начало, и принялся за Аристотеля, за исторію, за теорію эстетики, за древнихъ

и новыхъ. Все казалось ему здѣсь такъ просто, такъ понятно, и ничто не мирилось съ исполненіемъ на дѣлѣ. Оставляя теоріи, онъ опять видѣлъ простоту созданія и страшился теоретическаго возрѣнія. „Въ Донъ - Карлосѣ я хотѣлъ замѣнить идеаломъ прекрасную простую истину, а въ Валленштейнѣ хочу испытать простую истину безъ идеаловъ. Хочу, чтобы мои созданія, моя драма были просто живыя. Формы дасть имъ предметъ — душу вдохну я.“ — „Въ дѣлѣ искусства я чувствую мои силы, но теорія всегда мучить меня правилами. Тутъ я только плохой ученикъ, и тогда только, когда дѣло приводитъ меня къ философіи, охотно перехожу въ теорію.“ — „Этотъ Валленштейнъ заставляетъ меня бояться и трепетать. Какъ поэтъ ничего не могу создавать, а едва начинаю философствовать, проходитъ поэтический восторгъ. Что мнѣ дѣлать? Созданное мною прежде не ободряетъ меня. Иду по дорогѣ совершенно для меня новой и неизвѣстной. Какъ поэтъ, я сдѣлался въ послѣднее время совершенно другимъ человѣкомъ.“ — „Критика причинила мнѣ много зла. Она лишила меня смѣлости, живаго огня, которые прежде у меня были и замѣняли мнѣ всѣ правила.“ Но сознаніе силы генія высказывается въ дальнѣйшей мысли Шиллера. *Ich sehe mich jetzt erschaffen und bilden*, говоритъ онъ, *ich beobachte das Spiel der Begeisterung, und meine Einbildung betrügt sich mit minder Freiheit, seitdem sie sich nicht mehr ohne Zeugen weiss. Bin ich aber erst so weit, das mir Kunstmässigkeit zur Natur wird, wie einem wohlgesitteten Menschen*

die Erziehung, so erhält auch die Phantasie ihre Freiheit wieder zurück und setzt sich keine andere als freiwillige Schranken.

И такой періодъ жизни наступилъ для Шиллера. Въ 1796 году кончилъ онъ Валентштейна. Время сомнѣній миновалось. „Искусство сдѣлалось ему природою. Воображеніе возвратило себѣ прежнюю свободу, и только своею волею опредѣляло границы.“ Это сознаніе отозвалось обиліемъ созданій. Уже не въ неясныхъ планахъ, но въ свѣтлыхъ, полныхъ жизнью образахъ являлись идеи поэта. Онъ узналъ свое прямое назначеніе.

Дорого заплатилъ Шиллеръ за этотъ міръ идей съ формами, идеаловъ съ сущностью. Здоровье его совершенно разстроилось и возбуждало живыя опасенія семейства и друзей. Онъ долженъ былъ отказаться отъ профессорскаго мѣста потому, что не могъ читать и говорить долго и громко. Здѣсь Гёте показалъ, что съ силою генія соединялъ онъ сердце челоуѣка. Всегда онъ любилъ Шиллера, какъ сына, какъ дитя. Многимъ былъ Шиллеръ обязанъ Гёте по своему образованію въ послѣдніе годы. Немного книгъ, столь поучительныхъ для воспитанія поэта и художника найдемъ мы, какъ переписку Гёте съ Шиллеромъ, начавшуюся съ 1794 года, и продолжавшуюся до самой смерти Шиллера (она издана въ Штуттгартѣ, въ 1829 году, подъ названіемъ: Briefwechsel zwischen Schiller und Göthe in den Jahren 1796 bis 1805). Слыша, что стѣсняемый обстоятельствами, Шиллеръ опять рѣшается принять должность профессора въ Тюбинген-

скомъ университетѣ, предлагавшемъ выгодныя условія, Гёте выпросилъ у герцога Веймарскаго значительное жалованье Шиллеру, совершенно обезпечившее его, и звалъ его въ Веймаръ, гдѣ онъ долженъ былъ участвовать только въ устройствѣ театра. Шиллеръ не соглашался, хотѣлъ наконецъ жить въ Веймарѣ только зимою, а лѣто проводить въ своемъ ленскомъ садикѣ. Убѣдительныя просьбы Гёте и герцога Веймарскаго склонили Шиллера, въ 1799 году, на совершенное переселеніе въ Веймаръ. Здѣсь окружили его всѣми попеченіями дружбы и пособіями медицины. Шиллеръ, казалось, воскресъ духомъ и тѣломъ.

Шесть лѣтъ, прожитыхъ Шиллеромъ въ Веймарѣ, были торжествомъ его. Неразлучный собесѣдникъ Гёте, онъ былъ принятъ въ домашній кругъ герцога, въ 1802 году пожаловавшаго ему дворянское достоинство. Старикъ Виландъ, добрый и свѣжій, развлекалъ своею бесѣдою тѣлесныя страданія и душевную грусть, терзавшія иногда Шиллера при мысли о близкой разлукѣ съ жизнью, съ милыми ему людьми, съ тѣмъ, чего онъ не успѣлъ высказать. Трудъ былъ также наслажденіемъ и развлеченіемъ поэта, и нельзя не изумляться обилію созданій его въ то время. Въ 1799 году данъ былъ на театрѣ веймарскомъ Валленштейнъ; въ 1800 году Марія Стюартъ; въ 1801 году Орлеанская Дѣва; въ 1803 году Мессинская Невѣста, а въ 1804 году Вильгельмъ Телль. Они какъ будто не написались, но подобно Минервѣ, вышедшей изъ головы Зевеса, выходили изъ души поэта готовыя.

Каждое изъ этихъ созданій было новымъ вѣнкомъ

Шиллера, но тѣмъ не ограничивались труды его. Переводъ Расиновой Федры, Шекспирова Макбета, Гоццѣва Турандота и двухъ комедій Пикара, дополняли рядъ его собственныхъ созданий. Онъ какъ будто спѣшилъ высказать себя, спѣшилъ испытать всѣ разнообразныя роды драмы, и гений его свободно обнималъ классическую трагедію и драму Шекспира, италіанскій фарсъ и трагедію древнихъ.

Въ 1797 году Шиллеръ началъ свои баллады, и рядъ прекрасныхъ созданий образовали его: *Пиръ побѣдителей*, *Сѣтованіе Цереры*, *Поликратовъ перстень*, *Ивиковы журавли*, *Геро и Леандръ*, *Кассандра*, *Водолазъ*, *Рыцарь Тогенбургъ*, *Битва съ дракономъ*, *Жельзный заводъ*, *Графъ Габсбургскій*, *Перчатка*.

Въ 1804 году, по случаю праздниковъ, которыми ознаменовано было прибытіе въ Веймаръ супруги послѣднѣго принца, великой княгини Маріи Павловны, Шиллеръ написалъ лирическую интермедію: *Благоговѣніе искусствъ*, представленную на веймарскомъ театрѣ двѣнадцатаго ноября.

Нѣсколько плановъ и начатыхъ трагедій найдено было въ бумагахъ Шиллера. Отдавши на театръ „Вильгельма Телля“, онъ неутомимо занимался *Дмитріемъ Самозванцемъ*. Двѣ другія драмы были: *Варбекъ* и *Die Kinder des Hauses*, кромѣ Мальтійскаго рыцаря, начатаго имъ за нѣсколько лѣтъ прежде.

Но уже онъ былъ жилецъ не здѣшняго міра. Несчастная привычка заниматься по ночамъ, отъ которой не могъ онъ отстать, и усиленная душевная дѣятельность, разрушили его. Поѣздка въ Берлинъ, гдѣ самъ

онъ ставилъ на сцену „Вильгельмъ Телль“, усилила болѣзнь. Весна 1805 года была послѣднею для Шиллера. Злокачественная лихорадка быстро вела его ко гробу и превратилась въ горячку. Шиллеръ лишился памяти, бредилъ, говорилъ о своей новой трагедіи, но при послѣднихъ часахъ жизни онъ опаматовался, узналъ всѣхъ окружавшихъ его, былъ тихъ, спокоенъ, говорилъ о жизни за гробомъ, просилъ похоронить его просто. „Какъ ты себя чувствуешь?“ спросили его за нѣсколько минутъ до кончины.—Все „спокойнѣ“, отвѣчалъ онъ, и заснулъ навсегда, утромъ апрѣля двадцать седьмого (старого стиля) 1805 года черезъ два года послѣ Клопштока и Гердера, скончавшихся въ 1803 году. Ему не совершилось еще сорока шести лѣтъ.

Общая печаль сопровождала кончину Шиллера. Оплакивали поэта и человѣка. Театръ веймарскій былъ закрытъ. Ночью на тридцатое апрѣля происходило погребеніе Шиллера. Множество народа шло за его гробомъ. Ночь была бурная; облака закрывали мѣсяцъ; но когда надобно было опускать гробъ въ могилу, мѣсяцъ освѣтилъ его сквозь разорванные облака и снова скрылся въ тучахъ. Такія ночи любилъ Шиллеръ, и нерѣдко выходилъ изъ дому гулять по берегу рѣки—слушать шумъ и гулъ бури. На другой день въ придворной церкви играли Requiem Моцарта. Театръ открылся представленіемъ „Орлеанской Дѣвы.“ Казалось, поэтъ изъ-за гроба говорилъ:

Hinauf — hinauf — die Erde flieht zurück —

Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!

Лицо Шиллера извѣстно по многимъ портретамъ и особливо по бюсту Даннекера — истинный типъ поэта, полное выраженіе жизни и духа его, прекрасное, благородное, съ глазами, исполненными огня, когда взоръ Шиллера оживлялся, но обыкновенно задумчивыми, опущенными къ землѣ. Шиллеръ былъ высокаго роста, но худощавъ, и, ходя, нѣсколько горбился. Неразговорчивый, угрюмый, или лучше сказать, робкій съ людьми мало знакомыми, онъ оживлялся въ кругу близкихъ друзей, въ кругу юношей, съ которыми любилъ говорить и мечтать. . . .

Шарлотта Шиллеръ пережила своего мужа, но мысль соединиться съ нимъ за могилою, была всегда первымъ и единственнымъ ея утѣшеніемъ. Любовь дѣтей усаждала ея жизнь. Она скончалась на рукахъ ихъ, въ Боннѣ, въ іюлѣ 1826 года. Сыновья Шиллера были дѣльными, хорошими чиновниками. Одинъ изъ нихъ, нѣсколько лѣтъ тому, находился, кажется, ассесоромъ или совѣтникомъ, въ Кёльнѣ, но ни онъ, ни братъ его не писали стиховъ.

Въ краткомъ очеркѣ старались мы изобразить *внѣшнюю жизнь* Шиллера — дѣло не трудное, кажется, и въ самомъ дѣлѣ легкое, если выписать изъ какой нибудь біографіи: „тогда-то родился, тогда-то былъ тамъ, тогда ѣздилъ туда, тогда напечаталъ то,“ — и вѣчное окончаніе всѣхъ біографій — умеръ тамъ-то и тогда-то! И что такое жизнь Шиллера? Почти описывать нечего, если не исчислять его сочиненій: сынъ лекаря бѣжалъ изъ отцовскаго дому, переѣзжалъ нѣсколько времени изъ города въ городъ, женился, былъ профессоромъ

въ Іенѣ, умеръ въ Веймарѣ — писалъ стихи и прозу. Но уже и внѣшняя жизнь трудна, если хотимъ въ ней узнать выраженіе *жизни внутренней*, замѣтить выпуклости, такъ сказать, которыми проявляется внутренняя жизнь *человѣка* и *какого* притомъ *человѣка*? поэта и мыслителя, у котораго вся задача въ жизни невидимой, о которой можно только догадываться по замѣткамъ о внѣшней жизни его. Эту-то „внутреннюю жизнь“ постараемся мы разгадать по выпуклостямъ жизни внѣшней, дополнивъ разсмотрѣніе наше созданіями, гдѣ у немногихъ высказывалась она такъ сильно, какъ у Шиллера. *Sa conscience est sa muse, ses écrits—lui*, говорила объ немъ госпожа Сталь, и совершенно справедливо. Тогда можно будетъ сообразить мнѣнія о Шиллерѣ и опредѣлить мѣсто его въ исторіи поэзіи и человѣчества. Любопытное отношеніе Шиллера къ намъ открывается въ томъ вліяніи, какое имѣлъ онъ непосредственно на русскую словесность. Наконецъ, можно и должно коснуться рѣшенія особеннаго вопроса, еще болѣе важнаго для современной литературы. Все это будетъ содержаніемъ нашей второй статьи. Скажутъ, что мы беремся за предметъ, о которомъ было говорено и писано много. Правда, да не у насъ, а если и у насъ говорили много, такъ сказали мало. Мнѣніе иностранцевъ намъ не указъ. Намъ пора дорожить самобытностью нашихъ собственныхъ воззрѣній. Нельзя не пожалѣть, что самобытности намъ и не достаетъ. Германская современная критика хочетъ разрушить величіе Шиллера, какъ старается она разбить исподинскій истуканъ Гёте. О

причинахъ такого жалкаго направленія мы поговоримъ далѣе, а теперь замѣтимъ, что многіе хотятъ дать подобное направленіе и нашему мнѣнію о Шиллерѣ. „Жалко и даже не смѣшно!“ какъ сказалъ кто-то. Дѣтское состояніе мысли! Какъ прежде безотчетно, и не зная предмета, мы восхищались, такъ не зная предмета по-прежнему, мы хотимъ теперь порицать. Въ человѣкѣ, если его не облагородила, не вывела изъ звѣриной природы его философія, есть какое-то животное наслажденіе разрушать, безъ соревнованія завидовать великому, безъ злости повторять клевету на умъ и сердце. Самъ Шиллеръ сказалъ:

Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen,
Und das Erhabene in den Staub zu ziehn. . . .

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

(Тамъ-же, № 3).

Барантъ, столь извѣстный своею „Исторіею герцоговъ Бургундскихъ“, безспорно одинъ изъ первоклассныхъ талантовъ современной Франціи, подарившій соотечественниковъ превосходнымъ переводомъ драматическихъ сочиненій Шиллера, говоритъ въ жизнеописаніи его, приложеннымъ къ переводу: „Не хочу, приводя произведенія Шиллера къ извѣстнымъ правиламъ, и сравнивая ихъ съ привычными намъ формами, разбирать хороши ли они, или дурны. Такой разборъ дѣло излишнее и бесплодное. Напротивъ, весьма важно изыскать отношенія, какія имѣли творенія Шиллера къ характеру, положенію, мнѣнію его, и къ тому что его окружало. Критическій взглядъ съ такой точки зрѣнія не имѣютъ характера столь легкаго, и столь рѣшительнаго, какой представляетъ намъ критика осуждающая или разрѣшающая, по большому или меньшему сходству предмета съ данными формами, но оно бо-

лѣе приближается къ изученію человѣка, къ наблюденію хода ума человѣческаго, наблюденію самому любопытному и самому полезному.“

Мысль новой критики высказана здѣсь, но не вполне. Именно только вторая критика намъ возможна, и достижима въ настоящемъ состояніи нашего вѣдѣнія, какъ убѣдилъ насъ опытъ. Въ чемъ различается прежняя критика отъ нынѣшней—назовемъ первую *классическою*, другую *романтическою*, не привязываясь къ строгому значенію названій?

Принявъ за высшій идеалъ произведенія Грековъ и Римлянъ, классики предписали опредѣленные правила искусству, вывели отсюда законы каждаго произведенія его, и критика ихъ составила повѣрку всякаго новаго произведенія съ догматизмомъ условныхъ правилъ. Вкусъ сдѣлался судьей вдохновенія поэтическаго и думы творческой.

Невѣрность такого уложенія оказывалась по немногу, и кончилась совершеннымъ разрушеніемъ законовъ классицизма.

Точно-ли произведенія древнихъ составляютъ высшій идеалъ совершенства? Точно-ли понимаете вы ихъ вполне? Неужели искусство должно остановиться, и быть неизмѣняемо и вѣчно одинаково, когда все другое измѣнилось—религія, общественность, философія, нравы, обычаи, одежды, все рѣшительно? И почему маленькій уголокъ Греціи долженъ быть мѣркою прошедшей, настоящей и будущей дѣятельности человѣчества въ изящномъ? Греки не представляютъ намъ идеала ни религіи, ни общественности, почему

же въ изящномъ они нашъ вѣчный идеаль? Не должно ли искусство быть проявленіемъ всей жизни того или другаго общества, если не сводить его на пустую потѣху лѣнливой праздности? И неужели надобно осудить на ошибку и заблужденіе весь міръ, кромѣ Греціи, потому что произведенія искусства равно являлись всюду, хотя міръ древнихъ былъ во-все неизвѣстенъ многимъ предшественникамъ и наслѣдникамъ древняго міра?

Вопросы эти такъ естественны, и отвѣты на нихъ такъ отрицательно рѣшаются противъ классиковъ, что нельзя не удивляться, какъ могли защищаться классики, и какой жестокой и долговременной битвы стоила побѣда надъ ними.

Дѣло наконецъ рѣшилось. Доказано, что классики далеко не вполнѣ знали міръ древнихъ, и произвольно вывели правила, какъ изъ твореній древнихъ, такъ и изъ природы, которую хотѣли они передѣлать по-своему; что, составляя идеаль изящнаго въ древнемъ мірѣ, древніе не могли быть идеаломъ совершенно измѣненнаго новаго міра. Мы узнали съ другой стороны созданія романтизма, какъ назвали мы все принадлежащее къ міру классическому. Увидѣли недостатки созданія, произведенныхъ по законамъ классическимъ, и убѣдились, что недостатки ихъ происходили не отъ скудности силы творцовъ, но отъ ограниченныхъ и ложныхъ правилъ классической теоріи.

Что было слѣдствіемъ? Другая крайность. Теоріи нѣтъ и быть не можетъ, сказали преобразователи.

Каждый творить, какъ ему угодно, презирая всѣ минимы условія искусства.

Опять надобно было время опровергнуть новую ошибку, новое заблужденіе. Надобно было убѣдиться, что теорія и практика, идеаль и олицетвореніе его въ вещественной формѣ, неразрывно связана въ человѣкѣ, и что частныя проблески изящнаго суть даказательства высшаго, общаго, недостигаемаго человѣкомъ идеала. Вы отвергаете всѣ правила, всѣ системы, но уже самое *отверженіе* не дѣлается ли вашимъ правиломъ, вашею системою?

И такъ догматизмъ искусства долженъ существовать. Но гдѣ и какой онъ? На какихъ созданіяхъ утвердить его? Гдѣ повѣрка его? Рѣшеній вкуса недостаточно, но неужели строгій умъ долженъ быть судьей изящныхъ созданій, и на чемъ же опереться ему? Гдѣ его повѣрка?

Прежде нежели все это будетъ опредѣлено и рѣшено, человѣку надобно совершить громадный трудъ, и онъ началъ его, но только-что началъ.

Прежде всего должно было ему поставить себя внѣ міра классическаго и романтическаго, отвергнуть всѣ личныя, своекорыстныя отношенія современности, и всѣ заученныя пренія. Съ такимъ отвлеченіемъ долженъ человѣкъ ознакомиться со всѣми созданіями искусства человѣческаго. Въ то же время рядъ обширныхъ изученій должно составить теоретическое познаніе законовъ творчества во всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ, повѣряемое великою наукою познанія человѣка, отвлеченнаго отъ его частнаго бытія при изу-

ченіи частныхъ условій бытія его и дѣятельности. Тогда лѣтопись жизни человѣческой и художественныхъ созданій его представитъ намъ его для нашей теоріи.

Мы убѣдимся, что есть истины вѣчныя и неизмѣняемыя, есть законы, которыхъ никогда не перейти человѣку, еслибы онъ и хотѣлъ переступить черезъ нихъ, уничтожить ихъ. Можете разбить ту, или другую форму—идея не гибнетъ. Но съ тѣмъ вмѣстѣ эта идея живетъ только непрерывнымъ измѣненіемъ формы, и такое измѣненіе составляетъ жизнь ея, сообразно независящимъ отъ нея условіямъ мѣста и времени, гдѣ она является, при непрерывномъ стремленіи къ недосягаемому идеалу. Тамъ, гдѣ она, ограниченная во времени и пространствѣ, восполняетъ требованія, ей современныя, удовлетворяетъ современному самодовольству человѣка, тамъ она прекрасна, изящна, полна. Она сама себѣ составляетъ условія, предписываетъ законъ творчеству, является въ гениальныхъ творцахъ, вѣнцѣ современнаго каждому изъ нихъ образованія, хотя несовершенство образованія всегда отражается на каждомъ гениі, которые суть посылки для рѣшенія задачи о жизни цѣлаго человѣчества.

Взглядъ съ этой точки примиряетъ насъ со всѣмъ, что производятъ тотъ или другой вѣкъ, та или другая страна, тотъ или другой гениі. Какъ среди сѣговъ Сибири вы удивляетесь исполинской соснѣ, на знойныхъ берегахъ Индіи величественной пальмѣ, и на пескахъ Африки громадной адансоніи, такъ благоговѣнно преклоняетесь вы передъ поэмою Гомера, Данте, Гёте, передъ драмою Эсхила, Корнелия, Шек-

епира, и съ равнымъ наслажденіемъ остановитесь передъ пѣснею барда минестреля, балладою Германіи, романсомъ Испаніи и народною пѣснью каждой страны. Здѣсь, обратно, вамъ будутъ понятны ошибки въ твореніяхъ искусства, объясняемы условіями бытія его, недостаткомъ силъ творчества, законами его жизни и мѣста, или времени и пространства, здѣсь наконецъ объясняются законы критики и для современныхъ вамъ созданій искусства, составляется теорія искусства современнаго, какъ посылка для будущаго, и опредѣляются достоинства и заслуги писателя, или его творенія. Сужденіе ваше будетъ несовершенно, потому что вы также не можете выйти изъ условій вашего вѣка, но оно будетъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ полнѣе живете вы жизнью вашего вѣка, какъ продолженія того, что прежде пережило и передумало человѣчество. Вы не можете предписывать закона творчеству, но укажете ему ошибку его, сообразно тому состоянію совершенства, которое показали вамъ практическое изученіе великихъ созданій, и данныя извлеченныя изъ нихъ для теоріи.

Слѣдовательно критика, которую назвали мы *романтической* въ противоположность классической, состоитъ не въ догматической повѣркѣ творимаго съ условными, неизмѣняемыми правилами, но въ изученіи того, въ какой степени то или другое твореніе удовлетворяетъ современнымъ ему требованіямъ идеала, въ изысканіи причинъ, почему оно не удовлетворяетъ, въ указаніи, чѣмъ могло бы оно удовлетворить.

Но такимъ образомъ, возразятъ намъ, вы опять со-

ставляете условія искусству, а каждое условіе не есть ли догматическое требованіе?—Нѣтъ, отвѣчаемъ мы, не условія, а тѣмъ менѣе неизмѣнные правила предписываемъ мы, но высказываемъ требованія наши, и если мы указываемъ на то, чѣмъ можно было удовлетворить насъ, съ тѣмъ вмѣстѣ мы готовы принять всё, чѣмъ твореніе искусства превзойдетъ наши требованія, принять, какъ дополненіе къ кодексу условій искусства. Разница между классиками и нами та, что они указывали предѣлы искусству—мы требуемъ указанія ихъ отъ него. Они хотѣли изъ правилъ извлечь созданіе, мы отъ созданія требуемъ правилъ. Но въ такомъ случаѣ искусство отдается совершенному своеволю—скажутъ намъ. Да, своеволю генія, которое онъ обязанъ выкупать полнымъ удовлетвореніемъ нашихъ условій—условій, повторяемъ, не правилъ.

Теорія ваша признаетъ свое безсиліе, скажутъ намъ. Мы и не думаемъ гордиться силою ея, зная по умозрѣнію, что вся наша наука есть только стремленіе узнать истину, и по опыту, что всѣ мечты о нѣмомъ достиженіи истины вполнѣ, чѣмъ гордились тотъ или другой вѣкъ, тотъ или другой мыслитель всегда оказывались мечтами. Мы откровенно сознаемся даже въ томъ, что заблужденіе и истина всегда идутъ рядомъ, и всѣ мы вносимъ въ сокровищницу вѣдѣнія человечества свой участокъ того и другаго; оно отдѣляетъ лигатуру, принимаетъ къ расчету чистый металлъ, и чеканитъ изъ него монету для общаго обращенія. Когда наполнится сокровищница человѣческаго знанія въ такой степени, что человѣкъ въ состояніи будетъ

купить на него полное познаніе истины — мы не знаемъ.

Но какую богатую добычу человѣку доставляетъ направленіе критики, объясняемой нами! Искусство свободно; гению нѣтъ закона, но всякое искаженіе изящнаго предупреждается; ошибка и неполнота творчества указаны, и указаны не произволомъ, но отчетомъ въ условія его творчества. Здѣсь опредѣляются подвиги и заслуга cadaго дѣателя, потому что если они оцѣняются мѣрою совершенства, тѣмъ не менѣе онъ отвѣчаетъ только за то, что долженъ былъ произвести. Каждое твореніе, каждый творецъ дѣлается предметомъ отдѣльнаго изученія, этюдомъ критики. И сколько истинъ открывается намъ, какъ раздвигается нашъ обзоръ, соединяя нравственную фізіологію человѣка, психологическую исторію съ истинами, извлеченными изъ теоріи изящнаго, повѣренной опытомъ! Какое дополненіе ко всякому другому изученію является изслѣдованіе міра созданій искусства, вмѣстѣ съ изученіемъ ихъ причинъ и условій. Гамлетъ, Фаустъ, Божественная Комедія, соединенные съ исторіею творцовъ ихъ, вѣка ихъ стоятъ изученія лѣтописи какаго нибудь общественнаго переворота. Въ этихъ великихъ созданіяхъ отражается жизнь общества, имъ современнаго, отражается человѣкъ, а какаѧ наука выше его изученія? Здѣсь невольно повторяете слова одного изъ самыхъ прозаическихъ поэтовъ, но слова глубокаго: „Нескончаемая, важнѣйшая наука для человека есть — человекъ.“

И если хотите возвышаться отъ прозы жизни къ

ея поэзіи, если хотите великихъ уроковъ искусства, да будетъ предметомъ изученія вашего великое и изящное человѣчества, тѣ люди, на челѣ которыхъ отраженъ божественный свѣтъ неба. Довольно земной суеты, довольно грязи на тропинкѣ, которой идетъ каждый изъ насъ. Войдемъ отдохнуть въ храмъ души избраннаго, въ область человѣка, освященнаго гениемъ. Не будемъ входить въ эти храмы, эти области, съ чувствомъ иступленнаго изувѣра, но вступимъ въ нихъ съ любовью сердца и душой ума. Тогда посѣщеніе наше, улаждая душу среди бѣдности нашего бытія, возвыситъ ее, облагородитъ, напомнитъ ей небесную отчизну, укрѣпитъ на борьбу, примиритъ съ несовершенствомъ нашего жребія...

И просимъ извинить отступленіе отъ предмета насъ занимающаго. Оно было необходимо, какъ увидимъ далѣе, потому что мы хотимъ изучить одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій человѣчества въ прошедшемъ вѣкѣ, въ одномъ изъ самыхъ образованныхъ народовъ Европы. Шиллеръ и его творенія суть задачи для теоріи и искусства и исторіи человѣка. Надобно условиться въ образѣ возрѣнія нашего, тѣмъ болѣе, что, можетъ-быть, намъ еще не однажды придется передавать читателямъ нашимъ подобные этюды дѣятелей искусства.

Мы рассказали жизнь Шиллера, какъ гражданина того времени и того общества, когда и гдѣ онъ жилъ. Не предупреждая нашихъ сужденій и нашихъ выводовъ, рассмотримъ жизнь его какъ человѣка и и художника.

Неразрѣшимою тайною Провидѣнія останется намъ навсегда появленіе людей великихъ на всѣхъ поприщахъ дѣятельности человѣческой. Если иногда кажется, что мы понимаемъ необходимость явленія ихъ, сколько случаевъ отрицательныхъ, гдѣ мы готовы сказать, что великій человѣкъ, поэтъ, герой, царь, пришолъ слишкомъ рано, родился слишкомъ поздно. И сколько явленій неконченныхъ, такъ сказать, паденій отъ недостатка силъ, отъ упадка духа, отъ превратнаго стремленія въ жизни! Такъ непостижимо для насъ самое сложеніе нравственныхъ стихій, изъ коихъ создается то или другое великое явленіе, и почему изъ окружающаго его устремляется онъ на то, а не на другое отношеніе. Для чего же теряться въ бесполезныхъ догадкахъ? Намъ остается только наблюдать и описывать что, видимъ.

Такъ непостижимою судьбою опредѣлено было, въ половинѣ прошедшаго вѣка, сыну полковаго лекаря и нѣмецкой булочницы, въ маленькомъ городкѣ виртембергскомъ, виѣстить въ душѣ своей стихіи великаго поэта.

Слабое, но пылкое дитя, онъ видитъ вокругъ себя добраго отца, благочестивую мать, набожнаго пастора, и все желаніе его стремится быть пасторомъ, поучать ближняго добру, которымъ исполнено сердце его, святой вѣрѣ, которою согрѣта душа его. Мать читаетъ съ нимъ псалмы и басни Геллерта — первое впечатлѣніе стиха шевелить въ немъ какое-то созвучіе, какъ будто на слышимые имъ звуки отвѣчаютъ въ душѣ его такіе же звуки. Онъ хочетъ вызвать

эти таинственные звуки изъ души своей, и они высказываются *молитвою*: первые стихи Шиллера были написаны имъ послѣ конфирмаціи, или перваго причащенія. Но вотъ новое впечатлѣніе: Шиллеръ въ театрѣ, и его поражаетъ эта жизнь въ дѣйствіи, гдѣ слово и стихъ являются воплощенными въ видимой дѣйствительности. Вотъ онъ — міръ поэзіи, раскрывшійся передъ взорами ребенка, и вотъ она, жизнь, окружающая его, какъ-будто противоположность міру поэзіи; Шиллеръ въ школѣ, въ академіи, по неволѣ сброшенный съ того пути, которымъ хотѣлъ онъ итти въ мірѣ.

Сколько чувствъ, сомнѣній, страданій, опытовъ должна была испытать душа Шиллера въ борьбѣ съ людьми и съ самимъ собою до двадцати-лѣтняго возраста, когда кончился первый періодъ его жизни, и въ первой драмѣ своей высказалъ онъ тайну души, и бурю, тревожившія его! Тяжесть борьбы не всегда можно оцѣнить огромностью предметовъ боренія. Наполеонъ, сражавшійся съ Европою, и юный умъ поэта въ борьбѣ съ самимъ собою и съ мелкими отношеніями жизни, говоря собственно, оказываютъ одинакій подвигъ, если все бытіе ихъ увлечено въ борьбу. Шиллеръ боролся съ общественными отношеніями, въ какія былъ поставленъ, и съ безсознательностью своего демона, и съ ничтожествомъ того, чѣмъ хотѣла и не могла выразиться душа его.

Какъ-будто вознаграждая высокое назначеніе быть мыслителями Европы, Германія лишена гражданской суевѣрности, лишена живости страстей, тревожащихъ

другія общества. Порядокъ, чинность жизни, холодная нравственность, вѣсто религіозной поэзіи, установленныя отношенія общественныя, науки, приведенныя въ систему, семейная жизнь, какъ средство жить спокойно, общественныя увеселенія по разчету и размѣру, и уровень посредственности надъ всѣмъ и надъ всѣми — такова страна нѣмцевъ, парникъ человечества, страна табачнаго дыму и пива, добрыхъ хозяекъ, красныхъ мечтательницъ-дѣвушекъ, здоровыхъ дѣтей. Въ жизни нѣмцевъ нѣтъ средоточія, куда устремлялись бы умственная и вещественная дѣятельность ихъ, и все опредѣлено, начиная съ проповѣди, которую слушаютъ по воскресеньямъ, до бесѣды въ клубѣ, которою заключаютъ день, съ чиннаго поздравленія при купели младенца до траурнаго платья при гробѣ отца, съ плана, по которому выигрываютъ побѣду, до трубки, которую выкуриваютъ поутру, потому что на ней вырѣзано: *Morgen*.

Не отъ такой-ли сущности общей жизни нѣмцевъ являются исключенія, великіе люди Германіи, Гёте, Гумбольдты, Гердеры, Канты, Шеллинги, путеводительныя звѣзды человечества? Не отъ того-ли бываютъ великія пробужденія нѣмцевъ, когда все загвагвавшее въ обществѣ и душахъ ихъ возмущается бурей, времена реформаціи, время битвъ съ Наполеономъ? Не отъ того-ли, когда минуетъ время такихъ великихъ волненій, все снова плотно улегается въ душахъ и обществѣ, и засыпаетъ эпименидовымъ сномъ? Не отъ того-ли устремленіе въ жизнь духа и созерцанія, самодовольство самыхъ геніальныхъ германцевъ, и

„универсальность“, такъ-сказать, которая поглощаетъ всё, кладетъ всё въ свое знаніе, какъ ростовщикъ кладетъ въ свою кладовую всякіе заклады?

Не бурному духу Шиллера можно было ужиться въ обществѣ нѣмецкомъ, какъ-скоро столкнули его съ пути, который онъ избралъ себѣ. Онъ совлекся условій нѣмца. У него уже не было цѣли въ жизни, не было отечества, котораго лишили его принужденіемъ воли: онъ германецъ и поэтъ, возвѣститель тѣхъ страстей, тѣхъ идей, тѣхъ бурь, которыми полна душа его.

И первой откликъ этой пламенной, встревоженной души, не тихая проповѣдь, которую онъ готовилъ нѣкогда собратіямъ, но вопль негодованія, укоръ обществу, насмѣшка надъ его условіями.

Успѣхъ „Разбойниковъ“ произвелъ новый переворотъ въ душѣ поэта. „Слѣдственно есть люди, которые понимаютъ меня: скорѣе къ нимъ, къ этимъ людямъ, имъ всё сказать, имъ передавать душу мою, жить съ ними!“ И онъ готовъ записаться въ общество комедіантовъ; онъ называетъ себя гражданиномъ вселенной:—онъ не нѣмецъ и не гражданинъ нѣмецкій—онъ человѣкъ и поэтъ!

Семь лѣтъ, слѣдовавшихъ за побѣгомъ Шиллера изъ отцовскаго дома, представляютъ урокъ поучительный. Бездомный странникъ, вольная птичка, Шиллеръ свергъ съ себя всѣ обязанности. Но здѣсь являются новыя требованія души и жизни. Его покоряютъ страсти; онъ самъ подчиняется обязанностямъ, которыя отвергалъ прежде, а недовольство самимъ собою

заступаетъ мѣсто прежней безсознательности требованій его демона.

Требованіе разгадано: онъ поэтъ. Но что же будетъ онъ творить? Его первое созданіе принято съ восторгомъ, но величіе души именно сознается неудовольствомъ успѣха и всѣ могутъ быть довольны созданіемъ, кромѣ его. Умственное зрѣніе человѣка великаго тѣмъ болѣе просвѣтляется, тѣмъ дальновиднѣе становится онъ, чѣмъ идетъ онъ далѣе. Только посредственность засыпаетъ на успѣхѣ. Успѣхъ для человѣка великаго—одръ Гватимозина, на которомъ самого себя допрашиваетъ онъ о сокровищахъ, сокрытыхъ въ душѣ его и ему самому невѣдомыхъ. Тогда страшно состояніе его, если душа не отвѣчаетъ на вопросъ.

Шиллеръ увѣрился, что онъ долженъ быть поэтомъ драматическимъ. Но драма не можетъ быть вдохновеніемъ мимолетнымъ, вспышкою впечатлѣнія, безотчетнымъ порывомъ, чѣмъ бываетъ иногда лирическое созданіе. Драма требуетъ идеи болѣе окрѣплой, души, болѣе перегорѣвшей, познанія людей и свѣта, познанія жизни. Сказать свое чувство отъ самого себя и пересоздать его въ жизнь, возсоздать его въ видимыхъ образахъ, разница огромная. Шиллеръ искалъ предмета драмы въ исторіи, находилъ, и не могъ возсоздать ни одного. „Дайте мнѣ планъ и возьмите у меня всё!“ говорилъ онъ. Онъ обращался къ образцамъ, къ твореніямъ другихъ, но нѣмецкая драма не могла удовлетворить его. Начало нѣмецкаго театра, какъ сценическаго искусства, восходитъ весьма не далеко.

До двадцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія въ Германіи вовсе не было правильнаго театра. Грубые фарсы Гансъ-Сакса и уродливыя трагедіи Грифіуса, были разыгрываемы охотниками и бродячими актерами. Готшедъ, Тредьяковскій Германіи, первый завелъ театръ въ Лейпцигѣ, переводилъ французскія трагедіи и заставлялъ зѣвать за своими уродливыми переводами. Илья Шлегель, Кронегъ и другіе подражали голандцамъ, италіанцамъ, передѣлывая англичанъ по правиламъ трехъ единствъ. Первый возсталъ противъ уродливаго классицизма Лессингъ, человекъ ума необыкновеннаго, критикъ остроумный, но умъ односторонній и не поэтическій, говорившій о Шекспирѣ, но не понимавшій его, способный разрушить, но не создать. Онъ хотѣлъ создать теорію и дать образцы, подражалъ реформаторамъ драмы во Франціи, увѣренный, что мѣщанская комедія и свобода романтизма въ трагедіи суть непремѣнныя условія настоящей драмы. Лессингъ образовалъ великія сценическія дарованія, увлекъ зрителей, породилъ подрожателей и послѣдователей, между коими явились Гёте, которому тѣсно было въ драмѣ. Лейзевицъ и Герстенбергъ съ дикими созданіями безотчетнаго воображенія, Энгель съ комедіями. Среди такого броженія и борьбы мнѣній явился Шиллеръ и три первыя драмы его были подражаніемъ твореніямъ Лессинга, Гёте и ихъ товарищей по формѣ. Но чѣмъ были они по сущности? Уродливыми произведеніями ума юнаго, незнающаго ни людей ни жизни, мечтателя о свободѣ, потому что его записали въ военную школу, и наказывали за невыучку уроковъ,

юноши, стѣсненнаго существованіемъ, и видящаго въ каждомъ счастливцѣ міра злодѣя, въ каждомъ вельможѣ хитраго тирана. Буршевая жизнь нѣмецкаго студента, кипѣніе умовъ, начинавшееся за Рейномъ, манера Шекспира безъ познанія глубины его, приторная сентиментальность любви, начитанная въ Вертерахъ и Зигвартахъ, студенческая философія, со всѣмъ желаніемъ юноши выражаться вычурно и жеманно — вотъ чѣмъ были созданія Шиллера, при высокой любви къ добру и какомъ-то суетвѣріи чести. Довольно для того, чтобы увлечь толпу, но не довольно для самаго поэта, если онъ сознаетъ свое высокое призваніе, хоть темно, хоть безотчетно чувствуя, что не здѣсь тайна созданія твореній великихъ. Гдѣ же она? Шиллеръ самъ безжалостно осудилъ своихъ „Разбойниковъ“, когда они сводили съ ума современную молодежь. „Странное недоразумѣніе жребія заставило меня быть поэтомъ, говорилъ онъ, и восемь лѣтъ, назначеніе мое боролось съ моею жизнью. Страсть поэзіи такъ пламенна и бѣшена, какъ первая любовь. То чѣмъ хотятъ заглушить, только разжигаетъ ее болѣе. Спасаясь отъ моей жизни, я улеталъ въ міръ идеаловъ, когда міръ дѣйствительный оставался для меня невѣдомымъ, и я былъ отдѣленъ отъ него желѣзными затворами. Людей я не зналъ. Женщины были мнѣ неизвѣстны, потому что двери дома, въ которомъ жилъ я, отпирались только для тѣхъ женщинъ, которыя еще начинаютъ, или для тѣхъ, которыя уже перестали увлекать насъ. Не зная ни людей, ни человѣка, моя мысль по-неволѣ должна была перейти, черезъ посредствующую черту между

ангелами и демонами, и я долженъ былъ создать чудовищъ, по счастію не существующихъ въ мірѣ. Желаю имъ здоровья, только для того, чтобы они показывали примѣръ нелѣпости, какая рождается изъ соединенія несообразностей. Мое твореніе явилось передъ людьми, и люди должны были имъ оскорбиться. Извиненіемъ меня могутъ быть только обстоятельства, въ какихъ я находился. Изъ всѣхъ обвиненій, какимъ подверглось мое созданіе, съ однимъ я соглашаюсь, съ тѣмъ, что я началъ изображать людей, не зная ихъ. Мои „Разбойники“ разлучили меня съ моимъ семействомъ и моимъ отечествомъ. Осудятъ-ли меня? Въ томъ возрастѣ, когда голосъ большинства тревожитъ насъ, и управляетъ нашими чувствами и мыслями, когда кровь кипитъ при рукоплесканіяхъ, когда предчувствіе величія, ожидающаго насъ, тревожитъ душу, когда впереди видимъ мы безсмертіе, среди наслажденія первыхъ похвалъ, неожиданныхъ и не заслуженныхъ, которымъ упоили меня со всѣхъ сторонъ Германіи, мнѣ запрещено было писать“....

Мечта юноши! Теперь ему *не запрещаютъ* писать, что же онъ *не пишетъ*? Онъ берется за великія творенія Шекспира и не постигаетъ ихъ! „Когда въ первый разъ читаль я Шекспира, говорилъ Шиллеръ — меня возмутили холодность и безчувствіе, съ которымъ онъ шутитъ въ самыя патетическія минуты, портитъ фарсами самыя раздирающія сцѣны Макбета и Лира, останавливается, когда всѣ чувства мои потрясены, и хладнокровно вырываетъ у меня сердце, едва оно затихло. Я читилъ и изучилъ Шекспира много лѣтъ прежде, нежели со-

гласился съ его гениемъ. Я былъ еще не способенъ тогда схватывать природу съ перваго взгляду.“

И такимъ образомъ началась новая борьба поэта съ самимъ собою. Цѣль жизни угадана, но все что указало на нее, отвергнуто, какъ были отвергнуты всѣ первоначальные очерки, которые поэтъ осудилъ до рожденія ихъ. Странное положеніе: чувствовать силы создавать, и не умѣть создавать! Новая драма Шиллера носится передъ нимъ въ неясныхъ образахъ, а между тѣмъ начинается другая драма — дѣйствительной жизни, новое ученіе — наука людей и страстей. Ты говорилъ, что ошибался, представляя людей, изображая ихъ чудовищами, что они не ангелы и не демоны. Изучи же, узнай ихъ, узнай и то, что влечетъ ихъ въ небо и низвергаетъ въ адъ — узнай страсти людскія!

И когда голова Шиллера исполнилась мечтами объ искусствѣ, его окружаютъ люди, съ нимъ знакомятся ихъ отношенія, ихъ злость и дружба. Онъ хотѣлъ удалиться отъ сильныхъ и великихъ міра, но невольно увлеченъ къ нимъ; онъ мечталъ только о похвалахъ, но теперь слышитъ и осужденія, горькія, несправедливыя, клеветы на свой умъ и сердце. Онъ испытываетъ при несправедливости осужденія и легкомысленность похвалъ, пустоту сужденій, и бѣгаетъ въ бурныя ночи на берега Эльбы укрыться отъ людей и отъ самаго себя....

Да, и отъ самаго себя. Міръ принялъ скитальца въ свои объятія, и потребовалъ отъ него, чтобы онъ узналъ и раздѣлилъ всё, что терзаетъ и мучитъ этотъ

міръ, онъ одѣлъ его въ ядовитую одежду Деаніры, и поэтъ, хотѣвшій отъ всего отторгнуться, воображавшій себя Геркулесомъ непобѣдимымъ, почувствовалъ всѣ мученія тлетворнаго яда, терзающаго другихъ людей.

Много было говорено противъ критики и за критику. Вопросъ не о пользѣ потому, что она неоспорима. Но критика въ отношеніи къ дарованію великому, судя его, указывая ему, вѣрно или не вѣрно, ошибки его, не поселяетъ-ли въ немъ недовѣрчивости къ самому себѣ, не отнимаетъ-ли у него той смѣлости, которая необходима для свободныхъ созданій? Нѣтъ, отвѣчаемъ рѣшительно, потому что огромное, великое дарованіе всегда подписываетъ само себѣ такой строгій приговоръ, какого не подпишетъ никакой, самый угрюмый критикъ. Съ другой стороны поэтъ въ минуту творенія другой человѣкъ, и онъ столько же помнитъ тогда о справкахъ съ критикою, сколько о бумагѣ, на которую бросаетъ свою мысль, или о перѣ, о карандашѣ, которыми пишетъ? Но когда прошли эти святые минуты самозабвенія, расчетъ поэта съ самимъ собою конченъ. Онъ безжалостенъ къ самому себѣ. Извѣстно однакожъ, что ни одинъ изъ тѣхъ, кто презиралъ критикою, кто менѣе всего могъ бояться ея, не могъ однако-жъ безъ какого-то раздраженія братья за листочки рецензій. Тутъ совсѣмъ другое отношеніе. Самое великое дарованіе не того-ли боится, что выскажутъ собственное его мнѣніе объ его созданіи, скажутъ то, чего не смѣетъ онъ сказать самому себѣ? Но критики никогда не достигнутъ до такой степени?

Потому Байронъ, петерпѣливо пробѣгавшій всѣ статьи объ немъ англійскихъ Reviews, черезъ минуту бросалъ ихъ съ усмѣшкою, говоря: „Врутъ и ничего не понимаютъ!“ Въ Шиллерѣ возбуждалось еще особенное чувство — прискорбія, и чѣмъ несправедливѣе была рецензія, тѣмъ болѣе — не оскорбляла, но печалила его: онъ страдалъ не за себя, но за глупость и безсовѣстность людскую....

Переходы отъ труда къ бездѣйствію, отъ надежды къ отчаянію, отъ міра идеаловъ къ міру существенному, истерзали Шиллера. Онъ перепуталъ, перемѣшалъ всѣ свои ученія, мнѣнія, планы, предпріятія — онъ начиналъ наконецъ терять даже свое внутреннее религіозное убѣжденіе. Бѣдствія революціи заставили его съ ужасомъ отвергнуть идеи, какія составлялъ онъ себѣ нѣкогда о благоденствіи людей при новомъ порядкѣ общественномъ. „Германскій поэтъ, говоритъ Барантъ, напитанъ ученіемъ важнымъ и строгимъ, которое переходитъ далеко за время юности его, дѣлается потребностью и привычкою всей остальной жизни, удаленной отъ развлеченій свѣта, преданный всѣмъ размысленіямъ, всѣмъ сомнѣніямъ умственнымъ, всѣмъ тревогамъ сердца, живетъ въ мірѣ доступно только тѣмъ, кто хоть иногда возносился размысленіемъ къ жизни созерцательной. Не поэтическія-ли они, эти внутреннія скорби и радости, спокойствіе и тревога, возбуждаемая въ насъ мыслью о судьбѣ человѣка, будущности, предоставленной ему, свободѣ его, колеблющейся между добромъ и зломъ, времени, мгновенно пролетающему, вѣчности, медленно приближающейся, и объ идеѣ, въ одно время необхо-

димой и недостижимой, идеѣ Бога? Есть что-то трогательное и высокое въ характерѣ поэта, который со всѣми ощущеніями своими соединяетъ такія идеи и такіе образы, сливаетъ ихъ съ своею любовью, находитъ ихъ въ глубинѣ души и въ окружающей его природѣ, не умѣетъ ни любить, ни удивляться безъ обращенія къ неисчерпаему источнику всякаго удивленія и всякой любви. Мы во Франціи не знаемъ такой внутренней жизни, мы не понимаемъ людей, бытіе которыхъ протекаетъ въ тяжелыхъ душевныхъ переходахъ, въ томленіи скептицизма, въ скорби при видѣ ослабляющихся, или вовсе исчезающихъ убѣжденій, и въ безпокойномъ стараніи вновь пріобрѣсти ихъ. Исторія того или другаго нѣмецкаго писателя, жизнь котораго протекла однообразно, который спокойно прожилъ ее въ городкѣ своемъ и въ семьѣ своей, бываетъ иногда скорбною цѣпью, рядомъ бурь и битвъ внутреннихъ въ его нравственныхъ идеяхъ и въ его вѣрованіи. У насъ, послѣ нѣкотораго времени, умы укладываются въ порядокъ мнѣній, котораго держится, или который раздѣляетъ большее или меньшее число людей образованныхъ. Чувствуютъ себя поддержанными въ своемъ убѣжденіи, утѣшенными въ сомнѣніяхъ, или развлеченными въ равнодушіи. Нетакъ бываетъ, когда люди живутъ среди уединеннаго созерцанія. Глубокіе вопросы овладѣваютъ всѣми способностями, потрясаютъ всю душу ихъ и не даютъ покою. „Сколько безсонныхъ ночей провелъ я, сколько слезъ пролилъ!“ говорилъ челоуѣкъ, который далеко не былъ ни столь страстнымъ, ни столь отвлеченнымъ, какъ Шиллеръ. Это говорилъ

Виландъ, рассказывая о томъ времени жизни, когда невѣріе вольнодумцовъ поколебало мистическое на-
правленіе души его“.

Къ довершенію безпорядка, въ душѣ Шиллера при-
соединилась несчастная любовь. Онъ влюбился въ же-
ну друга своего, былъ любимъ взаимно, считалъ себя
преступникомъ предъ дружбою, разрушителемъ священ-
ныхъ обязанностей супружества, нашелъ силы пожертво-
вать любовью долгу, но кровавыми слезами заплатилъ за
жертву. Подъ именемъ Лауры, со всѣмъ мистицизмомъ
суетвѣрной любви воспѣвалъ Шиллеръ свою идеальную
Лауру, смѣшивая риторику школы съ восторгами поэзіи
(Phantasie an Laura, Laura am Klavier, die Ent-
zückung an Laura, Das Geheimniss der Reminescenz,
Melancholie an Laura, der Triumph der Liebe; сюда
можно причислить даже *Семелу*, драматическія сцены,
гдѣ любовь Зевеса губитъ бѣдную любовницу его).
„На крыльяхъ любви, восклицалъ Шиллеръ, будущее
падаетъ въ объятія прошедшаго, и *время* преслѣ-
дуетъ въ быстромъ полетѣ супругу свою—*вѣчность*!
Я слышалъ голосъ оракула, говорившаго, что нѣкогда
оно догонитъ ее, и когда время соединится съ вѣчно-
стью, и загорѣвшійся міръ будетъ ихъ брачнымъ свѣ-
тильникомъ, тогда, Лаура, прекраснѣе заалѣетъ заря
для любви нашей, и продолжится во всю брачную
ночь ихъ..... Лаура, Лаура! радуйся!“ Но самое замѣ-
чательное стихотвореніе, въ которомъ осталась память
несчастной любви его, было Resignation, предметъ вос-
торга его современниковъ, одно изъ любимыхъ въ
Германіи лирическихъ произведеній, которое тамъ всѣ

знають наизусть. Оно такъ оригинально, такъ хорошо высказываетъ состояніе Шаллера, что передаемъ содержаніе его въ прозаическомъ переводѣ:

„И я также въ Аркадіи родился, и надъ моею колыбелью также природа общала радости! И я также въ Аркадіи родился, но мимолетная весна отдала мнѣ только слезы.

„Однажды цвѣтеть, и не возвращается май жизни; онъ для меня отцвѣлъ. Богъ молчанія—плачьте, братья—Богъ молчанія обращаетъ къ землѣ факель свой—и огонь его погасъ.

„Здѣсь стою я на мрачномъ прагѣ твоемъ, обильная страхомъ Вѣчность! Возьми росписку свою на счастье—я приношу ее нераспечатанную: я не зналъ счастья.

„Передъ тронъ твой несу мои сѣтованія, безвѣстная богиня! На землѣ есть утѣшительное преданіе, будто ты царствуешь здѣсь съ вѣсами правосудія, и награждаешь по достоинству.

„Здѣсь, говорятъ, страхъ ожидаетъ зло, и радости суждены добрымъ. Ты раскроешь покрывало сердца, изъяснишь мнѣ загадку судьбы, и зачтешь мнѣ мои страданья.

„Здѣсь найдутъ убѣжище изгнанныки, здѣсь кончится терновый путь терпѣнія. Дочь боговъ, которую мнѣ называли Истиною, которой большее число убѣгаетъ, которую знаютъ немногіе, связала жизнь мою тяжкими узами. .

„Я заплачу тебѣ въ другой жизни—отдай мнѣ твою юность. Ничего не могу я дать тебѣ, кромѣ такого

обѣщанія. “ Я взялъ у нея обѣщаніе на другую жизнь, и отдалъ ей юношескія радости.

„Отдай мнѣ женщину, столь дорогую твоему сердцу, отдай мнѣ твою Лауру. Скорбь твою награжу я за гробомъ. “ Я вырвалъ ее изъ разстерзаннаго, окровавленнаго сердца, рыдалъ и отдалъ ее.

„Требууй уплаты по роспискѣ у смерти! “ насмѣшливо говорилъ мнѣ свѣтъ. „Ложь, подкупленная самовластіемъ, выдала тебѣ привидѣніе за истину, и ты ничто, едва привидѣніе исчезнетъ.

„Ядовитая насмѣшка преслѣдовала меня. Передъ предразсудкомъ, освященнымъ годами, трепещешь ты? Что такое твои боги, если не хитрая и произвольная развязка міра, которую умъ человѣческій придумалъ для человѣка?

„Что называешь ты будущимъ, которое закрыто гробомъ, вѣчностью, о которой столько говорятъ? Почтенная, потому что закрыта, исполинская тѣнь нашего страха, отразившаяся въ зеркалѣ нашей тревожной совѣсти!

„Ложное изображеніе жизни, мумія времени, сохраненная бальзамировкой надежды въ могильномъ холдѣ.

„А надежда — разрушеніе обличаетъ ложь. И ты отдаешь за нее вѣрные блага? Шесть тысячъ лѣтъ молчить смерть, и пришелъ ли кто изъ могилы увѣрить въ воздаяніи?

„Я видѣлъ время улетающимъ на берега твои. Цвѣтущая природа осталась послѣ него обезображеннымъ трупомъ, ни одинъ мертвецъ не приходилъ ко

мнѣ изъ могилы, но — твердо вѣрилъ я священному обѣщанію.

„Всѣми радостями пожертвовалъ я, и теперь повергаюсь передъ твоимъ правосуднымъ престоломъ. Я презрѣлъ насмѣшки толпы, и только твои блага считалъ сокровищами. Ты, обѣщавшая воздаяніе! я требую награды!

„Равною любовью люблю я дѣтей моихъ,“ говоритъ мнѣ незримый геній, „и два цвѣтка, внимайте, сыны земли, два цвѣтка есть для мудраго искателя — они называются: Надежда и Наслажденіе.

„У кого одинъ изъ нихъ, не требуй другаго. Наслаждайся, кто не можетъ вѣрить. Это ученіе вѣчно, какъ міръ. Жертвуй, кто можетъ вѣрить. Исторія міра есть судъ міра.

„Ты надѣялся, и ты получилъ плату; твоя вѣра была твоимъ счастьемъ. Спроси вашихъ мудрецовъ. Чего не заплатило мгновеніе, того не возвратитъ Вѣчность.“

Въ этотъ тревожный періодъ жизни, Шиллеръ переиспыталъ всѣ роды занятій, отъ лирической бездѣлки до обширной трагедіи; начиналъ романъ, принимался за драму, писалъ исторію, переводилъ Шекспира, брался за комедію, и все бросалъ неконченное, едва начатое. Послѣ долгаго размышленія надъ своими „Разбойниками,“ которыхъ хотѣлъ онъ то дополнить, то передѣлать, онъ оставилъ ихъ, какъ они были. „Они похожи на шалуна, у котораго добрыя качества зависятъ, можетъ-быть, отъ его шалостей, а исправляя его, мы только уничтожимъ въ немъ хо-

рошее, не сдѣлавши его добрымъ, говорилъ Шиллеръ. Какъ легко могла тогда погибнуть пламенная, младенческая, всѣмъ увлекаемая душа поэта! Его спасло чувство, которое прежде доводило его до безумія — любовь. Чѣмъ пожертвовалъ Шиллеръ Лаурѣ, то возвратила ему Шарлотта, милое, доброе созданіе, съ любовью кроткою и вѣжною, съ душою доступною всему прекрасному. Она увлекла его подъ тихій кровъ семейнаго счастья—онъ не пѣлъ ее въ стихахъ своихъ:

Счастливы вѣчно молчаливы,
Одно несчастье крикунъ!

Но онъ любилъ ее и былъ счастливъ. За то изъ прежняго міра своего, кромѣ любви вынесъ только одно — убѣжденіе въ святомъ чувствѣ неба. Остальное все было потеряно. Онъ разочаровался даже въ мечтѣ быть поэтомъ, убѣдился въ недоступности тайнъ неба, человѣка и природы, рѣшился быть только семьяниномъ и полезнымъ трудами своими членомъ общества. Онъ примирился съ людьми, какъ съ избалованными несчастными дѣтьми—онъ научился прощать имъ, жалѣть объ нихъ.—Его звали ко двору—онъ отказался, какъ отказался отъ двора Клопштокъ, мирно доживавшій вѣкъ свой съ своею Минною. Шиллеръ, супругъ и отецъ, профессоръ Іенскаго университета, издатель книгъ и альманаховъ, счастливый въ своемъ садикѣ послѣ лекцій, добрый бюргеръ за рюмкою рейнвейна. Не троньте его, ни судьба, ни люди. Дозвольте ему довольствоваться тихимъ пріютомъ на

землѣ съ надеждою неба за могилой. Люди и оставили, даже почтили Шиллера. Судьба лелѣетъ его, но самъ себя оставитъ ли онъ въ покоѣ? Удовольствуется ли его бурная душа мнимымъ спокойствіемъ и забвеніемъ своего призванія? Отчего-же странная жизнь его? Для чего тяжкая, непрерывная работа его? Откуда и грусть .о прежнемъ, тревожномъ состояніи своемъ, выражаемая въ унылыхъ звукахъ, какъ-будто онъ жалѣетъ объ немъ?

Изъ всѣхъ сочиненій Шиллера того времени самыя замѣчательныя, по отношенію къ поэту, создавшему ихъ, два. Одно изъ нихъ — *Идеалы*. (die Ideale). Оно переведено Жуковскимъ въ прелестныхъ стихахъ, хотя въ нихъ не сохранены рѣзкія черты подлинника и его *образности*, такъ-сказать, или пластики, о чемъ поговоримъ мы далѣе, прилагая здѣсь переводъ Жуковского, потому что, при всѣхъ недостаткахъ, онъ вполнѣ сохраняетъ *мысль* подлинника, и можетъ служить намъ примѣромъ для сужденій обо всемъ, что переводилъ изъ Шиллера Жуковскій. Вотъ переводъ Идеаловъ.

Зачѣмъ такъ рано измѣнила?...

Съ мечтами, радостью, тоской,

Куда полетъ свой устремила?

Неумолимая! постой!

О, дней моихъ весна златая,

Постой! Тебѣ возврату нѣтъ!

Летить, молитвѣ не внимая,

И все за ней помчалось въ-слѣдъ.

О, гдѣ ты, лучъ-путеводитель
Веселыхъ юношескихъ дней?
Гдѣ ты, надежда, обольститель
Неопытной души моей (*)?
Ужъ нѣтъ ея, сей вѣры милой
Къ твореньямъ пламенной мечты,—
Добыча истинѣ унылой,
Призраковъ прежнихъ красоты.

Какъ древле рукъ своихъ созданье
Боготворилъ Пигмаліонъ,
И мраморъ внялъ любви стенанье,
И мертвый былъ одушевленъ,
Такъ пламенно объята мною
Природа хладная была,
И полная моею душою,
Она подвиглась, ожила.

• (*) Здѣсь въ первомъ изданіи „Идеаловъ“ были еще восемь стиховъ, которые потомъ исключилъ Шиллеръ, но они замѣчательны, особливо четыре послѣдніе.

Die schöne Frucht, die kaum zu keimen
Begann, da liegt sie schon erstarrt,
Mich weckt aus meinen frohen Träumen
Mit rauhem Arm die Gegenwart.

Die Wirklichkeit mit ihren Schranken
Umlagert den gebund'nen Geist,
Sie stürzt die Schöpfung der Gedanken,
Der Dichtung schönes Flor zerreisst.

И юноши дѣля желанье,
Нѣмая обрѣла языкъ,
Мнѣ отвѣчала на лобзанье,
И сердца гласъ въ нее проникъ;
Тогда и древо жизнь пріяло,
И чувство ощутилъ ручей,
И мертвое отзывомъ стало
Пылающей души моей.

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь;
Картиной, звукомъ, выраженьемъ,
Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть.
И въ нѣжномъ сѣмени сокрытой,
Сколь пышнымъ мнѣ казался свѣтъ!
Но, ахъ! сколь мало въ немъ развито,
И малое—сколь бѣдный цвѣтъ! (*)

(*) Здѣсь въ первомъ изданіи слѣдовало живописное сравненіе стремленія поэта къ природѣ съ стремленіемъ водъ въ океанѣ.

Wie aus des Berges stillen Quellen
Ein Strom die Urne langsam füllt,
Und jetzt mit königlichen Wellen
Die hohen Ufern überschwillt;
Es werfen Steine, Felsenstein
Und Wälder sich in seine Kahn,
Er aber stürzt mit stolzen Masten
Sich rauschend in den Ocean!

Далѣе, какъ въ послѣдовавшихъ потомъ изданіяхъ. Всѣ такіа измѣненія любопытны для умнаго наблюдателя.

Какъ бодро, слѣдомъ за мечтою,
Волшебнымъ очарованъ сномъ,
Заботь несвязанный уздою,
Я жизни полетѣлъ путемъ.
Желанье было—исполненье!
Успѣхъ отвагу пламенилъ —
Ни высота, ни отдаленье
Не ужасали смѣлыхъ крылъ.

И быстро жизни колесница
Стезю младости текла;
Ея воздушная станица
Веселыхъ призраковъ влекла:
Любовь съ прелестными дарами,
Съ алмазнымъ Счастьемъ ключемъ,
И Слава съ звѣздными вѣнцами,
И съ яркимъ Истины лучемъ.

Но, ахъ! еще съ полу-дороги,
Наскучивъ рѣзвою игрой,
Вожди отстали быстроноги—
За роемъ вслѣдъ умчался рой.
Украдкой Счастье сокрылось,
Измѣной Знаніе ушло,
Сомнѣнье тучей обложило
Священной Истины чело.

Я зрѣлъ, какъ дерзкою рукою
Презрѣнный Славу похищаль

И быстро съ быстрою весною
Прелестный цвѣтъ любви увяль.
И все пустынно, тихо стало,
Окрестъ меня и предо мной,
Едва Надежды лишь сіяло
Свѣтило надъ моею тропой.

Но кто-жъ изъ сей толпы крылатой
Одинъ съ любовью мнѣ во слѣдъ,
Мой до могилы провожатой,
Участникъ радостей и бѣдъ?
Ты, узъ житейскихъ облегчитель,
Въ душевномъ мракѣ милый свѣтъ,
Ты, дружба, сердца исцѣлитель,
Мой добрый геній съ юныхъ лѣтъ!

И ты, товарищъ мой любимый,
Души хранитель, какъ она,
Другъ вѣрный, трудъ неутомимый,
Кому святая власть дана
Всегда творить, не разрушая,
Мирить печальнаго съ судьбой,
И силу въ сердца водворяя,
Беречь въ немъ ясность и покой.

Другое стихотвореніе показываетъ взглядъ Шиллера
въ то время на знаніе. Это — *Закрытый Истуканъ въ*
Сапсѣ (*das verschleierte Bild zu Sais*). Поэтъ раз-

сказываетъ известную легенду о гибели дерзкаго, осмѣлившагося заглянуть подъ покрывало, которымъ закрыть былъ истуканъ Изиды въ египетскомъ саисскомъ храмѣ:

Юноша жаждой познаній влекомый въ Египеть,
Въ храмъ Саискій пришелъ, у жрецовъ изучаться желая
Тайнамъ премудрости. Много онъ степеней быстро и
скоро

Пылкимъ умомъ пролетѣлъ, но всегда испытующимъ
духомъ

Рвался впередъ: іерофанты едва за нимъ успѣвали.
Въ нетерпѣливомъ стремленіи:— „что я знаю, скажите,
Если *все* я не знаю?“ такъ восклицалъ въ нетерпѣнни:
„Или и въ мудрости также найду я немного и много?
Или и мудрость земная, какъ счастье неполно земное,
Есть собранье познаній, которымъ и больше и меньше
Можемъ мы обладать, и всегда къ обладанью стремиться?
Развѣ мудрость не есть единое вѣчнаго духа?
Звукъ одинъ уничтожить — и разрушить гармонію
звуковъ;

Цвѣтъ единый изъ радуги вынь—и все остальное
Хаосъ нестройный, если прекрасное *все* не дополнить
Вновь полнотою небесной гармоніи, цвѣта и звука!“
Такъ говорилъ онъ съ жрецомъ, и въ храмъ отдаленный
вступаетъ.

Тихо было въ храмѣ, и жадные юноши взоры
Вдругъ засверкали: предъ ними гигантскій, закрыть
покрываломъ,
Въ иракѣ стоятъ истуканъ. Въ изумленіи юноша пылкій.

Онъ вопрошаетъ вожаго: „что это? что здѣсь закрыто?
— Истина — такъ іерафантъ отвѣчаетъ. „Что слышу?
что внемлю?“

Юноша быстро воскликнулъ: — „Истина! къ ней я стремлюся —

Здѣсь предо мною она, и ее отъ меня закрываютъ!“

— Такъ судьбамъ всевышнимъ угодно — жрецъ отвѣчаетъ.

Смертный никто, дане смѣетъ — изрекъ оракула голосъ —

Вскрыть покрывало, доколѣ я самъ его не открою.

Кто-жъ святотатской, преступной рукою посмѣетъ до-
толѣ

Тайное вскрыть покрывало, безумной волей ведомый,

Тотъ — окончи скорѣе! Увидить истины образъ....

„Странный оракулъ! Ты мнѣ повѣдай: ужели донынѣ,

Ты никогда не дерзнулъ поднять, открыть покрывало?“

Я никогда не дерзнулъ и помыслить, и смѣю-ль помы-
слить....

„Буду смѣлѣе тебя, и могу-ль удержаться: предъ мною
Истина съ легкой завѣсой!“ — Но вспомни прещеніе

Бога —

Такъ возразилъ ему жрецъ — и помысли, о сынъ мой,
помысли:

Если бременемъ легкимъ рукъ твоей будетъ завѣса —

Тяжко на землю падаетъ преступленіе божественной
воли! —

Полной думы тяжелой, юноша въ домъ возвратился.

Жажда палящая знанія сонъ похищаетъ спокойный,

Онъ на одрѣ не находитъ покоя, горитъ нетерпѣньемъ....

Въ часъ полуночи оставилъ онъ одръ свой. Къ храму
влечется

Робкимъ и косвеннымъ шагомъ, невольно робѣя во мракѣ,
Безъ затрудненія онъ переходитъ оградѣ храма,
И — въ средину храма заноситъ дерзкую ногу....

Свершилось!

Вотъ онъ одинъ, посреди, окруженный мертвымъ мол-
чаньемъ,

Въ сумракѣ храма; все тихо вокругъ; только въ сво-
дахъ высокихъ

Шорохъ шаговъ его вторится въ звукахъ глухихъ
и неясныхъ,

Храма безмолвіе онъ нарушаетъ, и тихнуть мгновенно.

Сверху сводовъ, въ окно, свѣтитъ мѣсяцъ ту-
манный, неясно,

Блѣднымъ лучемъ серебрится помость обширнаго
храма, —

Ужась всеяя, какъ Богъ преступленія мститель, во
мракѣ,

Длиннымъ закрытъ покрываломъ, стоитъ истуканъ
исполинскій.

Робкой стопой подошелъ къ нему юноша тихо;
онъ хочетъ

Дерзкой рукой спросить неиспытнаго страшную тайну;
Холодъ и жаръ протекли по костямъ его — будто без-
вѣстной

Онъ отодвинуть десницей — и съ трепетомъ вспять
отстѣпаетъ!

„Что ты дерзаешь? Куда, несчастный безумецъ?“

Такъ громко

Тайный въ душѣ его голосъ ему вопіетъ — „не трепе-
щешь

Ты испытать непостижную тайну? Но вспомни глаголы, —

Рекъ ихъ оракулъ священный: смертный никто, да не смѣетъ

Вскрыть покрывала, пока я самъ покрывала не вскрою!

„Но не тотъ-ли оракулъ прибавилъ глаголъ вдохновенный:

Если осмѣлится смертный — онъ истину узрѣтъ? Довольно! —

О! что не будетъ за сею завѣсой — я вскрою, увижу!“

Громкимъ воскликнулъ онъ голосомъ: „*Видѣть* хочу я!“ И — „*Видѣть!*“

Глухо отгрянуло въ сводахъ, и долго гулъ не утихнулъ....

Рекъ, приблизился смѣло, и — вскрылъ покрывало завѣта....

Что онъ увидѣлъ? вы спросите. — Что онъ нашелъ? — Я не знаю.

Слабый, безъ чувствъ, онъ найденъ былъ заутра во храмѣ,

Близъ истукана Изиды повергнутъ во прахъ на по-мостѣ.

Что онъ видѣлъ? Что онъ нашелъ? Никому не повѣдалъ

Косный языкъ его. Онъ навсегда погубилъ свою младость:

Мрачный, погасшій, онъ скорбью увлекся къ раннему гробу.

„Горе,“ такъ онъ изрекъ въ минуту кончины правдиво: —

„Горе тому, кто мудрость купилъ преступленьемъ закона:

Онъ нерадостной, страшной, погибельной тайной вла-
дѣеть. . . .“ (*)

Но дерзкій ученикъ египетскихъ іерофантовъ купилъ познаніе цѣною преступленія. Тотъ не погибнетъ, кто ищетъ его трудомъ, наукою, вѣрою во все прекрасное, доброе, великое. Онъ можетъ-быть заплатить за него жизнь, но за то умретъ съ сознаніемъ, что исполнилъ призваніе свое, съ надеждой тамъ, гдѣ отчаяніе терзаетъ счастливца міра. Такъ сбылось съ Шиллеромъ.

Съ переселеніемъ въ Іену начался третій періодъ жизни его, время самое счастливое. Услаждаемый любовью, онъ былъ утѣшенъ всеобщимъ уваженіемъ. Онъ увидѣлъ и узналъ любовь, дружбу и славу. Надобно было судьбѣ соединить окрестъ него столько счастливыхъ обстоятельствъ: милую жену, добрыхъ друзей, тихое довольство, людей высокаго образованія, страстныхъ просвѣщенія и образованности, и даже дворъ, напоминавшій что-то патріархальное, добродушно-германское, гдѣ новая драма была государственнымъ событіемъ, новое произведеніе искусства дѣломъ всѣхъ занимавшимъ. Не роскошествуя на собраніе мертвыхъ драгоценностей, какъ дѣлали въ Дрезденѣ, не покупая античныхъ обломковъ, какъ въ Мюнхнѣ, герцогиня Амалія, и добродѣтельный про-

(*) См. наше изданіе Сочиненій Губера, т. I. стр. 218—224.

свѣщенный сынъ ея, герцогъ Карлъ Августъ, искали живой бесѣды мудрыхъ, собирали около себя повтовъ, любили германскихъ музъ, и покровительствовали имъ не тѣмъ только, что давали имъ пенсіи и награды. Дворскій этикетъ былъ забытъ: любимые собесѣдники герцога Веймарскаго и матери его были ученые и литераторы, когда Гёте былъ министромъ ихъ, Виландъ воспитателемъ дѣтей герцога, Гердеръ придворнымъ проповѣдникомъ.

Мы говорили объ обществѣ, въ которомъ жилъ Шиллеръ, о занятіяхъ и образѣ жизни его въ Іенѣ; здѣсь обратимъ вниманіе только на тѣ отношенія, какія имѣли на него сильнѣйшее вліяніе съ 1780 по 1799 годъ, когда онъ переселился въ Веймаръ, и которыя *выработали*, такъ сказать, изъ него то, чѣмъ является онъ при концѣ земнаго поприща.

Конечно, первымъ должно поставить вліяніе кантовой философіи на Шиллера, потому что трудно себѣ вообразить важность переворота, произведеннаго на умы германцевъ и отразившагося на всю Европу отъ новыхъ, живительныхъ идей кёнигсбергскаго мудреца. Что-же должна была чувствовать впечатлительная душа Шиллера? Мы не будемъ здѣсь стоять ни за нѣмецкую философію, ни за философію вообще, тѣмъ болѣе что кантова философія была только критикой философическихъ идей. Мы сравнимъ только занятіе философіею съ наслажденіемъ купанья въ морѣ и укажемъ на поэзію самого подвига кантова, которая увлекла Шиллера въ неизвѣстный ему міръ. Она не рѣшила ему сомнѣній религіозныхъ, не опре-

дѣлила его направленія художническаго, но она раздвинула объемъ идей его, убѣдила въ нелѣпости скептицизма, показала благородное направленіе ума человѣческаго въ трудѣ, которымъ долженъ купить познаніе, покорить науку. Она возвысила передъ Шиллеромъ нравственное достоинство человѣка, убѣждая его силою ума въ небесномъ происхожденіи его, не доказывая этой высокой истины отверженіемъ перваго и единственнаго отличія человѣка отъ животныхъ, ума, не связывая воли его безусловнымъ повинovenіемъ угрюмому догмату, прежде всякаго изслѣдованія.

Но то, чего могъ лишить поэта философъ Кантъ, съ избыткомъ вознаграждалъ ему нѣкогда ученикъ, тогда противникъ Канта — явленіе высокаго и утѣшительнаго въ мірѣ мысленія, отрадное въ мірѣ поэзіи: мы говоримъ о *Гердерѣ*. Зная имя его, въ Россіи весьма мало знаютъ его многочисленныя, разнообразныя творенія. Уступая въ силѣ мысли Канту, служитель религіи, онъ шелъ въ философію изъ противоположной точки зрѣнія, радужными цвѣтами поэзіи облакалъ уроки исторіи, и тамъ, гдѣ неумолчный Кантъ обращался къ силлогизму ума, онъ извлекалъ доказательства изъ вѣры сердца, можетъ-быть еще болѣе убѣдительною, нежели доказательства логики, если она освѣщена свѣтомъ ума. Необъятная ученость философа Канта замѣнилась у Гердера энциклопедическимъ образованіемъ поэта, и приводя къ единству идеи историческія, также къ единству приводилъ безчисленные звуки, которыми отозвалась въ мірѣ

поэзія. Гердеръ знакомилъ Германію съ Шекспиромъ и Кальдерономъ, съ востокомъ и сѣверомъ. Какъ человѣкъ, въ противоположность Канту, уединенному, суровому, своенравному, Гердеръ былъ весь любовь, весь чувство.

Къ Канту и Гердеру присоединился еще одинъ человѣкъ необыкновенный, мистикъ въ сердцѣ, эпикурецъ въ твореніяхъ, стойкъ въ жизни, роскошный любимецъ грацій, германецъ душою и житель Аѳинъ по образованію, сохранившій до глубокой старости беззаботную веселость младенца. — Виландъ, бывшій двадцатью-пятью годами старше, и осемью годами пережившій Шиллера. Его остроумная насмѣшливость, его страсть къ міру древнихъ, его критическое наблюденіе увлекали Шиллера въ поэтическую область искусства древнихъ, знакомили съ изученіемъ пластическаго взгляда ихъ на природу. Если Кантъ указывалъ поэту на безконечную область вѣдѣнія, Гердеръ наполнялъ его идеями, Виландъ уводилъ Шиллера къ юности человечества.

Обращаемся наконецъ къ тому, кто болѣе всѣхъ другихъ споспѣшествовалъ перевоспитанію Шиллера: — то былъ Гёте.

Не мѣсто здѣсь изображать исполинскій образъ человѣка, втеченіе шестидесяти лѣтъ пережившаго и перечувствовававшего всѣ идеи, всѣ впечатлѣнія своего времени. Не замѣчательно-ли, что если Гёте не понравился Шиллеру при первомъ свиданіи, Шиллеръ также не понравился Гёте, считавшимъ его безрасуднымъ мечтателемъ? Уже въ бытность Шиллера въ

Иенъ, нечаянный разговоръ послѣ засѣданія ученаго общества сблизилъ ихъ. Съ тѣхъ поръ дружба ихъ продолжалась до кончины Шиллера, и едва-ли Шиллеръ не былъ единственнымъ исключеніемъ, для котораго Гёте нарушилъ доступность сердца, и безстрастіе, въ чемъ полагалъ высшую степень силы человеческой. Гёте съ восторгомъ смотрѣлъ на Шиллера, какъ на истинный идеалъ поэта, изучалъ въ немъ святое чувство поэзіи и самъ оживалъ новою жизнью въ бесѣдѣ съ нимъ. Въ 1794 году писалъ онъ Шиллеру: „Всегда удивлялся я той прямодушнѣйшей и столь рѣдкой добросовѣстности, которая видна во всемъ, что вы пишете, дѣлаете, и отъ васъ самихъ хочу я узнать переходы вашего духа, особенно въ послѣдніе годы.“ Черезъ четыре года потомъ, Гёте говорилъ Шиллеру: „Если я былъ для васъ представителемъ виѣшняго, вы отвлекли меня отъ виѣшняго къ внутреннему изученію самаго себя, — вы создали мнѣ вторую юность — снова сдѣлали меня поэтомъ.“ Все, что писалъ Гёте, посылалъ онъ Шиллеру, руководствовался его совѣтами, сообщалъ ему свои планы, идеи, мысли, чувства, сочинялъ съ нимъ вмѣстѣ, и вдохновеній сердца его слушался болѣе рѣшеній собственнаго ума. Но за то онъ показалъ Шиллеру дѣтское мелочничество современнаго искусства, научилъ его презирать то, что „всѣ хвалятъ кромѣ самаго художника,“ научилъ его „не жалѣть о томъ, чего у насъ нѣтъ, и цѣнить то, что мы имѣемъ“, дорожить мыслью, и предоставлять все остальное случаю и времени. Гёте открылъ Шиллеру великую тайну простоты тво-

ренія при самознаніи, и тайну самобытности духа среди внѣшнихъ впечатлѣній. Онъ показалъ ему сущность изящнаго, видимую въ твореніяхъ древнихъ, чего не могли объяснить ни Виландъ, ни эстетика.

И среди столь различныхъ элементовъ изученія, при неусыпномъ трудѣ, созрѣлъ геній Шиллера.

Тихою грустью сердца сдѣлались его-прежніе порывы скорби, мирнымъ весельемъ души стали его необузданные восторги. Онъ нашелъ миръ между идеалами и существенностью въ разнообразныхъ явленіяхъ жизни, хотя иногда прорывалась невольная жалоба изъ его болящей груди. Вотъ замѣчательное стихотвореніе, которымъ встрѣтилъ онъ новый, столь много общавшій, столь мало исполнившій, *девятнадцатый* вѣкъ:

„Благородный другъ! гдѣ найдутъ себѣ убѣжище миръ и свобода? Въ буряхъ кончился вѣкъ протекшій, и смертью являетъ себя новый вѣкъ.

Разорваны связи между народами, сокрушились прежнія формы и бѣшенство войны не смирли ни Океанъ, ни богъ Нила, ни древній Рейнъ.

Два могучіе народа спорятъ о владычествѣ надъ міромъ, и двигаютъ молніями и трезубцомъ, уничтожая свободу всѣхъ другихъ народовъ.

Всѣ должны нести имъ золото и, какъ древле Бреннъ, франкъ кладезь булатный мечъ свой на вѣсы справедливости.

Торговые флоты свои простираетъ повсюду британецъ, какъ многорукій полиппъ, и область свободной Амфитриды хочетъ замкнуть, какъ замкнулъ свое царство.

До безвѣстныхъ звѣздъ южнаго полюса простираетъ онъ набѣгъ, захватываетъ острова и побережья, и— нигдѣ не находитъ рая.

Ахъ! тщетно на картѣ земли будешь ты искать счастливой страны, гдѣ были бы вѣчно зеленѣющіе сады радости и продолжалась прекрасная юность человечества.

Безконечно разстилается передъ тобою міръ и едва можетъ самое мореплаваніе измѣрять его; но на его неизмѣримой поверхности нѣтъ мѣста и десяти счастливымъ.

Въ святое уединеніе сердца долженъ ты бѣжать отъ волненій міра! Радость осталась только въ области мечтаній, а прекрасное цвѣтетъ только въ пѣснопѣніяхъ“.

Руководимый Гёте, Шиллеръ перенесъ многостороннюю дѣятельность науки въ единство труда, и всеобъемлемость духа въ созданія поэтическія. Не въ идеалахъ искалъ онъ теперь жизни, но научился въ формахъ жизни открывать идеалы и возсоздавать могучею фантазіею поэта живые образы ея. Валленштейнъ его былъ плодомъ мысли, возведенной въ художественное твореніе. *Марія Стюартъ*, *Орлеанская Дѣва*, *Мессинская Невѣста*, были твореніемъ генія, сознавашаго себя и жизнь. *Вильгельмъ Телль* явился послѣднимъ выраженіемъ плодотворной мысли поэта, который понялъ тогда Шекспира. Такимъ долженствовалъ быть его *Дмитрій Самозванецъ*, котораго хотѣлъ дописать Гёте по смерти друга своего.

Гёте не присутствовалъ при смертномъ одрѣ Шиллера. Онъ самъ былъ тогда боленъ, и отъ него

скрывали опасность и смерть Шиллера, которого встрѣтилъ онъ за нѣсколько дней, выйдя подышать свѣжимъ воздухомъ весны. Шиллеръ, уже больной, шелъ въ театръ. „Я потерялъ друга,“ писалъ Гёте черезъ мѣсяцъ по смерти Шиллира, „и въ немъ потерялъ половину моего бытія. Мнѣ надобно бы теперь начать новый образъ жизни, но въ мои годы это невозможно. Смотрю на грядущіе дни, не думая о себѣ, дѣлаю что ближе ко мнѣ, и ничего не предполагаю для завтра... Мнѣ предлагаютъ торжествовать память умершаго театральнымъ праздникомъ: люди изъ всякой потери и всякого несчастія дѣлаюгъ себѣ забаву (einen Spass herauszubilden suchen)“ ...

Заклучимъ указаніемъ на одно изъ послѣднихъ стихотвореній Шиллера—*„Прощаніе съ читателемъ“*, которое начинается онъ словами: „Умолкла муза и съ дѣвственною стыдливостью ждетъ приговора, который чтить она, но котораго не боится. Она чувствуетъ себя достойною вѣнка изъ рукъ того, въ чьей груди бьется сердце для изящнаго“.

„Не долго хотять жить мои пѣсни“, говорилъ унылый поэтъ, „не долго—пусть порадуетъ ими чувствующее сердце, которое окружаютъ они созданіями фантазіи и побудятъ къ высокимъ сочувствіямъ. Не хотять они устремляться къ отдаленному потомству. Мгновенно рожденныя, они улетають съ полетомъ времени, окруженныя легкимъ хороводомъ часовъ.“

„Пробуждалась весна, и на согрѣтыхъ солнцемъ лугахъ возбуждена свѣжая жизнь; жадно пьеть ее прозябаніе, и подъ небесами раздаются веселые хоры

пѣвцовъ; старецъ, юноша спѣвать наслаждаться въ-
лянемъ весны и веселить слухъ и взоръ.

Der Lenz entflieht! Die Blume schiesst in Samen,
Und keine bleibt von allen, welche kamen....

„Пролетѣла весна; *цвѣты* превратились въ *сѣмена*,
и *никто не остается изъ тѣхъ, которые приходили*“.

Какія сѣмена принесла человечеству весна поэти-
ческой жизни Шиллера? Что осталось отъ него въ
сокровищницѣ поэзіи? Переходимъ къ его твореніямъ.
Поэта мы теперь знаемъ. (*)

(*) Слѣдующихъ статей этой монографіи Губеромъ не было
напечатано.—А. Т.

ЛОМОНОСОВЪ.

(Библия. д. Чт. 1840 г., XLII, 75—106 стр.).

Сегодня, не далѣе какъ сегодня по утру, принесли ко мнѣ изъ книжной лавки, куда я посылалъ за „новостями“, кипу книгъ, завернутую въ листъ розовой бумаги и очень красиво завязанную. Я былъ увѣренъ, что это чудные плоды нашего современнаго генія. Съ любопытствомъ разрѣзываю снурокъ, срываю розовую завертку.... Ломоносовъ! Новое изданіе Ломоносова!...

Кто могъ ожидать такой нечаянности? И сколько мыслей должно было родиться въ умѣ, сколько воспоминаній взволноваться въ душѣ, при видѣ этихъ обновленныхъ *incunabula* нашего книжнаго величія!

Когда въ жизни народа совершаются тѣ умственные перевороты, которые имѣютъ въ ней то же самое значеніе, какое имѣютъ различные возрасты въ жизни каждаго отдѣльнаго человѣка, тогда сподвижниками этой внутренней реформаціи являются люди съ пылкими страстями, съ твердою волею и чудными характерами. И на этихъ избранниковъ міра, на этихъ дви-

гателей человѣческой мысли падаетъ вся тяжелая поща переворота; на нихъ ложится томительная забота о новыхъ потребностяхъ; въ нихъ совершается страшная и кровавая борьба стараго времени и новаго вѣка; ихъ преслѣдуетъ своимъ глупымъ проклятіемъ современный предразсудокъ: они отрекаются отъ милыхъ привычекъ старины для того, чтобы замѣнить закоренѣлыя болѣзни новымъ, но еще невѣрнымъ здоровьемъ. Не много дней дано этимъ людямъ на совершеніе великихъ обязанностей: судьба скупится временемъ для своихъ избранниковъ. Тревожныя заботы съ зарей разбудятъ ихъ отъ краткаго отдыха, а вѣчныя мысли, въ позднюю ночь, снова убаюкаютъ на минутный и безпокойный сонъ. Безпрерывная дѣятельность изнуряетъ бѣдное, ломкое тѣло, и скоро оно износится подъ бременемъ своего тяжелаго назначенія. Толпа съ любопытнымъ недоувѣріемъ смотритъ на эти странныя, рѣдкія явленія, слѣдуетъ за ними завистливымъ взглядомъ, клеветой или равнодушіемъ заграждаетъ пути, и наконецъ съ досадой именуетъ своими *геніями*. И вотъ печальная награда бѣдныхъ мучениковъ добра: вѣчная борьба съ недоразумѣніями времени, недоувѣріе и ненависть при жизни, а за могилой — слабый отголосокъ въ исторіи вѣковъ, бесполезная слава.

Таково назначеніе, таковъ и характеръ этихъ людей. Ихъ волнуютъ благородныя страсти; новыя угаданныя потребности вѣка вызываютъ бурную дѣятельность, и смѣлыя силы дробятся въ многостороннемъ назначеніи. Не ищите между ними холодныхъ умовъ, ко-

торые съ неизмѣннымъ терпѣніемъ роются въ пыли застарѣлыхъ понятій и согрѣваютъ чужимъ огнемъ свои бездушныя созданія. Далеко этимъ покойнымъ, самодовольнымъ труженикамъ до пылкаго генія, который творитъ и разрушаетъ, въ вѣчномъ движеніи борется съ массаи новыхъ понятій и съ мозолями труда, на подмосткахъ своего своеобытнаго созданія, проклиная съ ужаснымъ недовѣріемъ къ самому себѣ ничету своихъ неполныхъ начинаній. Недовольный собой, недовольный другими, съ полнымъ сознаниемъ нужды и съ недовѣріемъ къ силѣ, неутомимый и гордый, несправедливый и благородный онъ останется вѣчною загадкою для современниковъ и яркимъ свѣтиломъ для будущихъ поколѣній. Онъ кладетъ богатое сѣмя въ необработанную землю, жадными руками роется въ тощихъ пескахъ бесплодной нивы, и можетъ-быть никогда не дожидется исходу того, что самъ онъ посѣялъ въ потѣ лица, въ слезахъ надежды и съ горькимъ недовѣріемъ.

И вотъ печальная участь безсмертнаго генія! Вотъ жалкая доля великаго избранника судьбы!

А слава?....

Да! можетъ-быть онъ и доживетъ до этой славы, дотянетъ какъ-нибудь изнуренное тѣло до золотого преддверія къ храму безсмертія, и въ прахъ разсыплется на этомъ блистательномъ порогѣ, какъ Торквато Тассо на порогѣ Капитолія. Можетъ-быть, онъ за-живо еще узнаетъ всѣ утѣшенія этой славы, этихъ звонкихъ погремушекъ, этого глупаго удивленія толпы и этой благосклонной, снисходительной улыбки

гордецовъ. Нечего сказать, завидная доля, завидная слава!

Не мудрено, ежели онъ въ вѣчной борьбѣ съ клеветой и съ недовѣріемъ ожесточается противъ людей; немудрено, что онъ раздражителемъ, непреклоненъ и даже несправедливъ къ тому или другому; передъ нимъ одна высокая цѣль, которой онъ жертвуетъ собой и другими, священная цѣль общаго блага, общаго добра. Онъ зоркимъ глазомъ слѣдитъ эту цѣль и только видитъ и ненавидитъ то, что ей мѣшаетъ.

Таковъ былъ и Ломоносовъ.

Прошелъ огромный вѣкъ, прошла великая пора,
„Когда Россія молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала съ геніемъ Петра.“

Поле, засѣянное рукою державнаго сѣятеля уже приносило богатые плоды. Россія, обновленная могучею волею исполина — Петра, заняла свое высокое мѣсто въ политическихъ дѣлахъ Европы, которая смотрѣла на нее съ трепетнымъ удивленіемъ. Но, въ этомъ быстромъ преобразованіи, умственное развитіе народа не могло идти рука объ руку съ политическимъ развитіемъ страны. Тысячи новыхъ понятій со всѣхъ сторонъ обогащали Россію, и языкъ не успѣвалъ за понятіями. Сѣмяна науки, брошенныя рукою Петра въ родную землю, готовили богатую жатву, но это обширное поле ожидало своихъ земледѣльцовъ. И бѣдный рыбакъ изъ Холмогоръ сильными руками принялся за это трудное дѣло. Съ твердою волею, съ желѣзнымъ характеромъ, съ пламеннымъ воображе-

ніемъ, онъ вышелъ изъ своей далекой родины на скользкое поприще огромнаго труда. Онъ былъ проникнутъ духомъ великаго преобразователя Россіи; на немъ покоилось благословеніе Петра.

На ледяныхъ берегахъ Бѣлаго Моря, въ дымной хижинѣ бѣднаго рыбака, родился чудный младенецъ, котораго судьба избрала своимъ орудіемъ. Угрюмая природа далекаго сѣвера встрѣтила первое развитіе будущаго генія, приняла его первый младенческій лепетъ.

Съ самыхъ раннихъ лѣтъ томила Ломоносова непонятная жажда знанія; и небо, покрытое пожаромъ сѣвернаго сіянія, и долгія ночи, украшенныя мириадами звѣздъ, все подстрекало эту неодолимую жажду, все говорило ему о чудесахъ природы, все волновало, все тревожило эту пылкую душу, которая даже не умѣла давать себѣ отчета въ своихъ ощущеніяхъ. И ребенокъ принялся за книги; дни и ночи проводилъ за ними; но какія пособія могли развитъ его способности въ этой темной и бѣдной землѣ? Старикъ-отецъ косился на мудренныя занятія сына; его первые успѣхи встрѣтили угрозами и побоями; отъ него прятали книги и онъ наконецъ укралъ у сосѣда мудреную грамматику Смотрицкаго, да безтолковую ариметику Магницкаго: онъ выучилъ наизусть грамматику; онъ затвердилъ на память ариметику: и вотъ первые источники всей мудрости нашего Ломоносова! Но эти источники не удовлетворяли пылкаго юношу, который чувствовалъ, что не на нихъ остановилось человѣческое знаніе. Тайный голосъ вызывалъ его впередъ,

изъ тѣсной хаты отца, на шумное поприще новой, еще незнакомой дѣятельности. И Ломоносовъ жаднымъ ухомъ приникъ къ таинственному голосу, впился въ свою любимую мечту; темная шестидесячная ночь холодной родины пугала и гнала его отъ себя,—и онъ рѣшился. Но на что же рѣшился онъ? Кто его приметъ, кто прокормитъ, кто наконецъ будетъ учить семнадцатилѣтняго мужика, который такъ далеко отсталъ отъ своихъ грамотныхъ сверстниковъ? Но объ этомъ Ломоносовъ и не думалъ и не беспокоился. Онъ зналъ одно: что ему не сдобровать на родинѣ, что можетъ-быть въ Москвѣ онъ выучится тому, чего нѣтъ ни въ бѣдной грамматикѣ его, ни въ жалкой ариѳметикѣ.

Наступила ночь, зимняя, холодная; тихо въ хатѣ; спать отецъ; Ломоносовъ, дрожа и молясь, встаетъ съ постели, съ горькими угрызеніями совѣсти глядитъ на спящаго отца: онъ чувствуетъ весь ужасъ своего преступленія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и всю его необходимость. Тихо отворилъ онъ двери, тихо вышелъ на дворъ, на улицу, и побѣжалъ по бѣлой дорогѣ вслѣдъ за обозомъ, который съ рыбой пошелъ торговать въ Москву.

Куда идетъ этотъ бѣдный безумецъ, безъ друзей и безъ денегъ, противъ воли отца, безъ роднаго благословенія? О! не останавливайте его! Не держите орла на привязи! Пускай идетъ! У него хорошій провозатый: его судьба. Пускай идетъ! Это—шестіе генія къ его далекой, невѣдомой цѣли. И кто разгадаетъ это таинственное шестіе, кто пойметъ эту не-

видимую силу, которая такъ неодолимо влечетъ изъбранника судьбы?

Ломоносовъ въ Москвѣ. Не люди, а судьба заботится о немъ. Первый шагъ сдѣланъ: его опредѣлили въ законоспасское училище. Съ жаромъ принялся онъ за книги, побѣждалъ препятствія, боролся съ нуждой, и все съ одной надеждой на будущее. Гдѣ та страница, на которой впослѣдствіи онъ самъ писалъ объ этомъ къ Шувалову? Вотъ она!

„Не ради тщеславія, но ради моего оправданія, позвольте мнѣ сказать, что отецъ мой по натурѣ былъ добрый человѣкъ, и въ крайнемъ невѣжествѣ воспитанный, а злая и завистливая мачиха всячески старалась произвести гнѣвъ въ отцѣ моемъ, представляя, что я сижу попустому за книгами. Отчего многократно принужденъ я былъ читать и учиться, чему только могъ, въ уединенныхъ мѣстахъ и терпѣлъ стужу и голодъ, пока ушелъ въ Спасскія школы. Тамъ обучаясь, имѣлъ я со всѣхъ сторонъ отвращающіе отъ наукъ пресильныя стремленія, которыя въ тогдашнія мои лѣта почти непреодолимую имѣли силу. Съ одной стороны отецъ, у котораго дѣтей кромѣ меня не было, говорилъ, что бывши я единственный сынъ, оставилъ его, оставилъ все довольство, которое онъ кровавымъ потомъ нажилъ и которое послѣ его смерти чужіе расхищать. Съ другой стороны несказанная бѣдность; имѣя одинъ алтынъ жалованья въ день, нельзя было имѣть въ день пропитанія болѣе какъ на денежку хлѣба и на денежку квасу, а прочее на бумагу, на обувь и другія нужды. Съ одной стороны

пишутъ, что зная достатки моего отца, хорошіе люди дочерей своихъ за меня выдадутъ; съ другой, школьники, малые ребята, кричатъ и перстами указываютъ. „Смотри, какой болванъ, лѣтъ въ двадцать пришелъ Латини учиться!“ Такимъ образомъ жилъ я лѣтъ пять, а наукъ не оставилъ.“

Нѣтъ, онъ и тогда не оставлялъ ихъ, когда убѣдился, что не того искала душа его, что предлагали ей на школьныхъ скамейкахъ училища. Но кто опишетъ тревогу неудовлетвореннаго, ненасытнаго стремленія, которое наконецъ заставило Ломоносова упротъ своихъ наставниковъ, чтобы его послали въ Кіевъ для изученія математики, физики и философіи? Его послали!—и вотъ Ломоносовъ въ Кіевѣ. Съ прежнимъ жаромъ онъ принимается за новыя науки, роется въ старинныхъ лѣтописяхъ, сидитъ за Аристотелемъ, и снова убѣждается, что не того искала душа его. И опять повторяются тѣ же внутреннія мученія, и опять тайный голосъ нудитъ, зоветъ, гонитъ его впередъ, впередъ, къ далекой цѣли. Но гдѣ же она, эта далекая цѣль, эта невидимая граница генія? И грустенъ и веселъ этотъ невѣдомый путь, и только немногіе ходятъ по немъ, не боясь преградъ, не зная усталости.

Черезъ годъ Ломоносовъ возвратился въ Москву, онъ былъ по прежнему недоволенъ собой, между-тѣмъ какъ другіе удивлялись его успѣхамъ. Вмѣсто живаго знанія онъ встрѣтилъ мертвую науку, и понялъ всю неполноту этой условной мудрости. Проницательный умъ Феодана отличалъ Ломоносова и можетъ-быть

предугадывалъ его будущую судьбу. Въ это время петербургская академія требовала изъ Москвы нѣсколькихъ семинаристовъ для дальнѣйшаго образованія. Въ числѣ избраниковъ отправили и Ломоносова. Это назначеніе оживило его, и онъ готовился съ гордыми надеждами на новые труды.

Передъ нимъ молодая столица съѣвера, гранитное дитя Петровой мысли, передъ нимъ — академія съ своими Эйлерами, Бильфингерами, Байерами. Теперь онъ, кажется, у цѣли; теперь наконецъ насытится эта безграничная жажда знанія. Математика, философія, химія, физика, минералогія: сколько громкихъ наукъ! сколько новыхъ предметовъ! Но два года прошло въ безпрерывныхъ и неутомимыхъ занятіяхъ; Ломоносовъ зналъ уже все, что только могъ узнать въ академической гимназіи: и можетъ быть онъ наконецъ доволенъ своими трудами? Нѣтъ, старая знакомая, тоска нашла его и здѣсь; томительныя мысли не отстаютъ отъ него; онъ съ горькимъ уныніемъ качаетъ головой: нѣтъ, не того искали душа его! Ему дали ту же грамматикку Смотрицкаго, только въ другомъ переплетѣ, въ другихъ размѣрахъ. Тайный гѣлосъ по-прежнему зоветъ Ломоносова, и академія отправляетъ его въ Германію.

Но что была Германія въ то время?

Она находилась подъ вліяніемъ постороннихъ началъ. Внѣшнія сношенія съ другими державами ознакомили ее съ новыми понятіями и съ новыми языками, которые испестрили германскую литературу своими фразами, своими словами. Одичалая Германія заимствова-

ла у Франціи трудную науку обхожденія, и дивилась произведеніямъ ея литературы. Отсюда явились грубыя подражанія, безъ всякой самостоятельности, и многочисленныя французскіе обороты, которые препятствовали прямому развитію нѣмецкаго языка. Но и въ то время жили люди съ свѣтлыми умами, которые далеко опередили вѣкъ своими твореніями, жили Лейбницъ и Вольфъ, его ученикъ, толкователь и соперникъ. Къ Вольфу академія отправила и нашего Ломоносова. Критика хромала; поэзія спала; сочиненія Готшета давали только историческое понятіе о различныхъ родахъ поэзіи. Въ нихъ излагались застарѣлыя правила и холодныя сентенціи. Идеи Брейтингера и Бодмера противорѣчили сухому Готшету. Они требовали картинъ отъ поэта, и требовали подражанія природѣ. Но они не опредѣляли этого подражанія, освободили поэзію отъ оковъ, а не знали чѣмъ и какъ наполнить выигранное мѣсто. Теорія путалась; бездарная посредственность тѣшилась своей бездарной критикой; обыкновенныя дарованія погибали безъ вѣрныхъ путеводителей: только сатира говорила колкимъ языкомъ умнаго Рабенера. Въ литературѣ господствовала пустота и отсутствіе всякаго поэтическаго одушевленія; вся поэзія Германіи въ это время имѣла только одного истиннаго поэта,—буйнаго, развратнаго Гюнтера. Любопытно мнѣніе Гёте объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ:

„Поэзіи этого времени недоставало національнаго содержанія, но въ дарованіяхъ она не нуждалась. Стоить указать на одного только Гюнтера, который

былъ поэтъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Рѣшительный талантъ, исполненный чувственности, воображенія, памяти и способности представленія; онъ былъ плодороденъ въ высшей степени, легко владѣлъ римою, былъ уменъ, остеръ, и получилъ многостороннее образованіе; словомъ сказать, онъ обладалъ всѣмъ, что даетъ поэзіи силу одушевить новою, второю жизнію ежедневный ходъ обыкновенной нашей жизни. Мы удивляемся той легкости, съ которою онъ согрѣвалъ свои заказныя стихотворенія на разные случаи высокими чувствами, и украшалъ ихъ приличными размышленіями, картинами, историческими и баснословными преданіями. Что было грубаго и дикаго въ этихъ стихахъ, то принадлежитъ духу времени, образу жизни поэта и въ особенности его характеру или, вѣрнѣе, его безхарактерности. Онъ не умѣлъ управлять собою и жизнь его разлетѣлась вмѣстѣ съ его поэзіей“.

Ломоносовъ съ жаромъ учился у извѣстнаго Вольфа. Новыя идеи тѣснились въ пламенную голову; новыя страсти закипѣли въ груди и пылкое воображеніе загорѣлось новымъ огнемъ. Теперь уже и слава издали манила его и яснѣе выказывалась далекая цѣль. Философія и естественныя науки, Вольфъ, Генкель и Крамеръ, вотъ его руководители и наставники. Въ то же время онъ изучаетъ германскую литературу, которая открываетъ ему новый міръ поэзіи. Онъ съ жадностію прислушивается къ стройной гармоніи германскаго стиха и съ робкимъ недовѣріемъ примѣняетъ его разныя къ громкимъ и сладостнымъ звукамъ роднаго языка. Онъ избираетъ Гюнтера своимъ образцомъ и въ

этихъ несмыслѣныхъ попыткахъ, почти самъ того не зная, совершаетъ великое дѣло, великій переворотъ русской поэзіи и русскаго слова. Его устами впервые заговорила наша муза въ стройныхъ размѣрахъ новаго стиха. Въ это время доходить до него извѣстіе о взятіи Хотина: русская побѣда вдохновляетъ русскаго поэта; перо не успѣваетъ за мыслями, стихи выливаются живымъ потокомъ на жертвую бумагу, и вотъ первая русская ода, написанная ямбическими стихами:

Восторгъ внезапный умъ плѣнилъ,
Ведетъ на верхъ горы высокой,
Гдѣ вѣтеръ въ лѣсахъ шумѣть забылъ;
Въ долину тишина глубокой.
Внимая нѣчто, ключъ молчитъ,
Который завсегда журчитъ,
И съ шумомъ внизъ холмовъ стремится;
Лавровы вьются тамъ вѣнцы,
Тамъ слухъ спѣшитъ во всѣ концы;
Далече дымъ въ поляхъ клубится.

Не Пиндъ ли подъ ногами зрю?
Я слушаю чистыхъ сестръ музыку;
Пермесскимъ жаромъ я горю,
Теку поспѣшно къ оныхъ лику,
Врачебной дали мнѣ воды:
Испей и всѣ забудь труды;
Умой росой кастальской очи,
Черезъ степь и горы взоръ простри,
И духъ свой къ тѣмъ странамъ вперн,
Гдѣ всходитъ день по темной ночи.

Карабль какъ ярыхъ волиъ среди,
Которыя хотятъ покрыти,
Бѣжить, срывая съ нихъ верьхи,
Претить съ пути себя склонити:
Сѣдая пѣна вокругъ шумить;
Въ пучинѣ слѣдъ его горить,
Къ російской силѣ такъ стремятся,
Кругомъ объѣхавъ тьмы Татаръ;
Скрываетъ небо конскій паръ!
Что-жъ въ томъ? — стремглавъ безъ душъ валятся.

Крѣпитъ отечества любовь
Сыновъ російскихъ духъ и руку;
Желаешь всякъ пролить всю кровь,
Отъ грознаго бодрится звуку,
Какъ сильный левъ стада волковъ,
Что кажутъ острыхъ рядъ зубовъ,
Очей горящихъ гонить страхомъ;
Отъ реву лѣсъ и берегъ дрожить,
И хвостъ песокъ и пыль мутитъ,
Разить, извившись сильнымъ махомъ.

Не мѣдъ ли въ чревѣ Этны ржетъ,
И съ сѣрою кипя, клокочетъ?
Не адъ ли тяжки узы рветъ
И челюсти разинуть хочетъ?
То родъ отверженной рабы,
Въ горахъ огнемъ наполнивъ рвы,

Металлъ и пламень въ долъ бросаетъ,
Гдѣ въ трудъ избранный нашъ народъ
Среди враговъ, среди болотъ,
Черезъ быстрый токъ на огонь дерзаетъ.

За холмы, гдѣ паляща хлябь,
Дымъ, пепелъ, пламень, смерть рыгаетъ,
За Тигръ, Стамбулъ, своихъ заграбь,
Что камни съ береговъ сдираетъ:
Но чтобъ орловъ сдержатъ полетъ,
Такихъ препонъ на свѣтѣ нѣтъ;
Имъ воды, лѣсъ, бугры, стремнины,
Глухія степи, равень путь:
Гдѣ только вѣтры могутъ дуть,
Проступятъ тамъ полки орлины.

Пускай земля какъ Лонтъ трясетъ,
Пускай вездѣ громады стонутъ,
Премрачный дымъ покроетъ свѣтъ,
Въ крови молдавски горы тонутъ:
Но вамъ не можетъ то вредить,
О Россы, васъ самъ рокъ покрыть
Желаетъ для счастливой Анны.
Уже вашъ къ Ней усердный жаръ,
Быстро проходитъ сквозь татаръ,
И путь отворенъ вашъ пространнѣй.

Скрываетъ лучъ свой въ волны день,
Оставивъ бой ночнымъ пожарамъ;
Мурза упалъ на долгу тѣнь;
Взять купно свѣтъ и духъ Татарамъ;

Изъ лывъ густыхъ выходить волкъ
На блѣдный трупъ въ турецкій полкъ.
Иной въ послѣднн видя зорю;
Закрой, кричить, багряный видъ,
И купно съ нимъ Магмедовъ стыдъ,
Спустись поспѣшно съ солнцемъ къ морю.

Что такъ тѣснить боязнъ мой духъ?
Хладѣютъ жилы, сердце ноетъ!
Что бьетъ за страшный шумъ въ мой слухъ?
Пустыня, лѣсъ и воздухъ воетъ!
Въ пещеру скрылъ свирѣпство звѣрь
Небесная отверглась дверь;
Надъ войскомъ облакъ вдругъ развился,
Блеснулъ горящимъ вдругъ лицомъ;
Омытымъ кровію мечемъ
Гоня враговъ, герой открылся.

Не сей ли при донскихъ струяхъ
Разсыпалъ вредны Россамъ стѣны?
И Персы въ жаждущихъ степяхъ
Не симъ ли пали пораженны?
Онъ такъ къ своимъ взиралъ врагамъ,
Какъ къ готскимъ приплывалъ брегамъ;
Такъ сильно возносилъ десницу,
Такъ быстрый конь его скакалъ,
Когда онъ тѣ поля топталъ,
Гдѣ зримъ всходящу къ намъ десницу.

Кругомъ его изъ облаковъ
Гремящіе перуны блещутъ,
И чувствуя приходъ Петровъ,
Дубравы и поля трепещутъ.
Кто съ нимъ толь грозно зрѣтъ на югъ,
Одѣянь страшнымъ громомъ вкругъ?
Никакъ смиритель странъ казанскихъ?
Каспійски воды, сей при васъ
Селима гордаго потрясъ,
Наполнилъ степь головъ поганскихъ.

Герою молвилъ тутъ герой:
„Не тщетно я съ тобой трудился,
Не тщетенъ подвигъ мой и твой,
Чтобъ Россовъ цѣлый свѣтъ страшился,
Черезъ насъ предѣлъ нашъ сталъ широкъ,
На сѣверъ, западъ и востокъ.
На югъ Анна торжествуетъ,
Покрывъ своихъ побѣдой сей.“
Свилася мгла, герои въ ней;
Не зрѣтъ ихъ око, слухъ не чуетъ.

Крутитъ рѣка татарску кровь,
Что протекала между ними;
Не смѣя въ бой пуститься вновь,
Мѣстами врагъ бѣжитъ пустыми,
Забывъ и мечъ, и станъ, и стыдъ,
И представляетъ страшный видъ

Въ крови друговъ своихъ лежащихъ.
Уже трянувшись легкій листъ,
Страшитъ его, какъ ярый свистъ
Быстро сквозь воздухъ ядръ летящихъ.

Шумить съ ручьями боръ и доль:
Побѣда, русская побѣда!
Но врагъ, что отъ меча ушолъ,
Бои́тся собственнаго слѣда.
Тогда, увидѣвъ бѣгъ своихъ,
Луна стыдилась сраму ихъ,
И въ мракъ лицо, зардѣвшись, скрыла!
Летаетъ слава въ тѣмѣ ночной,
Звучить во всѣхъ земляхъ трубой:
Коль Росская ужасна сила!

Вливаясь въ понтъ, Дунай реветъ,
И Россовъ плеску отвѣщаетъ,
Ярся волнами Турка лѣтъ,
Что стыдъ свой за него скрываетъ.
Онъ рыщетъ какъ пронзенный звѣрь,
И чае́тъ, что уже теперь
Въ послѣдній разъ заноситъ ногу.
И что земля его носить
Не хочетъ, что не могъ покрыть;
Смущаетъ мракъ и страхъ дорогу.

Гдѣ нынѣ похвальба твоя?
Гдѣ дерзость? гдѣ въ бою упорство?
Гдѣ злость на сѣверны края?
Стамбуль, гдѣ нашихъ войскъ презорство?

Ты лишь своимъ велѣлъ ступить,
Насъ тотчасъ чаялъ побѣдить;
Янычаръ твой свирѣпо злился,
Какъ тигръ на Россій полкъ скакалъ.
Но что?—внезапно мертвъ упалъ,
Въ крови своей пронзенъ залился.

Цѣлуйте ногу ту въ слезахъ,
Что васъ, Агаряне, попраля;
Цѣлуйте руку, что вамъ страхъ
Мечемъ кровавымъ показала.
Великой Анны грозный взоръ
Отраду дать просящимъ скоръ;
По страшной тучѣ возсіяетъ,
Къ себѣ повинность вашу зря,
Къ своимъ любовію горя,
Вамъ казнь и милость общаетъ.

Златой уже денницы перстъ
Завѣсу свѣта вскрылъ съ звѣздами;
Отъ востока скачетъ по стѣ верстъ,
Пуская искры конь ноздрямъ,
Лицемъ сіяетъ Фебъ на томъ:
Онъ пламеннымъ потрясъ верхомъ;
Преславно дѣло зря, дивится:
„Я мало таковыхъ видалъ
Побѣдъ, коль долго я блисталъ,
Коль долго кругъ вѣковъ катился.“

Какъ въ клубъ змія себя крутить,
Шипитъ, подъ камень жало кроетъ,
Орель, когда шумя летитъ,
И тамъ паритъ, гдѣ вѣтръ не воетъ,
Превыше молній, бурь, снѣговъ,
Звѣрей онъ видитъ, рыбъ, гадовъ.
Предъ Росской такъ дрожитъ орлицей,
Стѣсняетъ внутрь Хотинъ своихъ.
Но что? въ стѣнахъ ли можетъ сихъ
Предъ сильной устоять Царицей?

Коль скоро толь тебя, Калчакъ,
Учить Россійской вѣдаться власти,
Ключи вручить въ подданства знакъ,
И большей избѣжать напасти?
Правдивый Аннинъ гнѣвъ велитъ,
Что падшихъ передъ ней щадить:
Ея взошли и тамъ оливы,
Гдѣ Вислы токъ, гдѣ славный Ронъ,
Мечемъ противникъ гдѣ смиренъ,
Извергли духъ сердца кичливы.

О какъ красуются мѣста,
Что нго лютос сбросили,
И что на Туркахъ тягота,
Которую отъ нихъ носили!
И варварскія руки тѣ,
Что ихъ держали въ тѣснотѣ,

Въ полонѣ уже несутъ оковы!
Что ноги узами звучать,
Которы для отгнанья стадъ
Чужи поля топтать готовы!

Не вся твоя тутъ, Порта, казнь,
Не такъ тебя смирять достойно,
Но большу нанести боязнь,
Что жить намъ не дала спокойно.
Еще высокихъ мыслей страсть
Претить тебѣ предъ Анной пасть.
Гдѣ можешь ты отъ ней укрыться?
Дамаскъ, Каиръ, Аленпъ сгорить;
Обставятъ Росскимъ флотомъ Критъ;
Евфратъ въ твоей крови смутится.

Чинить премѣну что во всемъ?
Что очи блескомъ проникаетъ?
Чистѣйшимъ съ неба что лучомъ,
И дневну ясность превышаетъ?
Героевъ слышу весель крикъ!
Одѣянъ въ славу Аннинъ ликъ
Надъ звѣзды вѣчность вносить круги;
И правда, взявъ перо злато,
Въ нетлѣнной книгѣ пишетъ то:
Велики коль Ея заслуги!

Витѣйство, Пиндаръ, устъ твоихъ
Тяжчае-бъ Оивы обвинили,

За тѣмъ, что о побѣдахъ сихъ
Они-бъ громчае возгласили,
Какъ прежде о красѣ Аоннѣ:
Россія, какъ прекрасный кринъ,
Цвѣтетъ подъ Анниной державой.
Въ китайскихъ чтутъ Ея стѣнахъ,
И свѣтъ во всѣхъ своихъ концахъ
Исполненъ храбрыхъ Россовъ славой.

Россія, коль счастлива ты
Подъ сильнымъ Аннинымъ покровомъ!
Какія видишь красоты
При семъ торжествованьи новомъ!
Военныхъ не страшися бѣдъ:
Бѣжить оттуду бранный вредъ,
Народъ гдѣ Анну прославляетъ.
Пусть злоба, зависть ядъ свой льетъ,
Пусть свой языкъ, ярься, грызетъ,
То наша ярость презираетъ.

Казацкихъ полкъ заднѣстрскій тать,
Разбить, прогнанъ, како прахъ разсѣянъ,
Не смѣетъ больше ужъ топтать,
Съ пшеницей гдѣ покой насѣянъ:
Безбѣдно ѣдетъ въ путь купецъ,
И видитъ край волнамъ пловецъ,
Нигдѣ не зналъ, плывя, препятства.
Красуется великъ и малъ;

Жить хочеть вѣкъ, кто въ гробъ желалъ,
Влекутъ къ тому торжество изрядства.

Пастухъ стада гоняетъ въ лугъ,
И лѣсомъ безъ боязни ходить,
Пришедъ, овецъ пасетъ гдѣ другъ,
Съ нимъ пѣсню новую заводитъ.
Солдатску храбрость хвалить въ ней,
И жизни часть блажить своей,
И вѣчно тишины желаетъ
Мѣстамъ, гдѣ толь спокойно спитъ;
И ту, что отъ враговъ хранитъ,
Простымъ усердьемъ прославляетъ.

Любовь Россіи, страхъ враговъ,
Страны полночной героиня,
Среди пространныхъ морь береговъ,
Надежда, радость и богиня,
Велика Анна! ты добротъ
Сіеешь свѣтомъ и щедротъ!
Прости, что рабъ твой къ громкой славѣ,
Звучитъ, что крѣпость силъ Твоихъ,
Придать дерзнулъ некрасный стихъ,
Въ подданства знакъ Твоей державѣ.

Но Ломоносовъ, и среди этихъ блистательныхъ занятій, среди этихъ громкихъ успѣховъ, не зналъ спокойствія, не зналъ, что такое счастье. Сначала ему полюбилися разгулъ студенческой жизни: онъ

привыкъ отдыхать отъ умственныхъ трудовъ въ живой и вольной бесѣдѣ своихъ товарищей, онъ дѣлилъ съ ними свои мечты, свои огромныя предположенія, и можетъ-быть многіе смѣялись надъ безумнымъ мечтателемъ.

Но среди этого поэтического разгула, среди постоянного труда, его посѣтила еще другая, незнакомая страсть, и бурная душа съ жаркимъ привѣтомъ приняла неожиданнаго гостя.

Что такое любовь? откуда она? гдѣ зарождается? Кто прослѣдитъ ея развитіе, кто разгадаетъ конецъ? Искра, которую нечаянная встрѣча заронила въ грудь, разгорѣлась пожаромъ, обняла душу, охватила умъ. Нѣтъ было, нѣтъ будущаго; въ цѣломъ мірѣ одно только имя; но это имя горитъ алмазными буквами и въ мірѣ звѣздъ, и въ мірѣ души; съ этимъ именемъ сливается все благое, все прекрасное. Какое наслажденіе и знать, и чувствовать, и сказать самому себѣ—она моя! завладѣть этимъ жемчугомъ созданія, оградить его собой отъ людей, хранить для себя и любить всѣмъ пламенемъ безумія! А страшныя томленія ревности, этого грознаго близнеца любви, безъ которато она не существуетъ? Ревновать, завидовать каждой улыбкѣ, каждому мимолетному слову, дрожать при каждомъ взглядѣ, который падаетъ не на меня, плакать кровавыми словами отчаянія, и потомъ можетъ-быть снова блаженствовать въ жаркихъ объятіяхъ возлюбленной. Вотъ любовь!

Ломоносовъ влюбился въ хорошенькую нѣмочку, въ бѣдную дочь своего бѣднаго хозяина. Онъ пишетъ ей стишки, которыхъ она не понимаетъ; онъ шепчетъ

ей слова любви, клянется безумными клятвами страсти и бѣдная Христина отъ души полюбила бѣшеннаго Русскаго. Ломоносовъ женатъ; у Ломоносова дочь. Но въ это время упоительнаго счастья горькая нужда стучится въ двери и нищета со впалыми глазами, съ блѣднымъ, избитымъ лицомъ садится возлѣ несчастнаго мечтателя. Нужда и геній — сестра и братъ. Ужели эта внутренняя борьба, вѣчная и страшная трѣвога ума, не въ состояніи заплатить собой за громкое званіе? Нѣтъ, судьба испытываетъ своихъ избранныхъ и житейскими мелочами. Нужда всегда почти идетъ объруку съ геніемъ. Забота о черствомъ кускѣ хлѣба отрываетъ его отъ высокаго труда, поднимаетъ съ жесткой постели во время мучительнаго сна. Кредиторы съ безконечными счетами, голодъ, тюрьма, невольныя слезы жены, вопли голодныхъ дѣтей... Только тотъ, кто самъ испыталъ всю горечь нищеты, пойметъ всѣ эти ужасы тяжелой и прозаической нужды. Единственный спаситель — терпѣніе; но это невозможная добродѣтель для генія. Терпѣть, склонить покорную голову подъ гнетъ нужды, угождать хлѣбнику, умолять лавочника, который щетинится своимъ грубымъ торжествомъ надъ подавленнымъ великимъ умомъ, на все это не было ни силъ, ни воли у Ломоносова. Въ этомъ ужасномъ положеніи онъ рѣшился убѣжать изъ Марбурга въ Россію. Но каково было ему оставить бѣдную жену и малютку дочь, безъ помощи, безъ покровителей, безъ хлѣба. Какія страшныя мысли должны были проходить по бурной его головѣ! Бѣдная Христина, безъ ропоту, безъ слезъ, повиновалась рѣшенію мужа и благословила его на

невѣрный и далекій путь. Она покарялась судьбѣ съ надеждою на лучшее время.

И вотъ Ломоносовъ снова бѣжить, снова перебирается съ мѣста на мѣсто и питается подаваніемъ прохожихъ. Разъ, на ночлегѣ, онъ застаётъ веселую толпу гулякъ, которые съ радушіемъ приглашаютъ его дѣлать съ ними сытный ужинъ и вкусное вино. Ломоносовъ радъ отвести душу, и съ благодарностью принимаетъ ласковое приглашеніе своихъ новыхъ друзей; онъ выпиваетъ стаканъ за стаканомъ; лицо проясняется; улыбка бѣжитъ по устами; онъ веселъ; онъ снова полнъ надеждъ, и въ сладкихъ грезахъ о будущемъ счастіи засыпаетъ на рукахъ своихъ друзей, между тѣмъ какъ прусскіе вербовщики проворными иглами пришиваютъ красный воротникъ къ его кафтану.

На другой день новаго рекрута отравили въ крѣпость Везель. И вотъ какими путями ведетъ судьба своего безразсуднаго избранника! Но онъ и тутъ не потеряетъ головы; ему не новость эта борьба съ обстоятельствами; онъ одолѣетъ ихъ; она покоритъ свою судьбу. Безпечнымъ видомъ, веселыми пѣснями освобождается Ломоносовъ отъ бдительнаго надзору; кажется, ему полюбился солдатскій бытъ: онъ съ охотой принимается за новое ремесло, и никто не думаетъ объ его побѣгѣ въ то время, когда Ломоносовъ въ глухую ночь, уже выходитъ изъ крѣпости, крадется мимо стражи, перебирается черезъ валъ, переплываетъ черезъ ровъ и безъ оглядки бѣжитъ къ недалекой границѣ. И вотъ она передъ нимъ: онъ опять на свободѣ!

Съ трудомъ дотащился Ломоносовъ до Амстердама, явился къ графу Головкину, и съ простодушнымъ довѣріемъ описалъ ему свое положеніе. Головкинъ принялъ радушное участіе въ странной судьбѣ своего соотечественника и, по его стараніямъ, Ломоносовъ возвращается наконецъ въ Россію. Съ новыми силами, съ пламеннымъ желаніемъ добра, онъ садится въ свои академическія кресла.

Но тамъ, гдѣ надѣялся видѣть взаимное соревнованіе, онъ встрѣтилъ холодное равнодушіе. Въ цѣлой академіи нѣтъ никакого одушевленія: каждый хлопочетъ только о себѣ; никто не думаетъ объ общемъ благѣ; Ломоносовъ опять одинъ съ своими неотступными мыслями, съ своими бурными страстями и желаніями. Онъ дорожитъ минутой, а его товарищи откладываютъ все на будущее время. Притомъ, новое положеніе Ломоносова, не успокоило его съ прозаической стороны жизни: онъ былъ бѣденъ по прежнему и обогатился только новыми заботами. Въ то же время бѣдные рыбаки изъ Холмогоръ приносятъ ему печальную вѣсть о смерти отца. И страшное горе запало въ душу Ломоносова. Кажется, и люди и судьба вооружились противъ него. Умеръ бѣдный старикъ, котораго онъ покинулъ въ бурные годы безразсудной молодости; умеръ обманутый отецъ, и не оставилъ сыну ни одного слова примиренія. Нѣтъ слезъ у Ломоносова; но нѣмая печаль тяжелѣе громкаго горя. Онъ одинъ безъ отца, безъ жены, безъ участія, одинъ съ своими высокими планами, посреди холодныхъ товарищей, которые идутъ покойнымъ и медленнымъ ша-

гомъ по широкой, утопанной дорогѣ ежедневности.
Нѣтъ ни одной близкой души, нѣтъ ни одного друга!

Но въ эти страшныя минуты совершеннаго одиночества, поэзія приноситъ свои вдохновенія и лечитъ надеждами глубокую рану души. *Переложеніе Іова* доказываетъ, что Ломоносовъ писалъ стихи, не только по заказу, но и по внутреннему вдохновенію. Прочитайте со мною этотъ превосходный памятникъ его истиннаго поэтического одушевленія:

О ты, что въ горести напрасно
На Бога ропщешь, человѣкъ!
Внимай, коль въ ревности ужасно,
Онъ къ Іову изъ тучи рекъ!
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь градъ блистая
И гласомъ грома прерывая,
Словами небо колебаль,
И такъ его на распрю звалъ:

Сбери свои всѣ силы нынѣ,
Мужайся, стой и дай отвѣтъ.
Гдѣ былъ ты, какъ я въ стройномъ чинѣ
Прекрасный сей устроилъ свѣтъ;
Когда я твердь земли поставилъ,
И сонмъ небесныхъ силъ прославилъ
Величество и власть мою?
Яви премудрость ты свою!

Гдѣ былъ ты, какъ передо мною
Безчисленны тьмы новыхъ звѣздъ,

Моей возженныхъ вдругъ рукою
Въ обширности безмѣрныхъ мѣстъ
Мое величество вѣщали;
Когда отъ солнца возсіяли
Повсюду новые лучи,
Когда взошла луна въ ночи?

Кто море удержалъ берегами
И безднѣ положилъ предѣлъ,
И ей свирѣпыми волнами
Стремится далѣ не велѣлъ?
Покрытую пучину жглою
Не я ли сильною рукою
Открылъ и разогналъ туманъ,
И съ суши сдвинулъ океанъ?

Возмогъ ли ты хотя однажды
Велѣть ранѣ утру быть,
И нивы въ день томящій жажды
Дождемъ прохладнымъ напоить,
Пловцу способный вѣтръ направить,
Чтобъ къ пристани его поставить,
И тяготу земли тряхнуть,
Дабы безбожныхъ съ ней спихнуть?

Стремнинами путей ты разныхъ
Прошелъ ли моря глубину,
И счелъ ли чудъ многообразныхъ
Стада, ходящія по дну?

Отверзлись ли передъ тобою
Всегдашнею покрыты тьмою
Со страхомъ смертныя врата?
Ты сперъ ли адовы уста?

Стѣсная вихремъ облакъ мрачный,
Ты солнце можешь ли закрыть,
И воздухъ огустить прозрачный,
И молнію въ дождѣ родить,
И вдругъ быстротекущимъ блескомъ
И горъ сердца трясущимъ трескомъ
Концы вселенной колебать
И смертнымъ гнѣвъ свой возвѣщать?

Твоей ли хитростью взлетаетъ
Орель, на высоту паря,
По вѣтру крила простираетъ
И смотритъ въ рѣки и моря?
Отъ облакъ видитъ онъ высокихъ
Въ водахъ и пропастяхъ глубокихъ,
Что я ему на пищу далъ,—
Толь быстро око ты ль создалъ?

Возри въ лѣса на бегемота,
Что мною сотворенъ съ тобой;
Колючій тернъ его охота
Безвредно попираетъ ногой,
Какъ верви сплетены въ немъ жилы.
Отвѣдай ты своей съ нимъ силы!

Въ немъ ребра, какъ литая мѣдь;
Кто можетъ рогъ его сотрѣть?

Ты можешь ли Левіаѳана
На удѣ вытянуть на берегъ,
Въ самой срединѣ океана
Онъ быстрый простираетъ бѣгъ;
Свѣтящимися чешуями
Покрытъ, какъ мѣдными щитами,
Копье и мечъ и молотъ твой
Считаетъ за тростникъ гнилой.

Какъ жерновъ сердце онъ имѣетъ,
И зубы—страшный рядъ серповъ:
Кто руку въ нихъ вложить посмѣетъ?
Всегда къ сраженію онъ готовъ;
На острыхъ камняхъ возлегаетъ,
И твердость оныхъ презираетъ.
Для крѣпости великихъ силъ,
Считаетъ ихъ за мягкій илъ.

Когда ко брани устремится,
То море какъ котелъ кипитъ,
Какъ печь гортань его дымится,
Въ пучинѣ слѣдъ его горитъ;
Сверкаютъ очи раздраженны,
Какъ уголь въ горнилѣ раскаленный
Всѣхъ сильныхъ онъ страшитъ гоня:
Кто можетъ стать противъ меня?

Обширнаго громаду свѣта
Когда устроить я хотѣлъ,
Просилъ ли твоего совѣта
Для множества толикихъ дѣлъ?
Какъ персть я взялъ въ началѣ вѣка,
Дабы создать человѣка,
Зачѣмъ тогда ты не сказалъ,
Чтобъ видѣ иной тебѣ я далъ?

Сіе, о смертный, разсуждая,
Представъ Зиждителю власть,
Святую волю почитая;
Имѣй свою въ терпѣнны часть.
Онъ все на пользу нашу строить,
Казнить кого или поконить.
Въ надеждѣ тяготы сноси,
И безъ роптанія проси.

Наконецъ дѣла Ломоносова позволяютъ ему выпи-
сать жену изъ Германіи, эту бѣдную жену, которая
съ кроткимъ смиреніемъ, безъ ропоту, ожидала пере-
ворота своей печальной судьбы. Съ какою радостью
обнялъ поэтъ милую подругу, которая дѣлила ни-
щету и горе его студенческой жизни, а теперь про-
сила дѣлить съ нимъ новыя заботы, новыя печали его
академической дѣятельности! Это свиданіе казалось
ему улыбкой судьбы и, можетъ-быть, предвѣстникомъ
лучшаго времени. Но академики уже отдѣлялись мо-
ло-по-малу отъ своего запальчиваго товарища, кото-

рый только и думалъ объ улучшеніяхъ и переворотахъ, только и бредилъ переѣмами. Они не хотѣли нарушать своего привычнаго спокойствія для какой-нибудь далекой и невѣрной цѣли. Ломоносовъ спорить, требуетъ, горячится, пишетъ планы за планами; академія прозябаетъ по прежнему и ни одинъ отголосокъ не отвѣчаетъ на громкій вызовъ Ломоносова. Онъ ожидалъ живаго участія, пламеннаго содѣйствія, а встрѣтилъ совершенное равнодушіе. И душа его ожесточилась, озлобилась, заключилась въ самой себѣ. Онъ начинаетъ смотрѣть съ подозрѣніемъ на людей, которые его окружаютъ: его довѣріе убили, уничтожили; онъ хотѣлъ добра и трудовъ, а ему говорили: мы хотимъ спокойствія! Страшный неодолимый недугъ отравляетъ его существованіе. Онъ возненавидѣлъ людей и унизился до несправедливости къ нимъ. Не будемъ обвинять съ излишнею строгостію ослѣпленнаго Ломоносова: онъ хотѣлъ одного добра, а его оттолкнули; у него не было личной цѣли: онъ дѣйствовалъ по убѣжденію страстей и подъ вліяніемъ страшнаго, но благороднаго гнѣва. Я вижу въ письмѣ къ Теплову состояніе его души:

„Я пишу нынѣ къ вамъ въ послѣдній разъ, и только въ той надеждѣ, что примѣчалъ въ васъ и добрыя о пользѣ россійскихъ наукъ мнѣнія. Еще уповаю, что вы не будете больше одобрять недоброхотовъ россійскимъ ученымъ. Богъ совѣсти моей свидѣтель, что я самъ ничего не ищу инаго, какъ только, чтобъ закоренѣлое несчастіе Академіи преклось. Буде-жъ еще такъ все останется и мои пра-

ведныя представленія уничтожены отъ васъ будутъ, то я забуду вовсе, что вы мнѣ нѣкоторыя одолженія дѣлали. За нихъ готовъ я вамъ благодарить приватно по моей возможности. За общую пользу, а особливо за утверженіе наукъ въ отечествѣ и противъ отца своего роднова возстать за грѣхъ не ставлю. И такъ нынѣ изберите любое. Или одобряйте явныхъ недоброхотовъ не токмо учащемуся россійскому юношеству, но и тѣмъ сынамъ отечества, кои уже имѣютъ знатныя въ наукахъ и всему свѣту извѣстныя заслуги, одобряйте, чтобъ Академіи черезъ ихъ противоборство никогда не бывать въ цвѣтущемъ состояніи, и за то ожидайте отъ всѣхъ честныхъ людей и роптанія и презрѣнія; или внимайте единственно дѣйствительной пользѣ Академіи, откиньте льщенія опасныхъ противоборниковъ наукъ россійскихъ, не употребляйте Божіею дѣла для своихъ пристрастій, дайте возрастать свободно насажденію Петра Великаго. Тѣмъ заслужите не только въ прежнемъ прощеніе, но и не малую похвалу, что вы могли себя принудить къ полезному наукамъ постоянству.

Что жъ до меня надлежитъ, то я къ сему себя посвятилъ, чтобъ до гроба моего съ непріятелями наукъ россійскихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать лѣтъ: стоялъ за нихъ смолоду, на старость не покину.“

Но образованные и благомыслящіе люди и просвѣщенные вельможи уважали Ломоносова за прямоту и благородную гордость, съ которой онъ выступалъ передъ ними. Это непривычное явленіе обратило на

него вниманіе людей, которые по образцу какого-нибудь профессора элоквенціи смотрѣли на поэта и ученаго съ комической стороны, какъ на наемнаго потѣшника своихъ своенравныхъ прихотей. Между этими вельможами И. И. Шуваловъ отъ всей души полюбилъ Ломоносова: съ усердіемъ друга выслушивалъ онъ всѣ его жалобы, дѣлилъ его огорченія, заботился и помогать словомъ и дѣломъ. Онъ ободрялъ Ломоносова въ минуты отчаянія, оживлялъ его дѣятельность, подстрекалъ самолюбіе, и Ломоносовъ трудился, работалъ, создавалъ граматику, писалъ исторію, преподавалъ химію, вмѣстѣ съ Франклиномъ изобрѣталъ громовые отводы. Близкія сношенія съ вельможами имѣли въ тоже время и свою непріятную сторону. Бояры по-своему смотрѣли на поэта: при каждомъ случаѣ пользовались они его поэтическимъ дарованіемъ. Не проходило маскарада, не было иллюминаціи безъ торжественной оды. Ломоносовъ писалъ стихотворенія на заказъ; поэзія сдѣлалась для него ремесломъ. Не трудно понять послѣ этого, почему мы не находимъ въ этихъ стихотвореніяхъ никакого поэтическаго одушевленія. Ломоносовъ проклиналъ свое дарованіе, униженное до званія наемнаго ремесла. Цѣлый день онъ занимался составленіемъ мозаической картины, работалъ въ химической лабараторіи, писалъ свои огромные планы; подъ вечеръ наблюдалъ за теченіемъ звѣздъ; приходитъ ночь, и онъ садится за сочиненіе торжественной оды, съ отчаяніемъ грызетъ перо, и пишетъ громкія слова и портитъ бумагу заказаннымъ стихомъ. И среди этаго ужаснаго положе-

ніа, недовѣріе къ самому себѣ, недовѣріе къ другимъ, вѣчныя неудачи, борьба съ врагами, сознаніе собственный немощи противъ общаго потока! Нѣтъ, не будемъ осуждать Ломоносова за его несправедливость къ Миллеру и Шлёцеру!

Миллеръ доказывалъ, что Руссы происходили отъ Скандинавовъ. Въ то время это мнѣніе оскорбляло національную гордость, которая не хотѣла признать враждебную Швецію своей родоначальницей. Запальчивый Ломоносовъ съ жалкимъ ослѣпленіемъ схватился за эту страшную пружину, и написалъ свою грозную филиппику противъ Миллера, котораго за полезный ученый трудъ наказали лишеніемъ чина и уничтоженіемъ его диссертациі, оскорбляющей русскую народность. Еще неосновательнѣе поступилъ Ломоносовъ въ отношеніи къ Шлёцеру, который съ многосторонними филологическими свѣденіями принялся за изученіе русскаго языка. Вотъ какъ онъ разбиралъ грамматику Шлёцера:

„1. Хотя всякъ россійскому языку искусной легко усмотрѣть можетъ, коль много нестерпимыхъ погрѣшностей въ сей печатающейся безпорядочной грамматикѣ находится, показующихъ сочинителевы великіе недостатки въ таковомъ дѣлѣ; но больше удивится его неразсудной наглости, что зная свою слабость и вѣдая искусство, труды и успѣхи въ словесныхъ наукахъ природныхъ Россіянъ, не обвинулъ приступити къ оному, и какъ бы нѣкоторой пигмей поднялъ антиійскія горы.

2. Но больше всего оказывается не токмо незнаніе, но и сумасбродство въ произведеніи словъ російскихъ. Кромѣ многого, что развратно и здравому разсудку противно, внесены еще ругательныя чести и святости разсужденія, что видно изъ слѣдующихъ примѣровъ:

Стр. 58. Бояринъ, производится 1) отъ дурака, 2) отъ барана.

Стр. 38. Слово *Король* производится отъ слова *Kerl*.

Стр. 89. Напечатано ругательнымъ образомъ: высочайшій степень російскаго дворянства, князь кажется быть тоже, что по нѣмецки *Knecht* (холопъ).

3. Изъ сего заключить должно, какихъ гнусныхъ пакостей не наколобродить въ російскихъ древностяхъ такая допущенная въ нихъ скотина.“

Я съ умысломъ не говорю о томъ, откуда этотъ безбожный Шлѣцеръ производилъ нашу идеальную поэтическую *дѣву*. У него были на это различные способы; но вѣкъ нашъ всѣ ихъ отвергаетъ съ ужасомъ, и я въ этомъ единственномъ случаѣ отъ всей души подписываю жестокое обвиненіе Ломоносова, который отъ себя прибавляетъ слѣдующее замѣчаніе къ объясненію Шлѣцера:

„Дивно, что сумазброду не пришло въ голову слово *Deufel*; оно ближе будетъ по его мечтаніямъ къ дѣвѣ, *Dieb* и прочія.“

Между тѣмъ и Императрица обратила вниманіе свое на Ломоносова, одобрила многія идеи его и покровительствовала имъ. Счастіе, кажется, улыбнулось

наконецъ Ломоносову; онъ въ чинахъ, онъ профессоръ; онъ даже богатъ. Его любитъ дворъ, ласкаютъ вельможи. Стокгольмская академія посылаетъ ему свои дипломы; Болонія избираетъ своимъ академикомъ. Слава его распространилась не по одной Россіи: и Европа отличала Ломоносова. Слава—громкое слово, написанное огненными буквами человѣческаго самолюбія. Слава—награда генія за всѣ его борьбы и лишенія. Но она не радуетъ Ломоносова, не утѣшаетъ его, не наполняетъ души. Онъ искалъ не славы, не похвалъ, а добра и участія. И осуществились ли его планы? исполнились ли его начинанія? Онъ только бросилъ сѣмя раздору, только разшевелилъ страсти, только разбудилъ ненависть къ себѣ. А труды его не принесли плодовъ. Они созрѣютъ со временемъ; но онъ уже не увидитъ ихъ, не утѣшится ими. Одна только женщина во всей Россіи вполне поняла Ломоносова; эта женщина была Екатерина. Она оцѣнила его бурную дѣятельность, его предположенія, его вѣчныя, неотступныя требованія перемѣнъ и улучшеній. Она озарила послѣдніе годы его тревожной жизни своими милостями. Она сама посѣтила скромный домикъ Ломоносова, и онъ съ умиленіемъ любовался на державную гостью и дрожащими устами шепталъ снова вдохновенные стихи:

Геройство съ кротостью, съ премудростью щедроты,
Соединенныя монаршеской доброты,*
Въ благоговѣніи, въ восторгѣ зрять сей домъ,
Рожденнымъ отъ наукъ усердствуя плодомъ.

Блаженства новаго и дней златыхъ причина,
Великому Петру во слѣдъ Екатерина
Величествомъ своимъ снисходитъ до наукъ
И славы праведной усугубляетъ звукъ.
Коль счастливъ, что могу быть въ вѣчности свидѣтель,
Богиня, коль твоя высока добродѣтель!“

Посѣщеніе великой женщины одушевило Ломоносова новымъ огнемъ; онъ готовился благодарить ее новыми трудами, но не такъ опредѣляла судьба. Онъ былъ уже ненуженъ ей; онъ совершилъ свое назначеніе; онъ разбудилъ русскій умъ отъ дремоты; преобразавалъ языкъ, бросилъ наукѣ новые вопросы, разрѣшилъ старые, разшевелилъ страсти и дѣятельность, подвинулъ Россію. Онъ кончилъ свое дѣло, и судьба не спрашиваетъ, доволенъ ли онъ собой, таятся ли въ немъ зародыши новыхъ трудовъ: она довольна имъ; онъ совершилъ ея предначертанія, исполнилъ ея желѣзную волю. Теперь онъ слабъ, старъ и хилъ; теперь онъ уже ей ненуженъ и она бросаетъ своего избранника, пока смерть не сжалится надъ нимъ, не приметъ усталаго странника въ свои холодныя объятія.

Велика и торжественна кончина генія. Безсмертная душа отходитъ отъ брэннаго тѣла; совершается таинственное разстленіе двухъ міровъ, міра духовнаго и міра тѣлеснаго. Но чѣмъ занята предсмертная дума Ломоносова? Кто разгадаетъ послѣдніе безмолвные порывы этой могучей души? А ежели она оставляетъ его, какой была и при жизни, недовольная, неудовлетворенная? А ежели и онъ умираетъ съ горькимъ

отчіяніемъ, зачѣмъ не совершились несбыточные мечты его?.....

Печальная процессія тянется къ Невскому монастырю. За гробомъ идетъ вся столица, идетъ весь изящный свѣтъ. Чей это гробъ? Кого хоронятъ? Разступись, любопытная толпа! поклонись съ обнаженной головой! То гробъ великаго человѣка! То хоронятъ Ломоносова! А вы откуда, блистательные спутники смиреннаго гроба? Васъ не было при жизни поэта, когда онъ нуждался, когда боролся, когда страдалъ. Васъ не было и у одра болѣзни, когда отходила великая душа. Откуда вы и зачѣмъ? Вамъ здѣсь не мѣсто. Вы замараетесь объ засаленный тулупъ какаго-нибудь холмогорскаго родственника Ломоносова. Только одинъ между вами идетъ по праву за гробомъ мертваго друга. Но этотъ не скрываетъ горя, не ханжитъ, а плачетъ откровенными слезами: онъ понялъ свою потерю, понимаетъ потерю Россіи! Да, плачь благородный Шуваловъ! ты идешь за гробомъ великаго человѣка, которой удостоилъ тебя имени друга!

Литературная и ученая дѣятельность Ломоносова обнимаетъ почти всѣ отрасли человѣческаго знанія. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которыхъ многостороннія дарованія не удовлетворяются однимъ предметомъ, одной наукой. Такіе энциклопедическіе умы никогда не прослѣдятъ какой нибудь отдѣльной науки во всей ея полнотѣ, никогда не ограничатся предѣлами одинокаго изслѣдованія: они обнимаютъ всѣ явленія умственнаго міра, творятъ по всемъ отраслямъ

знанія, и оставляють огромный запасъ неконченныхъ трудовъ. Такіе умы необходимы при началѣ умственнаго развитія каждаго народа; необходимы потому, что они своими попытками возбуждаютъ общую дѣятельность по всѣмъ частямъ, по всѣмъ направленіямъ. И въ этомъ состоитъ ихъ главное назначеніе. Они никогда не будутъ тѣми свѣтилами науки, которыя озаряютъ ее своими лучами во всей полнотѣ и на долгое время подвигаютъ впередъ; но безъ нихъ не объясните явленія такихъ свѣтилъ; безъ нихъ нѣтъ движенія и нѣтъ успѣху. Эти многосторонніе умы необходимы для общаго переворота науки, для общей образованности цѣлаго народа. Они готовятъ дороги, прокладываютъ пути, возбуждаютъ умственную дѣятельность и соревнованіе.

Такимъ явился и Ломоносовъ. Россія стоитъ на порогѣ европейской образованности. Ея могущественная политика утвердилась на прочныхъ началахъ, и народъ кипитъ живыми, свѣжими силами, и спаханное поле ждетъ могучаго посѣву. Молодая академія славится европейскими учеными. Тамъ работаютъ Бернулли и Эйлеръ. Но ихъ труды, ихъ дѣятельность, принадлежатъ одной наукѣ, а не народу; они трудятся для цѣлаго міра, а не для отдѣльной націи, которая требуетъ непосредственнаго вліянія и прямого развитія. И вотъ изъ бѣдной хижины холмогорскаго рыбака выходитъ Ломоносовъ, съ этой всеобъемлющей головой, непреклонной волей, съ этимъ пламеннымъ воображеніемъ, полный представитель народа, который почувствовалъ необходимость образованія. Ломо-

носовъ съ жаромъ принимается за книги, изучаетъ все, обнимаетъ цѣлый міръ науки, торопится, какъ-будто боится, что у него не станетъ ни силъ, ни времени на исполненіе своей высокой цѣли. Онъ нападаетъ на предразсудки вѣка, ломаетъ преграды, разбиваетъ цѣпи, борется съ препятствіями, и передаетъ своей землѣ въ наслѣдіе жажду знанія и потребность умственнаго развитія, необходимыя условія образованности. Грубый языкъ мѣшаетъ изложенію новыхъ идей: Ломоносовъ становится его преобразователемъ; онъ даетъ русской поэзіи новую форму, новыя размѣры, даетъ языку грамматику, въ то время необходимую, пишетъ риторику. Онъ не поэтъ въ тѣсномъ значеніи слова; но языкъ его поэзіи ближе къ намъ, чѣмъ языкъ Державина; въ его стихотвореніяхъ попадаются такіе строки, которыя кажется произведеніемъ одного изъ самыхъ новыхъ и свѣжихъ нашихъ поэтовъ. Прочтите только эти четыре строки:

„Возмогъ ли ты хотя однажды
Велѣть ранѣ утру быть,
*И нивы въ день томлящей жажды
Дождемъ прохладнымъ напоить?*“

Вы почти не вѣрите, что онѣ уже сто лѣтъ прожили въ нашей литературѣ. Проза его устарѣла болѣе, можетъ-быть потому, что для нея онъ заимствовалъ образцы у Цицерона, у Плинія, а латинскіе періоды не въ духѣ нашего языка. Но дѣло шло тогда не о послѣднемъ, крайнемъ, развитіи языка, а только о

совершенномъ переворотѣ, и этотъ переворотъ сдѣланъ Ломоносовымъ. Сличите только какое-нибудь изъ его сочиненій съ книгами его современниковъ, и вы увидите разницу.

Ломоносовъ создалъ себѣ языкъ и началъ писать. Мы знаемъ его многостороннюю дѣятельность: онъ былъ и химикъ, и физикъ, и астрономъ, писалъ исторію и дѣлалъ мозаическія картины. Онъ написалъ разсужденіе о воздушныхъ явленіяхъ, создалъ новую теорію свѣта, и въ одно время съ Франклиномъ думалъ о громовыхъ отводахъ. Много ли осталось отъ этихъ трудовъ? Много ли перешло отъ нихъ въ неотъемлимое наслѣдіе, въ постоянное владѣніе науки? Существеннаго, быть-можетъ, ничего. Наука пошла своимъ путемъ; старыя идеи смѣнились новыми, границы разступились, надъ ней совершались непреложныя законы общаго развитія. Но не въ этомъ отношеніи дорого для насъ имя Ломоносова и его вліяніе.

Онъ занималъ почетное мѣсто между знаменитѣйшими учеными своего времени. Въ этомъ удостовѣряетъ безпристрастное мнѣніе Эйлера о трудахъ Ломоносова:

Toutes ses pièces sont non seulement bonnes, mais très excellentes, car il traite les matières de la physique et de la chimie les plus interessantes, et qui sont tout-à-fait inconnues et inexplicables *aux plus grands genies*, avec tant de solidité que je suis tout-à-fait convaincu de la justesse de ses explications. A cette occasion je dois faire justice à Mr. Lomonosoff qu'il possède le plus heureux génie pour decouvrir les

phenomènes de la physique et de la chimie; et il seroit à souhaiter que toutes les autres academies fussent en état de produire des découvertes semblables à celle que monsieur Lomonosoff vient de faire.

Н. М. ЯЗЫКОВЪ.

(С.-Пет. Вѣд. 1847 г. № 5).

Языковъ умеръ. Время идетъ, не останавливаясь, и въ какія нибудь двадцать лѣтъ рождается, живетъ и вымираетъ цѣлая эпоха нашей литературы. *Баратынскій*, *Дельвишъ* и *Языковъ* были сподвижниками *Пушкина*, яркими спутниками великаго свѣтила; они трудились вмѣстѣ съ нимъ, строили одно и тоже зданіе и вознесли Русскую поэзію на новыя, до нихъ не тронутыя ступени ея развитія. И вотъ не много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Русская земля впервые огласилась ихъ новыми, не слыханными пѣснями, съ тѣхъ поръ какъ Русское ухо полюбило стройные звуки этихъ пѣсенъ; а между тѣмъ въ эти не многіе годы цѣлая, блистательная эпоха нашей литературы уже совершила свою судьбу; родилась, развилась и умерла; она бросила могучее сѣмя на богатую землю и это сѣмя разрослось, принесло плодъ, и вымерло.

Другіе вопросы волнуютъ и двигаютъ молодое поколѣніе, другіе имена вытѣсняють старыя. И что же мы скажемъ теперь надъ могилою послѣдняго поэта этой блистательной эпохи, которая такъ близка по времени и такъ уже далека отъ насъ по содержанію? Добромъ или зломъ помянемъ мы эту поэзію; благословимъ ли ея дѣятелей, или отвернемся отъ нихъ равнодушно и холодно?

Намъ нечего дѣлать съ мертвецами; намъ некогда помнить; мы идемъ впередъ и не хотимъ опоздать въ общемъ дѣлѣ жизни и движенія. Въ этой тяжбѣ прошедшаго мы не примемъ участія и лучше грязью закидаемъ имена, которыя намъ мѣшаютъ. Что нужды, если мы сами ничего не создадимъ, если мы сами плохіе работники, бѣдные строители? Что нужды, если мы не выведемъ новаго зданія, не замѣнимъ имъ стараго, разбитаго дома? Что нужды, если между опрокинутыми кумирами незаслужившихъ знаменитостей ляжетъ и дорогое имя и благородный трудъ? Намъ некогда разбирать; мы дѣлаемъ свое дѣло, совершаемъ свое призваніе. Но грустно и жалко то призваніе, которому дана только власть отрицанія, которому суждено только разрушать и осмѣивать. Горька эта доля и въ жизни и для искусства, тяжело это время попытокъ и начинаній, для которыхъ еще не отыскалось мѣсто въ дѣйствительной жизни, не созрѣла обшество, не приготовился и не укрѣпился народъ.

Страшно и больно слѣдить за положеніемъ художника, поэта, литератора, который носитъ въ груди великія, пророческія мысли и силится перелить ихъ

въ звуки, краски и слова, въ такое время, когда его народъ еще не способенъ понимать этого новаго созданія и равнодушно и холодно отвернется отъ чуждаго міра художника. Суетенъ и безплоденъ его благородный трудъ, худо примется сѣмя плодотворное, но не принаровленное къ землѣ, куда оно брошено. Бѣденъ и жалокъ поэтъ или художникъ, который натягиваетъ нужды своего поколѣнія на колодку старыхъ потребностей, или зоветъ его назадъ и останавливаетъ на вѣчномъ пути движенія и развитія; онъ изъ зрѣлаго мужа дѣлаетъ ребенка, на плеча взрослого человѣка накидываютъ дѣтскую куртку. Но смѣшенъ и тотъ, кто перескакиваетъ однимъ прыжкомъ чрезъ цѣлыя столѣтія, рядить татарина въ платье француза, надѣваетъ на ребенка маску старика и самодовольно тѣшится надъ несбыточными мечтами. Пусть каждый стоитъ на своемъ мѣстѣ, вѣренъ себѣ и времени, въ которомъ онъ живетъ, въ борьбѣ съ его предразсудками и нуждами, вѣчно совершенствуясь, вѣчно развиваясь; пускай поэтъ двигаетъ и волнуетъ свое поколѣніе, предугадывая его потребности, горькой правдой подстрекая лѣнь, смѣлой укоризной подстрекая общественные недуги; но если онъ потребуетъ невозможнаго, если задушить зародышъ или приневолить его къ насильственному развитію, — его назначеніе пропадетъ, его призваніе ложно, его трудъ отвергнется и будетъ смѣшенъ и бесполезенъ, тѣшится-ли онъ въ прошедшемъ, донъ-кихотствуетъ-ли въ будущемъ.

Если вы молоды и чувствуете призваніе, не только литераторствовать, но и быть литераторомъ въ луч-

шесть значеніи слова, — идите смѣло и гордо по тому пути, который вы избрали по сердцу и совѣсти; говорите слово правды, стойте за убѣжденія свои; но не смотрите съ презрѣніемъ на того, кто идетъ своей дорогой, кто стоитъ за свое мнѣніе, столько же добросовѣстное, какъ и ваше. Уважайте заслугу и тамъ, гдѣ она трудится не для васъ, а противъ васъ; иначе вы будете жалки и слабы, вы не подвинете дѣла вашего мелкими средствами мелкаго самолюбія, но вы очерните его празднословнымъ ругательствомъ, вы унижите его до литературнаго гаерства.

На всѣ эти грустныя мысли навела меня кончина *Языкова*, одного изъ замѣчательныхъ сподвижниковъ *Пушкина*. При насъ и передъ нами мало-по-малу проходила вся эта блистательная эпоха русской литературы, все тише и тише раздавались ея предсмертныя пѣсни, и она еще не успѣла досказать своего послѣдняго слова, какъ уже поднялись крики и обвиненія, послышались насмѣшки и понизились ея забытыя заслуги. Мало заботились о томъ, что совершила эта литературная эпоха, а выставили на показъ только то, что она не сдѣлала; никто не спрашивалъ, выразила ли она нужды своего времени, но обвинили ее за то, что она не угадала нашихъ потребностей и нашего направленія. Она обогатила нашъ языкъ, расширила его и очистила; она первая заговорила сильно, гордо и просто; она установила звучный русскій стихъ и перелила въ него могучее чувство; она отразила въ своихъ произведеніяхъ время и общество, которому принадлежала; она сдѣлала все то, что и мы теперь дѣлаемъ,

согласно съ условіями нашего времени, и что будетъ дѣлать всякая новая литературная эпоха. Что нужды и что пользы? Ея направленія было невѣрно; вопросы, которые ее волновали, были ложны, ея намѣренія мелочны, ея желанія безсмысленны; мы бранимъ ее, и насъ будутъ бранить; мы смѣемся надъ ней, и надъ нами будутъ смѣяться; мы презираемъ ее, потому что она осмѣлилась думать по своему, а не по-нашему.... дай-то Богъ, чтобы надъ нами когда нибудь не произнесли такого же суда!

Между всѣми литературными знаменитостями этой эпохи, имя *Языкова* въ особенности навлекло на себя строгій судъ этихъ призванныхъ и непризванныхъ цѣнителей искусства. Его лирическое дарованіе было осмѣяно и перетолковано: и буйные пѣсни его молодости, и болѣе строгія вдохновенія зрѣлаго возраста равно осуждены предъ этимъ неумолимымъ ареопагомъ: даже звучный и энергическій стихъ его не всегда находилъ пощаду предъ высокоуміемъ заносчивыхъ судей. Къ счастью, всѣ эти приговоры не безъ апелляціи, и дарованіе *Языкова* не пострадало подъ дѣтскими ударами; оно осталось въ литературѣ и въ общемъ мнѣніи на томъ же мѣстѣ, на какое поставлено собственною силою; стихи его читаютъ по прежнему и имя его произносится на ряду съ другими, громкими и дорогими именами нашей поэзіи. Талантъ *Языкова* имѣетъ свои достоинства и свои недостатки; но трудно говорить о нихъ въ эту минуту холодно; тяжело надъ свѣжею могилою поэта строго и безпристрастно судить его произведенія. Можетъ быть найдутся охотники на по-

добные подвиги: я не изъ ихъ числа. Друзья поэта, безъ всякаго сомнѣнія издадутъ со временемъ полное собраніе его сочиненій: тогда и сужденіе о нихъ будетъ умістѣе, чѣмъ теперь.

ВЫБРАННЫЯ МѢСТА
ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ
НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ.

(С.-Пет. Вѣд. 1847 г. № 35).

Литераторъ съ огромнымъ дарованіемъ, съ мѣткимъ, наблюдательнымъ взглядомъ, съ рѣшительнымъ направленіемъ и съ твердыми убѣжденіями, шелъ по дорогѣ, на которую ему указывала внутреннее призваніе; знаніе жизни и людей, умѣніе находить смѣшную сторону въ самыхъ мелочныхъ вещахъ, неровный, неправильный, но оригинальный языкъ и рѣзкое, неожиданное остроуміе наложили на всѣ его произведенія особенный, странный, но самостоятельный характеръ. Нѣсколько книгъ, написанныхъ этимъ человѣкомъ, дали ему громкое имя, вѣрныхъ друзей, пламенныхъ поклонниковъ и неумолимыхъ враговъ; его хвалили до нелѣпости, его бранили съ ожесточеніемъ; вся Россія читала его повѣсти; цѣлая школа пошла по его направленію и подражала его приемамъ; каждое новое произведеніе, неконченный отрывокъ, маленькая повѣсть дѣлались

событіемъ въ литературѣ, возбуждали общее вниманіе и пораждали споры. Кажется, все, что только можетъ требовать самое взыскательное самолюбіе, было удовлетворено; всѣ почести и волненія, которыя иногда выпадаютъ на долю литератора, были и его удѣломъ. Но вдругъ этотъ человѣкъ издаетъ новую книгу, печатаетъ нѣсколько писемъ и нѣсколько отдѣльных статей, въ которыхъ онъ съ ожесточеніемъ возстаетъ противъ собственнаго направленія, уничтожаетъ свои произведенія и ругается надъ самимъ собой. Въ этой страшной, удивительной книгѣ, литераторъ съ огромнымъ и признаннымъ дарованіемъ, отрекается отъ самого себя, казнитъ съ непостижимымъ самоотверженіемъ всю свою прежнюю дѣятельность, опровергаетъ и осмѣиваетъ все то, чѣмъ восхищались его поклонники, что съ удовольствіемъ читала вся Россія. Послѣ этого литературнаго ауто-да-фе слѣдуютъ великолѣпныя обѣщанія на будущее время: новыя великія созданія замѣняютъ старыя, ничтожныя произведенія; гордое, испытанное дарованіе развернется съ новыми силами, поднимется и пойдетъ по своему пути; Россія услышитъ великое слово своего учителя, который при самомъ непостижимомъ смиреніи, все-таки признаетъ себя оружіемъ судьбы, призваннымъ для исполненія ея таинственныхъ велѣній. Но пока исполнятся всѣ эти великолѣпныя обѣщанія, пока явятся эти новыя, безсмертныя созданія, литераторъ въ задатокъ будущихъ благъ и въ искупленіе грѣховъ своей молодости издаетъ нѣсколько ничтожныхъ писемъ и нѣсколько странныхъ, замысловатыхъ статей.

Нападая на вкусъ своихъ читателей, издѣваясь надъ похвалами своихъ друзей и отзываясь съ презрѣніемъ о сочиненіяхъ, признанныхъ и одобренныхъ публикой, г. Гоголь поступилъ во всякомъ случаѣ очень невѣжливо, не говоря уже о томъ, что судъ и приговоръ надъ произведеніемъ, изданнымъ для публики, принадлежитъ ей, а не литератору; его книга—достояніе читателей; они рѣшаютъ ея достоинство; ихъ сочувствія опредѣляютъ вѣсъ и мѣсто, какое оно должно занимать въ литературѣ. И если общій голосъ читателей опредѣлилъ значеніе этой книги, если публика, по убѣжденію и сочувствію, дала ей высокое мѣсто, собственное мнѣніе литератора не измѣняетъ этого рѣшенія. Значеніе книги зависитъ отъ вліянія ея на читателей, а не отъ болѣзненной хандры, не отъ разстроеннаго воображенія литератора.

Г. Гоголь увѣряетъ, что всѣ его прежнія произведенія никуда не годятся; читатели говорятъ, что онѣ хороши; и бѣдный литераторъ, не смотря на всѣ свои болѣзненные усилія, по-неволѣ сохраняетъ свое прежнее мѣсто въ литературѣ. Но г. Гоголь не остановился на этомъ уничтоженіи собственнаго дарованія; онъ говоритъ, что для него наступилъ новый, блестятельный періодъ, что отнынѣ сочиненія его примутъ другое, великое направленіе, что вся Россія услышитъ въ нихъ плодотворное слово мудрости: а между тѣмъ первая же книга, которая обозначаетъ этотъ переходъ къ новому періоду его литературной дѣятельности, поражаетъ и самого неопытнаго читателя ничтожнымъ содержаніемъ, пустыми общими мѣстами и нестерпи-

мымъ самолюбіемъ, худо прикрытымъ подъ маской ложнаго, натянутаго смиренія. Много было поэтовъ и литераторовъ, которые въ благородномъ сознаніи собственныхъ силъ смѣло говорили о себѣ; и Державинъ, и Пушкинъ гордъ произносили во всеуслышаніе свое *monumentum sibi exegi*; но никто еще не воздвигалъ такого страннаго памятника своему самолюбію, какъ Гоголь: никто еще подъ видомъ смиренія не расточалъ себѣ такихъ похвалъ и не говорилъ своимъ читателямъ такихъ грубостей, какъ онъ.

Случалось, что человѣкъ, постигнутый болѣзнями, у двери гроба, съ ужасомъ оглядывается назадъ на пройденную дорогу. Вся прошедшая жизнь выдвигалась предъ нимъ въ страшной отвратительной наготѣ; онъ смотрѣлъ съ отчаяніемъ на длинную цѣпь ничтожныхъ и суетныхъ ощущеній, которымъ подчинялись лучшія движенія его души, на грязную картину страстей и разврата, которыя изнурили его молодость и погубили его назначеніе. Случалось, что этотъ человѣкъ искалъ и находилъ успокоеніе въ обѣщаніяхъ религіи, что грустная молитва утѣшала его страждущую душу и онъ съ обновленными силами отрекался отъ всей своей прежней жизни. Тогда душа его смирялась предъ величіемъ этого внутренняго переворота; тихо и стыдливо выражались ея убѣжденія; обращеніе такого человѣка совершалось въ тишинѣ, не раздражая никого, но вынуждая невольно то уваженіе, въ которомъ никогда не отказываютъ твердому и искреннему убѣжденію. Но тамъ, гдѣ нестерпимое самолюбіе выглядываетъ изъ-подъ маски мнимаго смиренія, гдѣ оно

выставляет наконецъ это внутреннее обращеніе и хвастаетъ будущими подвигами, тамъ оно не возбуждаетъ ни довѣрія, ни сочувствія. Безпристрастный человѣкъ холодно отвернется отъ непріятнаго зрѣлища натянутого смиренія и болѣзненныхъ усилій. Самый процессъ подобнаго обращенія, которое совершается передъ публикой, гласно и театрално, равно хвастая старыми грѣхами и новыми добродѣтелями, страненъ и подозрителенъ.

Въ этой новой книгѣ, о которой идетъ рѣчь, господинъ Гоголь принимаетъ важный докторальный тонъ; онъ бесѣдуетъ съ читателями, или вѣрнѣе сказать со всей Россіей, какъ строгій учитель съ маленькими учениками. Онъ оставляетъ намъ свое духовное завѣщаніе, въ которомъ требуетъ, чтобы люди богатые покупали его новыя сочиненія въ числѣ многихъ экземпляровъ и раздавали ихъ тѣмъ, которые не имѣютъ денегъ на приобрѣтеніе этихъ великихъ и необходимыхъ произведеній. Онъ распоряжается сіюимъ портретомъ и велитъ покупать только тотъ, который гравировалъ г. Іорданъ. Онъ проситъ не воздвигать ему народныхъ монументовъ, а лучше остановиться, въ память его, на пути грѣха, окрѣпить мыслию и *вырости духомъ*. Въ этой книгѣ есть цѣлый рядъ писемъ, въ которыхъ онъ проситъ, уговариваетъ, убѣждаетъ, бранитъ и наказываетъ своихъ читателей самымъ домашнимъ образомъ. Въ этой бесѣдѣ учителя съ учениками мѣстами попадаются и похвалы за хорошее поведеніе и успѣхи въ наукахъ. Въ числѣ этихъ примѣрныхъ учениковъ встрѣчаются имена Жу-

ковскаго и Языкова. Вся книга наполнена наставленіями всякаго рода, болѣе или менѣе неосновательными. Понятія г. Гоголя о назначеніи русской литературы и мнѣнія объ Одиссеѣ выказываютъ необыкновенное состояніе его ума и воображенія. Направленіе, которое онъ, повидимому, избираетъ на будущее время, рѣзко противорѣчитъ хвастливому смиренію, съ которымъ онъ говоритъ о самомъ себѣ и о великомъ значеніи будущихъ своихъ произведеній. На слово вѣрить ему въ этомъ случаѣ нельзя, тѣмъ болѣе, что первой неудачный опытъ не можетъ служить залогомъ на будущее время. Если человѣкъ, съ такимъ дарованіемъ какъ Гоголь, захочетъ возбудить довѣріе къ новымъ своимъ убѣжденіямъ, онъ долженъ говорить объ этомъ съ меньшимъ самолюбіемъ и съ большею искренностію. Истинное христіанское смиреніе — великое дѣло; но оно выражается просто и скромно, не хвастаетъ собою, не щеголяетъ своими подвигами. Впечатлѣніе, которое производитъ на читателя новая книга Гоголя, для него невыгодно; оно тяжело и грустно, а не отрадно, не утѣшительно. Въ этой книгѣ слишкомъ мало искренности и слишкомъ много самолюбія, которое рѣзко задѣваетъ читателя, не убѣждая его.

Если Гоголь навсегда сохранить это болѣзненное направленіе, литературная дѣятельность его ограничится такими произведеніями, которыя не будутъ уже принадлежать искусству. Пушкинъ яснѣе всѣхъ понялъ и опредѣлилъ его дарованіе. Гоголь слышалъ это мнѣніе отъ самаго поэта и выражаетъ его слѣдую-

щимъ образомъ: „Онъ мнѣ всегда говорилъ, что „еще ни у одного писателя не было этого дара вы- „ставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить „въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобъ „вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мель- „кнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное „свойство, одному мнѣ принадлежащее и котораго точно „нѣтъ у другихъ писателей. Оно въ послѣдствіи углу- „билось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ „нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я „не въ состояніи былъ открыть тогда и самому „Пушкину.“

Стало быть, вотъ ясное опредѣленіе дорванія Го- голя. Измѣнить ему — значитъ, измѣнить своему назна- ченію, идти наперекоръ своей природѣ и противорѣчить внутреннему призванію. На этомъ широкомъ пути вліяніе Гоголя было сильно и благотѣльно. Обнаруживая безъ жалости всѣ смѣшныя стороны русскаго человѣка, онъ казнилъ ѣдкимъ словомъ всѣ его пошлыя и мелочныя побужденія; самый ничтожный читатель видѣлъ себя въ этомъ неподкупномъ зеркалѣ художника, узнавалъ въ этихъ крупныхъ чертахъ свою уродливую фізіономію и отучалъ себя, изъ одного са- молюбія, отъ своихъ жалкихъ привычекъ, обнаружен- ныхъ съ жестокимъ хладнокровіемъ и выставленныхъ на позоръ и посмѣяніе. И въ этомъ неотступномъ преслѣдованіи всего мелочнаго и жалкаго въ натурѣ русскаго человѣка, заключалось истинное назначеніе Гоголя, прекрасное и художественное по своему ис- полненію, важное и благотѣльное по своему вліянію

на читателей. Гоголь измѣнилъ ему добровольно, а вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнилъ и призванію своему, и искусству. Онъ пошелъ по другой дорогѣ: онъ принялъ на себя роль наставника, забывая, что не всѣ наставленія выслушиваются терпѣливо, когда ихъ произноситъ человѣкъ, призванный для другаго, не менѣе важнаго дѣла. Русская литература и русская публика ожидали отъ Гоголя не назидательныхъ поученій, а смѣлыхъ и вѣрныхъ картинъ нашей мелкой и пошлой жизни. Русскіе читатели уполномочили его на осмѣяніе своей собственной ничтожности и въ этомъ видѣ терпѣливо выслушивали полезные и горькіе уроки. Но для исполненія другихъ обязанностей строгаго религіознаго поученія, на Руси всегда были и безъ сомнѣнія будутъ другіе призванные наставники, которые не нуждаются въ содѣйствіи г. Гоголя, проповѣдая слово истины передъ набожнымъ собраніемъ благоговѣющихъ слушателей.

Э. И. ГУБЕРЪ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

А. Г. ТИХМИНОВА.

Э. И. ГУБЕРЪ.

Средняго, почти высокаго роста, съ широкими плечами, крупными чертами лица, толстымъ носомъ, такими-же губами, съ длинными темно-русыми волосами, беспорядочно разбросанными на головѣ, съ проныцательными и выразительными глазами, навизшими бровями, густыми черными бакенбардами, смуглымъ, желтоватымъ цвѣтомъ лица, въ платьѣ, небрежно надѣтомъ,—вотъ какимъ помнятъ Губера друзья его. Они помнятъ его оригинальный способъ выражаться, рѣзкій тонъ, мѣткость рѣчи, его угрюмость, прерывавшуюся самыми школьническими выходками и рѣзвыми шалостями, его беззаботность; они съ любовью вспоминаютъ о теплотѣ его души, о его художественной натурѣ, которая страннымъ образомъ была прикрыта жесткой, небрежной оболочкой, объ этомъ пламени, который непрестанно горѣлъ въ его груди, объ этой тоскѣ, которая выражалась болѣзненно-жолчно, но не тяжело, не колко, о тѣхъ увлеченіяхъ, къ которымъ была такъ способна душа поэта и которыя свели его въ раннюю могилу, раннюю для множества преданныхъ ему друзей, до такой степени раннюю

для его литературной славы, что ему приходится только теперь, через *двенадцать* лѣтъ послѣ смерти своей, въ первый разъ предстать на судъ критики такимъ, какимъ онъ былъ. Мы говоримъ это потому, что немного знаемъ поэтовъ, которые при жизни печатали-бы такъ мало, какъ Губеръ: въ немъ было много недоувѣрія къ самому себѣ, понятнаго въ такомъ возрастѣ, въ какомъ онъ кончилъ свою жизнь и при той обстановкѣ, при которой онъ провелъ ее. Въ послѣдніе годы своей жизни, талантъ его мучалъ съ каждымъ часомъ; все, написанное имъ въ это время, рущается за справедливость нашихъ словъ. Укажемъ на стихотворенія, помѣщенные нами на 179—190 стр. I тома, на поэму Вѣчный жидъ и пр. Очевидно, что онъ писалъ ихъ въ минуту рѣшительнаго перехода къ самостоятельной зрѣлости своего дарованія, въ минуту знаменательнаго сближенія своего съ жизнью, когда онъ дѣлался законнымъ, а слѣдовательно необходимымъ и вѣрнымъ проявленіемъ ея. Есть что-то сознательно-вдохновенное, могучее въ слѣдующихъ стихахъ его:

Свободенъ я! царей гробница
Не плата мнѣ за пѣснь мою,
За небо божіе какъ птица,
За божій воздухъ я цюю.
Съ дворцовъ высокихъ не гляжу, я
На иноземные края,
Какъ птичка въ гнѣздышкѣ живу я,
Мое богатство—пѣснь моя!

Это уже не юношескій разладъ съ жизнью, не тотъ разладъ, которымъ онъ страдалъ на первыхъ порахъ своей поэтической дѣятельности, когда онъ говорилъ, что „сочувствіе толпы—укоръ поэту“, что „онъ не снесетъ привѣта ея“, что „не для ея крика создана его лира“: это, напротивъ того, такое сознаніе, которое даетъ вѣрное и законное положеніе поэту и его дѣятельности относительно жизни и общества, это такое сознаніе, которое представляетъ намъ совершенно въ новомъ свѣтѣ вѣчную неопредѣленную тоску, непрерывно-грустный тонъ, отличавшій поэзію Губера. Окружающая жизнь не удовлетворяла его, жолчь и ненависть къ неправдѣ кипѣли въ немъ, но, подчиняясь одностороннему пониманію искусства, выражались въ общихъ, неопредѣленныхъ формахъ, съ примѣсю мистицизма, отъ котораго высвободиться стоило ему большаго труда. Этотъ трудъ былъ тяжело-нравственный и мѣшалъ какъ жизни, такъ и творчеству; этотъ вѣчный, непрерывный трудъ образовалъ въ его характерѣ ту странную смѣсь непосредственности съ тяжелыми, угловатыми проявленіями, которая нерѣдко поражала даже друзей его. Отъ этого эти вѣчно-задумчивые взоры, эта небрежность ко всему виѣшнему, эта безпредѣльная беззаботность, эта оригинальная рѣзкость манеръ виѣстѣ съ тонкимъ чутьемъ дружбы, виѣстѣ съ потребностью любви, отъ этого—жолчная блѣдность лица, болѣзненность организма, все то, чѣмъ отличался все-таки незабвенный, всѣми любимый Губеръ.

Къ несчастью, мы не имѣемъ большаго запаса ма-

теріаловъ для біографіи покойнаго поэта: объ немъ такъ мало говорилось и писалось, его жизнь была слишкомъ сосредоточна съ одной стороны и слишкомъ несложна съ другой, чтобы была возможность извлечь откуда-нибудь эти матеріалы. Но мы передадимъ то немногое, что знаемъ, и наши мнѣнія о покойномъ поэтѣ постараемся подкрѣпить авторитетомъ его собственныхъ произведеній и писемъ, которыхъ, къ сожалѣнію, у насъ не болѣе двадцати.

Эдуардъ Губеръ родился 1 мая 1814 года въ нѣмецкой колоніи Усть-Залихъ саратовской губерніи, гдѣ отецъ его былъ пасторомъ лютеранской церкви. Вотъ какъ описываетъ онъ мѣсто своего рожденія въ poemѣ „Антоній,“ которая есть до нѣкоторой степени его автобіографія, какъ мы это ясно увидимъ изъ всего предлагаемаго разсказа.

На Волгѣ бурной и широкой
Лежатъ богатые поля,
Луга шумятъ травой высокой,
Въ цвѣтахъ красуется земля.
Прибрежныхъ горъ сѣдое темя
Кругомъ на стражѣ возлегло;
На тѣ поля чужое племя
Свои пенаты принесло.
Сыновъ Германіи разумной
Сюда Россія созвала
И на долинахъ Волги шумной
Имъ лѣсъ и поле отвела.
Тамъ есть село; я помню живо,

Какъ на зеленыхъ берегахъ
Оно раскинулось красиво
И отражается въ волнахъ:
И въ томъ селѣ, въ иныя годы,
На берёгу, гдѣ плещутъ воды,
Былъ домикъ. (*).

Отецъ его былъ человѣкъ въ высшей степени религиозный и начитанный; кромѣ предметовъ чисто-богословскихъ, чтеніе латинскихъ, греческихъ и нѣмецкихъ классиковъ составляло любимое его занятіе среди мирной и тихой жизни, которую проводилъ онъ въ кругу своего семейства. Оно при рожденіи Эдуарда состояло изъ четырехъ личностей: жены и троихъ дѣтей.

Восемь лѣтъ, прожитыя Эдуардомъ въ своей семьѣ, оставили глубокое впечатлѣніе на его душѣ. Первые уроки чтенія и письма, конечно, на нѣмецкомъ языкѣ, на которомъ исключительно говорилося въ домѣ, получилъ онъ отъ своей матери. Отецъ помогалъ ей въ дѣлѣ воспитанія и вечерними бесѣдами развивалъ ребяческія головки дѣтей своихъ, которыя преисполнены были теплымъ уваженіемъ къ нему.

Онъ былъ еще не старъ годами,
.
Онъ даже молодъ былъ мечтами
И свѣтлымъ взглядомъ на людей;
Онъ вѣровалъ, какъ въ наши годы

(*) См. Т. I. стр. 261—262.

Уже не вѣруеть никто;
Въ могучемъ образѣ природы
Ему являлось божество.....
Онъ былъ ученъ, какъ всѣ пасторы,
Онъ много жилъ и много зналъ,
Любилъ классическія споры
И комментаріи писалъ.....
Ему и книгою настольной
Служилъ божественный Гомеръ;
Поклонникъ греческаго неба,
Цѣнитель строгой красоты,
Онъ не у нынѣшняго Феба
Искалъ восторженной мечты.....(*)

На сколько Эдуардъ уважалъ отца, на столько-же страстно любилъ онъ свою мать. О ней осталось у него на всю жизнь множество теплыхъ воспоминаній; ея свѣтлый образъ утѣшительно рисовался ему среди темныхъ видѣній. Въ своемъ „Антоніи“ онъ изображаетъ ее скромной и благородной семьянишкой, заботящейся о домашнемъ хозяйствѣ, какой она и до сихъ поръ осталась, не смотря на свои старческіе годы. Въ своихъ поэтическихъ воспоминаніяхъ о матери, Губеръ почти постоянно называетъ ее умершей и всѣмъ сердечнымъ недугамъ своимъ находитъ утѣшеніе на *мотивѣ* матери, соединяя съ ней воспоминанье о чистотѣ дѣтства, которое оплакивалъ, какъ прекрасное, но уже исчезнувшее прошлое. Въ этомъ

(*) См. поэму „Антоній“. Т. I стр. 263.

образѣ *умершей* матери, его поэзіи представлялось болѣе возможности выражать свои чувства и грустить о разлукѣ съ ней. Въ поэтѣ-лирикѣ, въ поэтѣ-автобіографѣ, если можно такъ выразиться, такой пріемъ кажется намъ весьма понятнымъ.

Теплая, искренняя любовь выражается въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ гробу матери; даже прахъ ея „дѣлится съ нимъ тоской“, „груститъ съ нимъ вмѣстѣ“, „замѣняетъ друга“; „ему онъ повѣряетъ свои мечты, „муки тяжкаго недуга и боль обидной нищеты.“ (Т. I. стр. 16).

Я помню (говорить онъ) заботы твои!

Ты мною жила и дышала,

Ты въ стужу снимала лахмотья свои

И ими меня одѣвала.

Ты жесткое ложе травой устлала,

Малютку на немъ уложила;

Ты цѣлыя ночи надъ нимъ не спала,

За нимъ и больная ходила. (*)

Въ письмахъ своихъ къ матери, онъ всегда давалъ ей самыя нѣжныя эпитеты, называя ее *безподобной*, *Herzens-Mutter* и т. д. Вотъ, напримѣръ, какъ выразилась эта любовь въ письмѣ его отъ 1837 года:

„Благодарю, тысячу разъ благодарю за вашу нѣжную любовь. Я прочиталъ ваши строки съ истинно-„сладостнымъ чувствомъ. Ваша заботливость вызвала

(*) См. Т. I стр. 46.

„слезы на мои глаза, а я, право, не плаксивой натуре. Много сокровищъ хранить человѣческая память; но самое драгоценное, самое прекрасное изъ этихъ сокровищъ есть святое воспоминаніе о добрыхъ родителяхъ. Я наслаждаюсь этимъ счастьемъ въ высшей полнотѣ его...“

.... „Съ радостнымъ убѣжденіемъ говорю (писалъ онъ въ 1840 г.), что горжусь моими родителями и душевно благодарю Господа, даровавшаго мнѣ такого отца и такую мать. Дѣти составляютъ радость родителей; дѣти должны гордиться родителями.“...(*)

„.... Не говоря уже о томъ (пишетъ онъ отцу своему въ 1835 г.), что я люблю и почитаю васъ, какъ отца, — я не знаю человѣка, котораго я могъ бы любить и уважать наровнѣ съ вами. И кто бы могъ отказать въ высокому уваженіи силѣ вашего характера, величію вашей вѣры, сохранившейся неизмѣнно при самыхъ тѣсныхъ обстоятельствахъ жизни. Это не лесть и не можетъ быть лестью: отецъ не долженъ ожидать ея отъ сына; что я пишу, то пишу отъ души, то чувствую искренно и правдиво. Чудное, горделивое чувство, и я не знаю ему подобнаго — имѣть возможность гордиться своими родителями: я въ полной мѣрѣ надѣленъ этимъ счастьемъ. Взвѣсивая нравственные достоинства моихъ родителей и предковъ, я отъ души дѣлаюсь ревностнѣйшимъ аристократомъ т. е. почитателемъ своего рода.....“

(*) См. С.-Пет. Вѣд. 1847 г. № 157.

Можно сказать, что нѣтъ ни одного письма, въ которомъ Губеръ, хоть невольно, не высказывалъ бы своей любви и благоговѣнія къ родителямъ; онъ повѣрялъ имъ въ подробности всѣ мелочи своей жизни, ея обстановки, свои ощущенья, занятія, планы; съ самой тенлой искренностью испрашивалъ онъ ихъ совѣтовъ. Его отношенья къ семьѣ были до такой степени тѣсно и живо связаны со всѣмъ существомъ его, что, не ограничиваясь виѣшностью, вошли какъ непосредственный элементъ въ его поэзію.

По четвертому году маленькій Эдуардъ по собственной охотѣ началъ учиться читать и часто читалъ вслухъ. „Особенно нравились ему рифмы, говоритъ отецъ Губера въ своей біографической замѣткѣ о сынѣ, помѣщенной въ 157 N^o С.-Пб. Вѣд. за 1847 г. — „напримѣръ, когда ему читали „Заколдованнаго Принца“, то при слѣдующемъ стихѣ:

Er sitzt im Thurn
Und blässt in's Horn,

„онъ невольно и досадуя на то, что тутъ нѣтъ „рифмы, исправлялъ этотъ стихъ и говорилъ:

Er sitzt im *Thorn*
Und blässt in's Horn.

„Слушая чтеніе латинскихъ стиховъ, продолжаетъ рассказывать отецъ: онъ спросилъ однажды, когда „ему минуло только-что пять лѣтъ:

- Папенька, развѣ это тоже стихи?
- Конечно, и даже прекрасные,
- Отчего-же рифмы нѣтъ?

— Латиняне, и преимущественно Виргилій избѣгали рифмъ.

— А кто это Виргилій?

— Это человѣкъ, съ раннихъ лѣтъ говорившій уже стихами и написавшій въ послѣдствіи прекраснѣйшія и благозвучнѣйшія стихотворенія.

— Вотъ какъ! . . . возразилъ Эдуардъ серьезно и задумался.

И въ самомъ дѣлѣ, чуткость уха Губера относительно риѣмъ замѣтно помогали звучности его стиховъ. У него попадаются риѣмы, достойныя Пушкина, что очень важно, если вспомнимъ, что русскій языкъ былъ для Губера все-таки не природнымъ.

Но не одной любовью къ риѣмамъ ограничилась у маленькаго Эдуарда страсть къ стихамъ: на седьмомъ году онъ самъ сталъ сочинять ихъ и записывать въ особую тетрадку. Стихи эти были писаны на латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, а тетрадь носила заглавіе: *„Полное собраніе сочиненій Эдуарда Губера, издать послѣ моей смерти.“* Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ подъ руками этой тетради, но, по свидѣтельству его отца, въ ней заключались разные рассказы, басни, комедіи, трагедіи и пр., и между прочимъ очень-неглупыя стихотворенія, какъ напримѣръ: Осель и Левъ; Скупость; Бѣдность и др.

Въ началѣ 1823 г., когда Эдуарду пошелъ 9-й годъ, отецъ его былъ переведенъ изъ колоніи въ Саратовъ въ званіи пастора и ассессора евангелическо-лютеранской консисторіи. Здѣсь онъ сталъ серьезнѣе заниматься уроками, учился латинскому и греческому

языку у своего отца; но тихая, семейная жизнь все еще продолжала образовывать подъ своимъ влияніемъ дѣтское сердце Эдуарда. Только одно лицо присоединилось къ тѣсному кружку близкихъ къ нему людей. Это былъ *Ниматій Фесслеръ*, человѣкъ европейски-замѣчательный по уму и учености. (*)

(*) Не лишнимъ считаемъ привести здѣсь краткія біографическія извѣстія о человѣкѣ, имѣвшемъ большее влияние на нашего поэта.

Мать Фесслера, католичка, приготовила своего сына быть монахомъ; 17 лѣтъ онъ поступилъ въ орденъ кануциновъ и черезъ 9 лѣтъ опредѣлился въ вѣнскій монастырь. Императоръ Іосифъ, которому онъ открылъ множество злоупотребленій въ монастыряхъ, за что его возненавидѣли монахи, назначилъ его въ 1784 г. профессоромъ восточныхъ языковъ и ветхозавѣтной герменевтики въ лембергскомъ университетѣ. Въ это время онъ сдѣлался массономъ и вслѣдствіе того долженъ былъ выйти изъ ордена кануциновъ. Въ 1787 г. онъ поставилъ на лембергскую сцену свою трагедію „Сидней“, которую враги его прославили безбожной. Благодаря различнымъ интригамъ, онъ долженъ былъ наконецъ оставить свою должность и ѣхать въ Шлезію, гдѣ занимался преподаваніемъ наукъ дѣтямъ наследнаго принца. Въ 1791 г. Фесслеръ сдѣлался протестантомъ и съ 1796 г. сталъ жить въ Берлинѣ. Здѣсь онъ основывалъ разныя благотворительныя общества, занимался вѣстѣ съ Фихте составленіемъ устава для той масонской ложи, къ которой принадлежалъ. Къ этому времени особенно-сильнаго увлеченія массонствомъ принадлежатъ мистическіе романы Фесслера: „Маркъ Аврелій“, „Аристидъ и Фемистоклъ“, „Матвій Корвинъ“, „Аттила“, и пр. Но вскорѣ (въ 1802 г.) онъ оставилъ массонство и вслѣдъ за тѣмъ потерялъ мѣсто совѣтника въ польскихъ провинціяхъ Пруссіи, послѣ чего жилъ въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ частью въ Берлинѣ, частью въ

Онъ соединялъ въ себѣ протестанство съ іезуитскими привычками и массонствомъ, скептецизмъ съ схоластическими предразсудками. Массонскій мистицизмъ по самому существу своему служилъ примѣненіемъ отвлеченныхъ теорій къ социализму; онъ выразилъ собой стремленіе общества реализовать таинственно-туман-

Букновъ. Наконецъ, въ 1809 г., онъ получилъ приглашеніе быть профессоромъ восточныхъ языковъ и философіи при Александро-Невской духовной Академіи въ Петербургъ; но и здѣсь, обвиненный въ безбожіи, онъ потерялъ вскорѣ свою должность, которую принялъ съ охотой, преслѣдуемый прусскимъ правительствомъ. Его назначили членомъ комиссіи о составленіи законовъ, но виѣстѣ съ тѣмъ удалили изъ Петербурга, отправивъ его въ г. Волгскъ Саратовской губерніи съ филантропическою цѣлью. Въ то время въ Волгскѣ жилъ богатый купецъ *Василій Алексѣевичъ Злобинъ*. Разбогатѣвъ въ слѣдствіе различныхъ случайностей, а потомъ откупамъ и подрядами, и сдѣлавшись изъ бѣднаго крестьянина — купцомъ-милліонеромъ, онъ началъ тратить свой капиталъ на различныя благотворительныя и богоугодныя учрежденія. Такъ онъ построилъ въ Волгскѣ Троицкій соборъ, заложилъ церковь, пожертвовалъ Саратовскому Приказу Общественнаго Призрѣнія находившійся въ Саратовѣ собственный его домъ, стоившій 11,000 р., и деньгами 10,000 р. съ тѣмъ, чтобы проценты съ этого капитала были употребляемы на призрѣніе заблѣвшихъ бурлаковъ и оживленіе утопшихъ; еще пожертвовалъ 30,000 р. на устройство больницъ въ городахъ Царицынѣ, Камышинѣ и Хвалынскѣ; строилъ множество каменныхъ строеній въ Волгскѣ на собственный капиталъ для украшенія города, о которомъ хотѣлъ просить, чтобъ его сдѣлали губернскимъ городомъ. Правительство знало и поощряло благотворительность Злобина, но чтобы дать ей болѣе разумное направленіе, съ удовольствіемъ отправило туда Фесслера для содѣйствія цѣлямъ богатаго купца. Но вскорѣ

ные идеалы, блуждавшіе въ его воображеніи, осуществить гуманныя фантазіи; но на самомъ дѣлѣ все это осуществилось въ формахъ устарѣлыхъ, со множествомъ противорѣчій, нелѣпостей, хотя съ одной общей цѣлю, въ высшей степени гуманной и благотворительной. Эта умственная алхимія XVIII столѣтія стала особенно-опаснымъ дѣломъ въ рукахъ молодаго поколѣнія XIX вѣка: мистическій анализъ масоновъ незамѣтно переходилъ въ опредѣленную, строго-логическую философскую теорію и, при переходѣ своемъ, ничѣмъ не умѣлъ замѣнить разрушеннаго прежде.

Вліяніе Фесслера на Губера подтверждается многими фактами, которые впрочемъ встрѣчаютъ себѣ противорѣчія въ отзывахъ семейства покойнаго Эдуарда.

семейныя несчастья и торговыя неудачи разстроили состояніе Злобина и онъ умеръ въ 1814 г., оставивъ нѣсколько миллионъ долгу и нѣсколько несчастныхъ, которые поручались за него. Фесслеръ напутствовалъ старика мистическими образами, которые сдѣлали его передъ смертію задумчивымъ и унылымъ. Въ 1817 г. Фесслеръ отправился въ Сарепту. Здѣсь саратовскій пасторъ Лиммеръ обвинялъ его въ іезуитскихъ стремленіяхъ въ ущербъ протестантизму; но справедливость этого обвиненія осталась недоказанной. Въ 1820 г. Фесслеръ, благодаря ходатайству приверженцевъ своихъ—мистиковъ, сдѣланъ былъ суперинтендантомъ и предсѣдателемъ лютеранской консисторіи въ Саратовѣ; черезъ 3 года послѣ того, отецъ Губера, какъ мы уже сказали, былъ сдѣланъ ассессоромъ той-же консисторіи и молодой Эдуардъ могъ познакомиться съ знаменитымъ ученымъ, авторомъ „Исторіи Венгріи“, человекомъ, обращавшимъ на себя вниманіе цѣлой Европы, фанатически преслѣдовавшемъ свои убѣжденія вопреки препятствіямъ со стороны правительствъ.

Такъ отецъ его отрицаетъ это вліяніе въ статьѣ своей въ Петерб. Вѣд. (N^o 157 за 1847 г.). „Не только изъ разговоровъ съ отцомъ, (писалъ мнѣ Ю. И. Губеръ, братъ поэта): но и по простому наведенію я убѣдился въ ложности этого взгляда. Фесслеръ, какъ мистикъ и католикъ, никогда не былъ въ постоянныхъ отношеніяхъ къ моему отцу, истинному протестанту въ душѣ и заклітому врагу всякой формальности. Отецъ мой имѣлъ напротивъ непріятныя столкновенія съ Фесслеромъ, такъ что въ избѣжаніи ихъ хотѣлъ разъ уѣхать изъ Саратова за границу. Фесслеръ бывалъ у насъ въ домѣ рѣдко... Въ Петербургѣ Эдуардъ первыя четыре года не видалъ Фесслера и только съ офицерскихъ классовъ корпуса сталъ посѣщать его. Спору нѣтъ, что вліяніе Фесслера должно было проявиться и проявилось въ усиленной дѣятельности Эдуарда въ классическомъ направленіи, основаніе которому было положено впрочемъ его первымъ наставникомъ, отцомъ“. — Мы смѣемъ думать однако, никому не навязывая впрочемъ нашего мнѣнія, что вліяніе Фесслера, какъ мистика и, на свой манеръ, либеральнаго философа, было на Губера, въ первые годы молодости, почти исключительное. Мы стараемся въ нашемъ разсказѣ по мѣрѣ возможности доказывать это мнѣніе. На первый разъ, замѣтимъ, что *Эдуардъ* слишкомъ похожъ на Антонія, героя поэмы, чтобъ и у Эдуарда не заподозрить своего Сильвію.

Впечатлительная натура Эдуарда-ребенка сохранила надолго образъ угрюмаго старика, и вотъ какъ поэтъ описываетъ его въ своемъ „Антоніи“:

Въ то время старецъ знаменитый,
Суровымъ жребіемъ гонимъ,
Въ чужой странѣ ища защиты,
И слабъ, и хилъ пріѣхалъ къ нимъ.
Честолюбивъ, угрюмъ, бездушенъ,
Ничѣмъ, нигдѣ неустрашимъ,
И гордъ, и золъ, и равнодушенъ.
Таковъ былъ Сильвіо. Надъ нимъ
Судьба теряла власть, и годы
Не укрощали страшныхъ силъ;
Душой тиранъ, онъ для свободы
Поколебалъ-бы ходъ природы
И землю кровью обагрилъ;
Онъ вѣдалъ душу человѣка,
Онъ страсти долго изучалъ;
Какъ врачъ, слѣдилъ болѣзни вѣка
И вѣкъ лукавый презиралъ.
Онъ все постигъ и все извѣдалъ:
Судьбу, природу и людей;
Но никому отчета не далъ,
И никому не заповѣдалъ
Печальной мудрости своей.
Любви и ненависти чуждый,
Безъ чувствъ, безъ вѣры, безъ страстей,
Онъ слышалъ плачь, онъ видѣлъ нужды
Безъ жалости къ судьбѣ людей.
На ихъ страданія земныя
Онъ съ равнодушіемъ смотрѣлъ,
Но всѣ ихъ страсти роковыя
Безстрастный умъ уразумѣлъ.

Быть-можетъ, страшныхъ преступлений
Была сосудомъ грудь его;
Быть-можетъ, слезы поколѣній
Доносятъ Богу на него!...
Онъ рано думой величавой
Земныя тайны освѣтилъ;
Онъ рано слышалъ голосъ славы
И рано славу полюбилъ.
Въ свои скрижали вѣковыя
Его исторія внесла....

.....
Его кровавыя обиды
На немъ сполна отомщены
И длань народной Немезиды
Не пощадила сѣдины.
Онъ уступилъ въ народномъ боѣ,
Онъ бросилъ славу и друзей,
.....
Но и тогда слезой печали
Онъ тайныхъ думъ не обнажалъ;
Онъ міръ, быть-можетъ, проклиналъ,—
Но люди жалобъ не слыхали..... (*).

Этотъ отрывокъ какъ нельзя лучше и полнѣе характеризуетъ странную, суровую, чудную натуру Фесслера и его печальную судьбу.

Съ слѣдующаго года по приѣздѣ въ Саратовъ, Эдуардъ началъ брать уроки русскаго языка у В. Я. Волкова, одного изъ тѣхъ грамотѣевъ, которые весь

(*) См. Т. I. стр. 171—273.

вѣкъ свой занимаются преподаваніемъ начальныхъ правилъ роднаго языка. Эти уроки бралъ онъ въ домѣ одного чиновника саратовкой конторы иностранныхъ поселенцовъ, И. К. Нордстрема, вмѣстѣ съ сыномъ его, сверстникомъ своимъ, съ цѣлью поступить въ мѣстную губернскую гимназію. Въ самое короткое время онъ успѣлъ въ русскомъ языкѣ такъ, что черезъ 4 мѣсяца, а именно въ августѣ 1824 г. могъ быть принятъ въ саратовскую гимназію. Состояніе тогдашнихъ гимназій не могло назваться блестящемъ: рутиннымъ, безжизненнымъ путемъ велось образованіе юношества, которое отъ того безцѣльно продолжало жизнь свою, не вынося ничего изъ нея, и ей ничего не давая отъ себя. Но саратовская гимназія, не задолго до того времени основанная, была нѣсколько счастливѣе другихъ подъ дирекціей ученаго *Миллера*, получившаго свое воспитаніе въ іезуитскомъ училищѣ и отъ того понимавшаго всю важность классическаго, серьезнаго образованія. Къ тому-же молодые учителя, только-что кончившіе курсъ въ казанскомъ университетѣ, все-таки не могли еще превратить гимназіи въ синклитъ престарѣлыхъ и отжившихъ риторовъ. Въ числѣ этихъ учителей, *случайно* сдѣлался преподавателемъ словесности нѣкто *Θ. П. Волковъ*; говоримъ *случайно* потому, что собственно онъ былъ назначенъ учителемъ исторіи и только по пріѣздѣ въ Саратовъ, не чувствуя ни малѣйшаго призванія къ своему предмету, помѣнялся имъ съ своимъ товарищемъ на русскую словесность. Пишущій эти строки, много лѣтъ спустя, самъ былъ ученикомъ того же

Ө. П. Волкова и съ чувствомъ глубочайшаго уваженія вспоминаетъ почтеннаго наставника. Я засталъ уже эту свѣтлую природу разрушенной, падающей, изнемогшей отъ окружавшей ее рутины, но все-таки проблески острумія и живаго таланта нерѣдко давали о себѣ знать. Тогда, во времена Губера, это былъ молодой, полный жизни и души человекъ, сочувствующій современной поэзіи, любящій свою науку. Черезъ 20 лѣтъ послѣ того, эта бодрая натура, потерявшая всю энергію, погрязшая въ тину страстей, не переставала интересоваться и пробуждаться при звукахъ поэзіи. Я помню, съ какимъ рвеніемъ пріохачивалъ онъ слушателей своихъ къ письменнымъ упражненіямъ, какъ мало онъ былъ на дѣлѣ риторомъ, хотя все еще не разлучался съ старикомъ Кошанскимъ, съ какимъ ѣдкимъ, но вмѣстѣ снисходительнымъ остроуміемъ, съ какимъ тактомъ поразжалъ онъ недостатки этихъ упражненій, съ какимъ теплымъ, почти восторженнымъ сочувствіемъ ободрялъ онъ всякое малѣйшее дарованіе въ своихъ ученикахъ. Я помню, съ какой любовью онъ дарилъ своимъ питомцамъ книги изъ собственной своей скудной библіотеки, прося ихъ хранить подарокъ на память о немъ. Миръ праху твоему, бѣдный, затерянный человекъ! . . .

Этотъ Ө. П. Волковъ не могъ не угадать таланта въ молодомъ Губерѣ. Доказательствомъ служитъ то, что онъ тогда же началъ собирать и хранить его ученическія упражненія, предвидя въ авторѣ ихъ будущаго дѣятеля русской литературы. Покойный учитель передалъ намъ сохраненныя имъ тетради Губера. Вотъ что

заключается въ нихъ: примѣры на періодъ причинный, позволительный, на фигуру отъ противнаго, отъ реченій, сочиненіе о пользѣ словесности, о любви къ отечеству, письмо къ другу (фантазія), о безсмертіи души (вѣроятно, переводъ и не безъ вліянія Фесслера), разборъ оды „на смерть Князя Мещерскаго“ соч. Державина. Все это наполнено риторическими, напыщенными фразами; замѣчательно только то, что 14-лѣтній Губеръ, 4 года тому назадъ ознакомившійся съ русскимъ языкомъ, писалъ уже очень правильно, какъ относительно орфографіи, такъ и самыхъ тонкихъ правилъ синтаксиса. (См. примѣчаніе I).

Мы не останавливаемся на ученическихъ произведеніяхъ Губера, какъ на слишкомъ дѣтскихъ опытахъ, заключающихъ въ себѣ повторенія вычитаннаго изъ Карамзина, изъ разныхъ хрестоматій и другихъ книгъ. Здѣсь мы видимъ исключительное вліяніе Ѳ. П. Волкова, на судъ котораго онъ представлялъ свои сочиненія; только въ разсужденіи *О безсмертіи души* мистическое содержаніе его даетъ право подозрѣвать участіе Фесслера. Къ тому же времени относятся стихотворенія, напечатанныя нами въ прибавленіи къ 1 тому и записанныя авторомъ въ тетради подъ заглавіемъ: *Опыты въ стихахъ и прозѣ Эдуарда Губера*. Стихи эти писаны были въ 1828 — 1830 г. т. е. когда автору ихъ было 14—16 лѣтъ, и въ нихъ звучность стиха уже смѣло ручается за прочный, несомнѣнный талантъ поэта, не смотря на бѣдность и несамостоятельность содержанія. Онъ уже тогда такъ свободно владѣлъ стихомъ, что могъ писать длинныя

посланія къ товарищамъ своимъ, заключавшія въ себѣ по большей части варіаціи на тему о разочарованіи, о любви, которой Эдуардъ будто-бы не вѣритъ; его стремленія обращены къ славѣ и именно на *поль брани*. Последнее желаніе объясняется только пламенной душой поэта, для которой недостаточно-заманчивой рисовалась дѣятельность гражданская; ему надо было энергической жизни.

Я молодъ (говоритъ онъ) кровь моя кипитъ,
Я жажду чести, жажду славы,
Но время быстрое летитъ
И старцемъ буду я безъ славы.
А между тѣмъ:
Все попираетъ вкусъ и мода,
Вездѣ въ цѣпяхъ его свобода,
Вездѣ и скука, и печаль.

Нѣтъ причинъ сомнѣваться въ искренности этихъ словъ Губера; скука и печаль шла къ нему извнѣ и быстро прививалась къ его впечатлительной природѣ. Кромѣ чисто-субъективныхъ стихотвореній, мы видимъ въ числѣ „Опытовъ“ слабые образцы объективныхъ произведеній, какъ напр: дума „Георгій Московскій“. Попытокъ въ этомъ родѣ мы вовсе не встрѣчаемъ у нашего поэта въ зрѣломъ возрастѣ, когда онъ, по видимому, посвятилъ себя исключительно лирической поэзіи. Только въ послѣдніе годы жизни онъ писалъ поэмы: *Вѣчный Жидъ* и *Прометей*. Была, правда, у него еще поэма: *Братоубійца*, но онъ забросилъ ее,

какъ неудавшееся произведеніе. Что касается до *Антонія*, то эту поэму скорѣе можно назвать сборникомъ лирическихъ піесъ, чѣмъ объективнымъ произведеніемъ.

Доказательствомъ того, какъ еще чуждъ былъ 14-лѣтнему Губеру русскій языкъ, служить слѣдующая поправка, сдѣланная имъ въ своемъ стихотвореніи:
„Мысли надъ громомъ“; прежде было написано:

Душа небесное *выдаетъ*,

и потомъ поправлено:

Душа небеснаго *вкушаетъ*.

Множествомъ выраженій, какъ въ прозѣ, такъ и въ стихахъ, доказывается тоже. Сколько-же труда и таланта нужно было 14-лѣтнему мальчику, чтобъ писать звучные, правильные стихи, исправлять мелкія стилистическія ошибки на языкѣ, ему чуждомъ! Въ той-же тетрадь: *Опыты въ стихахъ и въ прозѣ* записано нѣсколько стихотвореній на нѣмецкомъ языкѣ. Вотъ ихъ заглавія: Die Macht der Liebe, Weibertreue, Gedanke mein, Des Schiffers Tod, Die Erlösung, Das Altchen, Impromptu, Rundgesang, Xenien. (См. примѣчаніе II)

Въ бытность свою въ саратовской гимназіи молодой Губеръ сталъ приобрѣтать внѣшнія знакомства. Кромѣ товарищей, изъ которыхъ онъ особенно былъ близокъ съ И. Я. Кудрявцевымъ, А. Д. Горбуновымъ и Н. И. Зининымъ (нынѣ извѣстный профессоръ химіи), кромѣ семейства Нордстрема, онъ сблизился съ нѣкоторыми изъ членовъ саратовскаго общества, особенно съ се-

мействомъ баронессы М. А. фонъ-Гоймъ и съ Г. Я. Тихменевымъ, молодымъ человѣкомъ, 7-ю годами старше Губера. Появляясь въ общество съ товарищами своими, Эдуардъ и тогда уже отличался неловкостью и оригинальностью манеръ и тѣмъ еще, что былъ любимъ всѣми знакомыми. До сихъ поръ общественныя преданья сохранили въ памяти саратовцевъ рассказы о школьныхъ выходкахъ Эдуарда, не лишенныхъ остроумія и юмора.

Гимназическій курсъ свой Губеръ окончилъ блистательно въ 1830 году; къ торжественному акту онъ приготовилъ прощальное стихотвореніе: *къ друзьямъ*, гдѣ онъ между прочимъ рѣшительно высказываетъ желаніе свое служить въ военной службѣ. Вѣроятно не безъ совѣтовъ Фесслера, который еще въ 1826 г. былъ отозванъ изъ Саратова въ Петербургъ, родители Эдуарда рѣшились отправить сына именно въ Петербургъ-же для довершенія образованія. Старикъ отецъ тогда-же говорилъ ему:

— На счастье будь чѣмъ хочешь, но человѣкомъ дѣльнымъ и полезнымъ. Однакожъ мнѣ было бы пріятнѣе, еслибъ ты избралъ какое-нибудь прямо ученое званіе.

Только впослѣдствіи Эдуардъ отвѣчалъ на это отцу:

— Вы знали меня лучше, нежели я самъ себя!

Въ 1830 г. Губеръ оставилъ родимую страну, куда ужъ болѣе никогда не возвращался. Здѣсь прошли его дѣтскіе годы, полные тѣхъ впечатлѣній, которыя онъ столько любилъ, которыми дорожилъ всегда, здѣсь началъ слагаться изъ него поэтъ такимъ

точно, какимъ впослѣдствіе явился въ печати, передъ лицомъ публики, какимъ полюбилъ его Пушкинъ.

Не безъ грусти покидалъ Губеръ Саратовъ и первыхъ друзей своей юности.

Въ послѣдній разъ онъ топить взоръ
Въ родную даль, гдѣ синихъ горъ
Встаютъ грамадныя вершины.
За ними скрылся мирный домъ,
Гдѣ нынѣ мать въ тоскѣ глубокой,
Въ своей молитвѣ одинокой
Груститъ о сынѣ молодомъ
Душа впервые содрогнулась,
Онъ поблѣднѣлъ и на глаза
Нѣмая, горькая слеза
Невольно, тихо навернулась (*)

Онъ ѣхалъ *на домихъ*. Дорога производила на него сильное впечатлѣніе.

Вотъ письмо Губера изъ Москвы къ Г. Я. Тихменеву:

„Любезный другъ Григорій Яковлевичъ! Во вторникъ я вамъ писалъ, а нынѣ въ среду утромъ въ 7 часовъ ѣдетъ извозчикъ. Нѣсколько минутъ осталось до семи. Воспользуемся имъ. Москва слишкомъ велика. Архитектура старинныхъ церквей безобразитъ ее. Какъ памятники древности, сіи церкви для всякаго любезны. Они напоминаютъ ему великое, совершенное нашими прадѣдами, напоминаютъ ему дѣяніе вѣковъ минувшихъ, вѣковъ счастливыхъ, без-

(*) См. поэму „Антоній“. Т. I. стр. 286.

„заботныхъ. Такъ-называемый Бѣлый-городъ не доз-
„воляетъ жительствоваѣ въ нѣдрахъ своихъ ни од-
„ному деревянному строенію. Онъ въ этомъ сроденъ
„съ цензоромъ, не пропускающемъ въ разсмотрѣн-
„номъ имъ сочиненіи ни одного непристойнаго слова,
„ни одного вольнодумнаго предложенія, сроденъ съ
„кокеткой-старушкой, вырывающею, хотя и съ болью,
„сѣдые волосы свои, сихъ непріятныхъ гостей, ко-
„торые, не бывши зваными, посѣтили ея черную голову
„и обезобразили ея столѣтнее лицо. Китай-городъ
„окруженъ стѣною; за нимъ слѣдуютъ высокія зубча-
„тыя стѣны знаменитаго Кремля. Я былъ въ Кремлѣ;
„я видѣлъ здѣсь памятники Минина и Пожарскаго,
„видѣлъ колоссальный верхъ Ивана Великаго, видѣлъ
„и невольно подумалъ о мннувшемъ, подумалъ о
„славѣ прадѣдовъ, о славѣ, которая завяла для насъ,
„какъ увидаешь незабудка въ жаркое лѣто для руки
„красавицы, — подумалъ и стосковалъ. Здѣсь совер-
„шилось великое. Но гдѣ совершители? Сіе мѣсто
„ознаменовано дѣянiями безсмертными. Я подумалъ о
„семъ и невольно воскликнулъ:

Москва! О, сколько въ этомъ звукѣ

Для сердца каждаго слилось....

„Нѣтъ! въ Москвѣ надобно жить нѣсколько лѣтъ,
„чтобы съ нею познакомиться, нѣсколько мѣсяцевъ,
„чтобъ ее объѣхать, а нѣсколько дней ничего не зна-
„читъ. Люди, конечно, здѣсь такіе же; женщины тѣже;
„онѣ и здѣсь скрываютъ подъ наружною оболочкою
„мнимой добродѣтели — кичливыя прихоти, черную

„спѣсь, коварные замыслы и здѣсь невинность так-
„же рѣдка, какъ птица-фениксъ. Женщина — вездѣ
„женщина. Чортъ съ ними! Я знаю одну только жен-
„щину, которая стоитъ уваженія, это — М. А. (баро-
„несса фонъ-Гоймъ). Діогенъ съ фонаремъ своимъ
„въ цѣломъ свѣтѣ не отыскалъ-бы болѣе десятка....
„Еслибы я хотѣлъ кого-нибудь наказать..... (*)
„я-бы связалъ его съ женщиной, приказавъ ей сперва
„отпустить долгиѣ ногти.

„Прощайте! Изъ Петербурга болѣе будетъ.
„Такъ какъ мы здѣсь останемся только нѣсколько
„дней, то намъ должно смотрѣть, а не писать. И такъ,
„прощайте! Засвидѣтельствуйте М. А. мое почтеніе
„и будьте счастливы. Вашъ вѣрный по гробъ Едуардъ
(**) Губеръ.“

Вспомнимъ теплыя строки въ поэмѣ: „Антоній,“
посвященные Москвѣ:

Москва! изобразить дерзну-ли

Тебя, любимицу мою?

И пѣсню бѣдную сложу-ли,

Мой славный городъ, въ честь твою(***)!

По пріѣздѣ въ Петербургъ, Губеръ выдержалъ эк-
заменъ въ корпусъ Путей Сообщенія, куда давно былъ
записанъ кандидатомъ по желанію отца, но не былъ

(*)Точки означаютъ вырванныя мѣста изъ письма. — А. Т.

(**) Такъ писалъ тогда свое имя Губеръ; только позднѣе онъ
сталъ писать: *Эдуардъ*.

(***) См. Т. I стр. 291.

принять за немѣніемъ вакансій. Тогда онъ выдержалъ экзаменъ въ университетъ и уже отправился за документами своими въ корпусъ, гдѣ его неожиданно удивило извѣстіе, что онъ принятъ: ему остригли волосы, обрили бакенбарды, которыя у него уже были не смотря на его 16 лѣтъ, и тотчасъ отвели въ классъ. Кому онъ былъ обязанъ своимъ вступленіемъ въ корпусъ—положительно неизвѣстно, но, говорятъ, что кто-то обратилъ вниманіе на его фамилію и, узнавъ, что онъ сынъ того пастора, который отличался самоотверженіемъ во время холеры, свирѣпствовавшей тогда въ Саратовѣ, хлопоталъ ему помѣщеніе въ корпусъ.

Такъ какъ поступленіе въ корпусъ Путей Сообщенія требовало нѣкоторыхъ хлопотъ, то еще въ Саратовѣ баронесса М. А. фонъ Гоймъ снабдила Губера рекомендательнымъ письмомъ къ дальнему родственнику своему и другу В. А. Жуковскому. Вотъ письмо, заключающее въ себѣ восторженное описаніе пріема, сдѣланнаго знаменитымъ поэтомъ скромному Эдуарду.

„М. Г. Мавра Алексѣевна! Есть мысли, для которыхъ люди не могли придумать приличнаго слова, есть чувства, для которыхъ нѣтъ выраженія. Къ этимъ чувствамъ принадлежитъ благодарность. Я позналъ эту истину, и теперь, когда душа моя полна признательности, теперь нѣмѣютъ уста мои. Но впрочемъ мнѣ кажется, что я тогда только могу выразить чувство моего сердца, когда скажу вамъ: я видѣлъ Жуковскаго! Такъ, я видѣлъ того, кто создалъ для

„русскаго—творенья Шиллера, кто начерталъ свое имя
„въ скрижалѣ безсмертія. Онъ принялъ меня такъ
„ласково, какъ только можетъ принять великій чело-
„вѣкъ. Онъ спросилъ меня, куда я намѣренъ опре-
„дѣлиться? Я отвѣчалъ ему: въ корпусъ водяныхъ
„сообщеній, и онъ обѣщалъ мнѣ помочь вездѣ, гдѣ
„только можетъ. Когда я простился съ нимъ, онъ по-
„жалъ мою руку, просилъ меня, чтобы я почаще за-
„мѣнялся (*) къ нему вечеркомъ — и я, конечно, не
„оставлю это позволеніе безъ употребленія. И такъ,
„еще разъ благодарю васъ отъ всего сердца за то
„удовольствіе, которое вы мнѣ доставили и для ко-
„торого я не имѣю выраженія“

Это письмо писано 6 ноября 1830 года. Вотъ еще
нѣсколько писемъ, относящихся къ тому-же времени.

(Вѣроятно въ концѣ 1830 г.) „Милостивая Госу-
„дарыня, Мавра Алексѣевна! Недавно обрадовали меня
„ваши драгоценныя строки. Какія-то особенныя чув-
„ства наполняютъ душу мою при чтеніи вашихъ пи-
„семъ. Благодарю васъ, что вы не забываете такъ назы-
„ваемого философа, въ сердцѣ котораго память о васъ
„врѣзалась неизгладимыми чертами. Среди шума сто-
„личной жизни, человѣкъ, коего органы необразованы
„для шума, всегда находитъ отраду, когда въ часы
„минутнаго досуга, онъ можетъ предаваться утѣши-
„тельнымъ воспоминаніямъ о протекшемъ, тихомъ вре-
„мени, когда его однообразная флегма взволновалась

(*) И здѣсь попадаетъ германизмъ! А. Т.

„только въ бесѣдахъ умныхъ и почтенныхъ людей, или
„въ кругу безпечныхъ товарищей.

„Среди досады и удовольствій, среди скуки и скуч-
„ныхъ разсѣяній, среди умныхъ людей и несносныхъ
„глупцовъ, протекаетъ жизнь моя, и я часто удивляюсь,
„какъ въ этомъ хаосѣ неистощаемыхъ удовольствій,
„и скучныхъ, обидныхъ впечатлѣній, бѣдная голова
„моя еще осталась на томъ-же мѣстѣ. Благодарю отъ
„всего сердца за ваше снисхожденіе: вы написали
„къ великому Жуковскому. Я былъ у него передъ
„новымъ годомъ и на новый годъ, но не засталъ его.
„На этихъ дняхъ опять схожу къ нему.

„Отъ души жалѣю, что не могу принять вашего
„поздравленія. Моя неугомонная флегма никакъ не
„смягчается отъ благотворнаго вліянія какого-нибудь
„великолѣпнаго солнца и стрѣлы бога любви что-то
„потеряли свою мѣткость и я смѣюсь надъ слабостію,
„которая мнѣ незнакома.“

.
(Безъ означенія числа и года, вѣроятно лѣтомъ
1831 г.)

„Любезный другъ, Григорій Яковлевичъ! Наконецъ
„мы получили ваше письмо, отъ 30 сентября. Трудно
„выразить чувства, которыя наполнили сердца наши;
„при чтеніи словъ отдаленнаго друга, намъ слышались
„звуки знакомаго друга, отголосокъ добраго сердца.
„Вы описали холеру, этотъ бичъ полуденной Россіи.
„Слава Богу, что она прекратилась у васъ. Теперь
„она пробирается къ нашей столицѣ; златоглавая
„Москва уже страдаетъ подъ гибельнымъ ярмомъ су-

„ровой владычицы, и предохранительныя мѣры, взятыя
„въ здѣшней столицѣ доказываютъ, какъ ужасъ во-
„дитъ смертнаго за носъ. Я удивляюсь, какъ люди
„не стыдятся самихъ себя, трепеща предъ грозой,
„собирающеюся надъ отечественнымъ городомъ. За-
„чѣмъ заранѣе отравлять свои радости неумѣстною скор-
„бію и робкими догадками?

„Вы говорите, что живо помните минувшее, пом-
„ните восторгъ, вдыхаемый въ сердце ваше великимъ
„Шиллеромъ. Благодарю васъ за это. О! вѣрьте
„вашему правдолюбивому другу, что и онъ не забылъ
„еще сладкія минуты протекшаго: пламенные мысли
„Шиллера и теперь волнуютъ грудь мою и стремятъ ея
„къ высокому и неприступному; его вѣра—моя вѣра,
„его праотцы—предки отца моего, святая истина, про-
„повѣдуемая имъ,—мой лучшій идеалъ, мой умъ,
„мое сердце, мое чувство, воля,—вся жизнь моя! и
„мнѣ ужели не любить Шиллера, котораго я понимаю?!
„Горе тому, кто осмѣлится хулить того, кто не
„имѣетъ пятна на себѣ. Я видѣлъ Полеваго
„и говорилъ съ нимъ.

„Вы говорите, что женщина есть зло нужное и
„я согласенъ съ вами, ежели нужду ихъ существо-
„ванія опредѣляетъ необходимость распространенія
„человѣческаго рода.

„Вы говорите, что зло есть мѣра добра и я согла-
„сенъ съ вами, ежели вы добродѣтель назовете зломъ
„утонченнымъ, ибо вещи нравственныя не могутъ измѣ-
„ряться, подобно вещамъ тѣлеснымъ, аршинами или
„вершками.

„Вы говорите, что защиту женщинъ вы нашли въ
„самихъ женщинахъ и я согласенъ съ вами, зная, что
„достоинство, которое вы защищаете въ женщинахъ
„есть наружность, что же касается до достоинства
„внутренняго, то оно чрезвычайно обширно и содержитъ
„всѣ пороки во всемъ ихъ объемѣ, а для защиты
„пороковъ, право, очень мало потребно.

„Я живу здѣсь въ философскомъ одиночествѣ; на-
„дежды мои, разрушенныя человѣкомъ, который ни-
„чѣмъ не лучше своего ближняго, не ослабили духъ
„стойка. Я написалъ на него акrostихъ, не зная какъ
„отомстить за себя.

„Я надѣюсь быть со временемъ военнымъ инже-
„неромъ. Это часть самая ученая и потому въ боль-
„шомъ уваженіи.

„Домъ. . . ., о которомъ мы вамъ уже не разъ пи-
„сали, дѣйствительно имѣетъ свои пріятности, хозяинъ
„простъ, но уменъ, хозяйка—женщина, впрочемъ лучшаго
„разбора, хороша и добра, какъ только можетъ быть
„женщина доброю, и я боюсь какъ бы она со време-
„немъ не вывела меня изъ флегматическаго равнодушія;
„я часто спору съ ней о женщинахъ, и она всѣми
„силами старается опровергать мои худыя мнѣнія;
„впрочемъ я имѣлъ нѣсколько разъ удовольствіе, что
„она не могла иначе и отвергнуться отъ моихъ убѣ-
„дительныхъ доказательствъ, какъ восклицаніемъ:
„вы все врите! вы прескверный человѣкъ! я съ вами
„никогда говорить не стану! Очень пріятно, когда
„женщина ругается! какъ пріятно быть предметомъ ея
„ругательствъ! — К. говорить, что я влюбленъ. Вотъ

„опроверженіе: я самъ сдѣлалъ его внимательнымъ,
„показывая ему — А. жену, и хваля при томъ ея
„наружность.

„Еслибы я былъ дѣйствительно влюбленъ, то я бы
„этого не сдѣлалъ: ибо любовь скрытна и не любить
„соучастника потому, что должна опасаться соперни-
„ковъ. Кто влюбленъ, тотъ молчитъ о томъ предметѣ,
„который его занимаетъ. Въ противномъ случаѣ лю-
„бовь только наружная формула, только слово безъ
„смысла. А это вы конечно не допустите.

„Вотъ стихи, которыя я написалъ недавно:

Онъ въ сердцѣ скрылъ волненіе,
Подлецъ безумца лаской надѣлилъ;
Ему смѣшно, на жертву униженія
Разбойникъ взоръ убійственный вперилъ.
Мечты младенчества, минуты золотыя,
Алая гибели, онъ васъ меня лишилъ,
Низринулъ онъ надежды неземныя,
Неистовый — на вѣкъ меня сгубилъ.

(Безъ означенія числа и года, но вѣроятно 1831 г.)

„Любезный другъ, Григорій Яковлевичъ! — Бѣдствія
„холеры минули и столица дышетъ опять свободнѣе.
„Въ это время я узналъ, какъ люди боятся смерти
„какъ атеистъ становится богомолъ: я видѣлъ все
„это и вспомнилъ стихи Озерава:

Смерть — ужасъ для всего, что бытіе имѣетъ!

„Горе тому, кто не имѣетъ собственной религіи,
„согласной съ его совѣстью и сердцемъ. Но какъ

„скоро его вѣра согласуется съ понятіями и чувствованіями души, то эта вѣра есть истинная, хотя бы была она вѣра язычника.

.....
„Что вы скажете о Борисѣ Годуновѣ Пушкина, котораго вы, какъ любитель литературы, конечно уже читали? По моему мнѣнію, недостатки этой трагедіи въ отношеніи къ ея творцу непростительны. Представилъ ли онъ съ надлежащей точки Бориса? выдержалъ ли онъ характеръ Самозванца? Нѣтъ. Наружная оболочка, пышная одежда стиховъ достойна генія Пушкина. Отъ чего у насъ такъ худо, такъ мало и рѣдко рождаются трагедіи? Конечно, это труднѣйшій, взыскательнѣйшій родъ сочиненій, но ужели это можетъ быть законною причиною у народа, корый имѣетъ самостоятельную литературу?“

.....
(Вѣроятно лѣтомъ 1831 г.) „Милостивая государыня, Мавра Алексѣевна! Я такъ давно не писалъ къ вамъ, что мнѣ даже стыдно приняться за перо.

„И что писать? Жизнь моя, богатая чувствами, бѣдна приключеніями. А повѣсть чувствъ, подобныхъ моимъ, скучнѣе цѣлой Телемахиды.

„Нынѣшнее лѣто довольно скучно. Петербургскіе красавцы и красавицы что-то приуныли. И все виновата холера! Она виновница тысячи несчастій. Она виновата и въ томъ, что графъ Хвостовъ написалъ на нее стихи; виновата и въ томъ, что эти стихи никуда негодятся. О, эта холера!

„Первородный братъ мой провелъ это время весе-

„лѣе, чѣмъ кто-нибудь изъ насъ: безпрестанно былъ въ больницахъ, слышалъ прекрасную музыку, представляемую воплями страждущихъ, видѣлъ ихъ истинно-трагическую кончину, слышалъ и видѣлъ, и стиховъ не написалъ, между тѣмъ какъ графъ Хвостовъ, который ничего не видалъ и ничего не слышалъ, написалъ прескучную оду.

„Дворъ находится въ Царскомъ Селѣ и останется тамъ, можетъ быть, и еще цѣлый мѣсяцъ. Жуковский разумѣется, тоже.

„Что дѣлаетъ любезный градъ Саратовъ? Все-ли на томъ же мѣстѣ? Какъ здравствуетъ великая семья прусскихъ эмигрантовъ, эта персонифицированная исторія человеческого бѣдственнаго состоянія, этотъ скучный отрывокъ изъ длинной проповѣди на первую недѣлю великаго поста? Черезъ какія-нибудь шесть или восемь лѣтъ, когда я окончу свои учебныя занятія, я навѣрно посѣщу Саратовъ (*). Я напередъ радуюсь увидѣть опять и тѣхъ, кого привыкъ уважать и тѣхъ, кого уважать нельзя.“

Въ приведенныхъ нами письмахъ, уже довольно рѣзко обозначается характеръ и направленіе молодого Губера. Мрачное расположеніе духа мистическаго свойства, незнаніе жизни и теплая душа — все это привезъ Губеръ съ собой въ Петербургъ изъ Саратова. Еще тамъ, семейная жизнь оказала на него

(*) Эта мечта Губера не исполнилась: онъ никогда болѣе не былъ въ Саратовѣ.

огромное вліяніе, онъ жилъ дома безпечно, окруженный людьми любящими и любимыми. Въ этой простой средѣ прошло его дѣтство: благочестивая проповѣдь отца-пастора, его ученость и обстановка его семьи не могли дать Эдуарду привычекъ свѣтскаго человека, а между тѣмъ онъ съ самаго ранняго возраста попалъ въ высшій провинціальныи кружокъ, бывалъ на балахъ, имѣлъ кое-какія знакомства въ качествѣ *молодаго человека*, такъ какъ въ провинціи вообще чувствуется недостатокъ въ молодыхъ людяхъ и гимназическіе мундиры нерѣдко фигурируютъ не хуже гвардейскихъ. Онъ былъ не прочь поострить надъ странностями провинціального свѣтскаго кружка, потому что по развитію своему стоялъ выше его. Въ домѣ баронессы фонъ-Гоймъ, о которой мы не разъ упоминали, онъ видѣлъ слабый образчикъ московской барской жизни съ обѣдомъ въ 5 кушаній, множествомъ челядинцовъ обоого пола и задушевными, веселыми вечеринками. Въ самой хозяйкѣ дома онъ встрѣчалъ образованную, замѣчательную женщину, дочь московскаго барина, воспитанную въ духѣ екатерининскаго вѣка, подругу Карамзина, Жуковскаго, Дмитріева, Воейкова, судьбой заброшенную въ Саратовъ и лишенную богатыхъ средствъ къ жизни. Губеръ сдружился съ этимъ домомъ. Но гдѣ ему было проникнуться духомъ соціальныхъ требованій, стремленіями къ общественной правдѣ въ практическомъ смыслѣ? Ученая дѣятельность, подобная дѣятельности его отца или Фесслера, не могла удовлетворить кипучей душѣ поэта: гражданская служба являла ему

незавидную картину въ группѣ апатичныхъ чиновниковъ провинціальныхъ коллегій. Молодое сердце Губера жаждало славы, энергической дѣятельности, какая-бы она ни была, и онъ мечталъ о той, о которой больше наслышался, объ этой шумящей и гремящей славѣ, какою пользуются военные люди. *На войну!* восклицалъ поэтъ: — *вотъ идъ исходъ моей энергіи! вотъ идъ слава съ лаврами и почетомъ, съ борьбой и смѣлымъ испытаніемъ своихъ силъ!* По-крайней-мѣрѣ такъ мечталъ онъ въ въ минуту своихъ поэтическихъ вдохновеній. Натура однако взяла свое: переѣздъ въ Петербургъ, свиданіе съ Жуковскимъ, заочное, но близкое знакомство съ литературной славой, съ дѣятельностью писателей, порѣшило дѣло, несмотря на то, что, повидимому, институтъ, въ которомъ воспитался Губеръ, не отличался тогда современностью педагогическихъ приемовъ своихъ и не заботился о развитіи какихъ-бы то ни было талантовъ. Изъ отзыва Губера о Борисѣ Гудуновѣ Пушкина, мы видимъ, что поэтъ и тогда не далеко ушелъ отъ Кошанскаго въ своихъ критическихъ воззрѣніяхъ. Потребность дружбы сильно развита была въ Губерѣ еще въ Саратовѣ; въ Петербургѣ онъ также нашелъ друзей, въ выборѣ которыхъ былъ не педантиченъ. Съ женщинами онъ еще мало сходилъ и въ сужденіяхъ своихъ о нихъ былъ страненъ: онъ еще не зналъ чувства любви и страсти, которыя мѣшались въ его понятіяхъ съ чувствомъ дружбы. Такъ и видишь въ этой неопредѣленности сердечныхъ влеченій, въ этихъ укорахъ женщинъ въ непостоянствѣ — скром-

ную проповѣдь пастора или нѣжно-заботливый предостереженіе доброй матери. Но замѣчательно крѣпкая и послѣдовательная натура Губера никогда не разочаровывалась въ завѣтахъ семьи своей, въ добромъ вліяніи ея: напротивъ, она переносило ихъ въ жизнь. Оттого дружба и платонизмъ любви былъ всегда на столько простъ и естествененъ въ Губерѣ, на сколько онъ казался-бы сантиментальнымъ и натянутымъ во всякомъ другомъ. — Хотя институтъ, какъ мы замѣтили, не могъ непосредственно развитъ поэтическій талантъ Губера, но онъ въ бытность свою въ немъ занимался поэзіей усердиѣе, чѣмъ когда-либо. Одиночество, скука затворнической жизни — послѣ свободной, довольно-веселой жизни въ Саратовѣ среди семьи и друзей — помогали дѣлу, безъ сомнѣнія, болѣе, чѣмъ лекціи словесности. Кругозоръ его понятій росъ понемногу, по мѣрѣ того, какъ онъ знакомился съ произведеніями германской литературы и какъ сближался съ Фесслеромъ. О степени этого сближенія, къ несчастію, мы ничего не знаемъ опредѣленнаго, исключая достовѣрной догадки, что вліяніе ученаго мистика на Губера было сильное. Почти съ самаго пріѣзда своего въ Петербургъ, можно было легко предугадать, что изъ Губера выйдетъ литераторъ, поэтъ: онъ и самъ созналъ это, замѣнивъ свои мечты о военной славѣ — мечтами о литературной. Онъ уже началъ печататься и первое стихотвореніе свое напечаталъ въ Сѣверномъ Меркуріи, въ концѣ 1831 г. Вѣроятно, онъ печатался-бы болѣе и ранѣе, если-бъ не былъ остановленъ благоразумнымъ совѣтомъ своего саратовскаго друга — Г. Я. Тихменева.

По свидѣтельству товарищей Губера по воспитанію, въ институтѣ поэтъ занимался менѣе другихъ предметовъ собственно-инженерными науками и математикой, которая была ему не по душѣ. Матеріальное положеніе его было не блистательно; отецъ его былъ бѣденъ и не могъ посылать денегъ своему сыну, который не только не беспокоилъ родителей своими просьбами, но даже помогалъ имъ и на свой счетъ содержалъ брата своего во время его воспитанія въ дерптскомъ университетѣ.

Именно около времени окончанія курса Губеромъ въ корпусѣ, отецъ его былъ переведенъ генераль-суперинтендентомъ лютеранской консисторіи въ Москвѣ, гдѣ и поселился со всѣмъ своимъ семействомъ. Это обстоятельство, улучшавшее матеріальное благосостояніе почтеннаго старца, должно было утѣшить Эдуарда; къ тому-же съ тѣхъ поръ въ немъ явилась надежда на скорѣйшее и возможнѣйшее свиданіе съ своими родными.

Въ 1834 году, Губеръ былъ выпущенъ изъ корпуса съ чиномъ прапорщика вмѣстѣ съ 40 другими товарищами, въ числѣ которыхъ онъ былъ особенно близокъ съ Г. Клицою, Г. М. Толстымъ и А. Бахметевымъ. Замѣчательно, что въ списокъ воспитанниковъ корпуса, Эдуардъ названъ *Губертомъ*, а не *Губеромъ*.

При недостаточности средствъ, выпускъ представлялъ своего рода неудобство—дороговизну окипировки. Съ чувствомъ глубокаго сочувствія и уваженія приводимъ мы здѣсь письмо Эдуарда къ родителямъ своимъ по

этому поводу, въ переводѣ на русскій съ нѣмецкаго оригинала.

„С.-Петебурргъ, 22 мая 1834 г. Дорогіе родители!
„Наконецъ, послѣ двухъ-лѣтняго вавилонскаго заточенія
„въ Институтѣ, я достигъ цѣли моихъ задушевныхъ
„желаній, всѣхъ трудовъ моихъ. Спѣшу, не дожидаясь
„отвѣта на мое послѣднее письмо, извѣстить васъ о
„производствѣ меня въ прапорщики. Окипировался я
„лучше, чѣмъ ожидалъ. За Богомъ молитва не пропа-
„даетъ! Любовь моихъ товарищей, помощь дяди, кото-
„рый подарилъ мнѣ въ день моего рожденія 200 руб.
„и заботливость моей доброй тетки, которая снаря-
„дила меня, точно къ свадьбѣ, постелью, бѣльемъ и
„разными хозяйственными принадлежностями, — вотъ
„чему я обязанъ. Что-то величественное въ любви и
„безкорыстномъ участіи ближнихъ! Я никогда не уни-
„жусь до нищенства, даже еслибъ приходилось умирать
„съ голоду; но здѣсь противорѣчіе было-бы холоднымъ,
„грубымъ оскорбленіемъ. Скажу болѣе, я горжусь всѣми
„этими подарками.

„Вообще я доволенъ своимъ образомъ жизни. Я
„живу въ просторной квартирѣ, за которую платятъ
„650 руб. ассигнаціями безъ дровъ и безъ воды; у
„меня есть отдѣльная комната для занятій, изящно
„меблированная; я ѣмъ и пью хорошо; прислуга у ме-
„ня отличная и все это за 300 руб. въ годъ только
„для того, чтобъ не жить даромъ на чужой счетъ.
„Все хозяйство обходится въ 4000 руб. моему това-
„рищу, который умолилъ жить съ нимъ вмѣстѣ. Онъ
„богатый грекъ, фамилія его — Клида. ♦

„Съ большимъ удовольствіемъ узналъ я отъ Ш., что вы, любезный батюшка, назначены генераль-суперинтендентомъ въ Москву. Въ такомъ случаѣ я почти навѣрное могу надѣяться видѣться съ вами будущимъ лѣтомъ Э. Г.

Вотъ еще письмо къ Г. Я. Тихменеву, нѣсколько предшествовавшее приведенному:

„30 декабря 1833 г. Любезный другъ, Григорій Яковлевичъ! Не смотря на то, что я, по счету моему не получилъ отъ васъ отвѣта на *нѣсколько* писемъ, я не могу преодолѣть внутренняго чувства, которое всегда причисляетъ васъ къ числу лучшихъ друзей моихъ. И здѣсь, гдѣ повстрѣчалъ я много радостей и много горя, гдѣ нажилъ я себѣ много друзей, а, можетъ-быть, еще болѣе непріятелей, я помню васъ и минуты, проведенныя съ вами.

„Мои дѣла, дѣла разумѣется учебныя, идутъ хорошо; я, за исключеніемъ немногаго, что я когда нибудь впоследствии объясню вамъ подробности, *почти* доволенъ судьбой, а это со мною, недовольнымъ, имѣющимъ большія претезеніи, много спѣси, случается рѣдко. .

„По части поэтической я могу похвалиться успѣхами и, можетъ быть, большими: я пишу не для печати, и это по *вашему* совѣту; но въ рукописи передаю по возможности въ *лучшія* руки мои поэтическіе отрывки; ежели я и не повѣрю людямъ, впрочемъ дѣльнымъ, имѣющимъ литературное имя, которые говорятъ, что моими мыслями могъ бы гордиться и Шиллеръ и Пушкинъ, то покрайней-мѣрѣ авторская

„спѣсъ моя находитъ въ подобныхъ выраженіяхъ нѣкоторое воздаяніе за пріятныя труды. О! дайте, мнѣ вырваться на волю и я разрѣшусь отъ бремени, какъ мать отъ дитяти, съ нѣжною любовью носимаго ею во чревѣ, разрѣшусь отъ бремени, которое терзаетъ мою выученность, тревожитъ умъ и воспаляетъ воображеніе, разрѣшусь въ звучныхъ аккордахъ свободы и передамъ его на судъ зубастой критики и посмѣюсь надъ нею, ежели она мнѣ не понравится. Презирать критику я выучился съ тѣхъ поръ, какъ познакомился съ труженниками, которые приводятъ ее въ движеніе.“

Въ слѣдующемъ, 1835 году, у Губера накопилось уже столько стихотвореній, что онъ приготовилъ къ изданію цѣлую отдѣльную книжечку, заключавшую въ себѣ до 25 пьесъ и посвященную другу и товарищу его, А. И. Бахметьеву. Тетрадь эта была процензурована А. В. Никитенко; мы не знаемъ, какія именно обстоятельства остановили изданіе ея въ свѣтъ.

Общій мотивъ всѣхъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ этой тетради:—тоска разочарованія, мотивъ естественный въ литературѣ съ едва зарождающимися сознаніемъ и самостоятельностью. Переходъ отъ риторическихъ пріемовъ въ литературномъ дѣлѣ къ сознательному размышленію въ самостоятельно - художественной формѣ, переходъ, рѣшительно произведенный Пушкинымъ и ознаменованный самымъ теплымъ общественымъ сочувствіемъ, ведетъ непосредственно къ такъ называемому разочарованію, пока не дойдетъ

до положительныхъ образовъ. Ненависть къ разврату, къ падшимъ женщинамъ, утѣшеніе въ дружбѣ — вотъ темы, на которыя варіируетъ Губеръ въ своихъ стихахъ. При розочарованіи въ людяхъ онъ не хочетъ тѣшиться мечтой, онъ стремится къ истинѣ, несмотря на пугающій образъ ея, несмотря на то, что истина еще болѣе налагаетъ сомнѣній и на дружбу, и даже на вѣрованія сердца. Но это — истина кажущаяся; по мнѣнію поэта, истина сама по себѣ должна соединяться съ вѣрой, къ которой настраиваетъ его природа. Онъ смѣется надъ людьми сантиментальными, онъ идеализируетъ паденіе человѣка, который долженъ бороться со всякимъ положеніемъ, но признается однако въ своемъ собственномъ безсиліи, боится паденія; онъ съ ужасомъ спрашиваетъ себя, съ чѣмъ предстанетъ въ небо его бессмертный духъ? Въ жизни своей онъ не находитъ истины, потому что жизнь его несвободна. Всѣ мученія и недуги души своей хочетъ онъ пѣть въ стихахъ, но поэзія, по его мнѣнію, создана не для толпы, она не возбудитъ въ ней участія. Мѣстами выражается страстная натура поэта въ объясненіяхъ съ женщинами, къ которымъ онъ въ порывахъ страсти чувствуетъ благоговѣніе.

Между тѣмъ кругъ его знакомствъ увеличивается; онъ квартировалъ сначала съ товарищами по службѣ, съ г. Клицою, потомъ съ А. Бахметьевымъ, и поневолѣ долженъ былъ видѣть людей. Въ литературныхъ кружкахъ онъ бывалъ мало, хотя однако успѣлъ уже имѣть непріятности съ О. И. Сенковскимъ; теперь онъ рѣшился не сближаться ни съ кѣмъ, кромѣ пар-

тии Пушкина. Въ началѣ года онъ сошелся черезъ дядю Шмидта, ученаго академика, съ Н. И. Гречемъ, который пригласилъ его сотрудничать въ Энциклопедическомъ Лексиконѣ Плюшара, на что Губеръ охотно согласился, нуждаясь въ деньгахъ. Четверги Греча оставляли на него пріятное впечатлѣніе; вотъ что писалъ онъ о нихъ сестрѣ своей отъ 10 января 1835 г.

„....Всего болѣе охотно бываю я по четвергамъ у Греча. У него собираются люди образованные и таланты. Художники и артисты, прїѣзжіе изъ заграницы стекаются къ нему, поютъ и играютъ въ его гостинной, чтобъ черезъ него и его гостей пріобрѣсти себѣ репутацію. Этотъ день для меня самый пріятнѣйшій въ недѣли тѣмъ болѣе, что у него собираются также всѣ знаменитые русскіе поэты и литераторы и трактуютъ по большей части о поэзіи и литературѣ, судятъ о новостяхъ и т. д.“.

Все это занимало молодого, 20-лѣтняго прапорщика, который въ тоже время посвящалъ время и на другіе предметы, кромѣ поэзіи. Онъ читалъ нѣмецкихъ философовъ, интересовался автографами знаменитыхъ людей, трудился надъ скучными переводами ради денегъ, вчитывался въ произведенія Гёте, пользуясь особенно совѣтами ученаго Фесслера, о которомъ, замѣчательно, онъ не упоминаетъ ни разу ни въ одномъ изъ имѣющихся у насъ писемъ. А что онъ уважалъ знаменитаго пастора и подчинялся его вліянію, въ томъ нѣтъ сомнѣнія; молчанье-же его означаетъ скорѣе, что онъ не хотѣлъ тревожить своего

отца, который не любилъ Фесслера за его *католическій* нравъ. М. Н. Лонгиновъ въ статьѣ своей о Губерѣ (*) говоритъ, что портретъ Фесслера стоялъ всегда на почетномъ мѣстѣ на письменномъ столѣ поэта; ему онъ самъ признавался, что ученый пасторъ имѣлъ на него огромное вліяніе; по свидѣтельству друзей покойнаго, онъ и по смерти Фесслера, свято чтилъ его память и не могъ равнодушно выслушивать обвиненія, вводимыя обществомъ на страннаго мистика. Онъ силился оправдывать его даже въ тѣхъ случаяхъ, когда, по видимому, самъ считалъ его неправымъ. На сколько Губеръ начитался Гёте видно изъ многихъ стихотвореній его, какъ напримѣръ изъ пьесы: „*Что плачешь ты, малютка мой*“ (Т. I стр. 20—30), живаго подражанія знаменитому *Erlkönig*. Подъ тѣмъ-же благодѣтельнымъ вліяніемъ чтенія Гёте, нашъ поэтъ съ самаго пріѣзда своего въ Петербургъ задумалъ важнѣйшій трудъ: онъ началъ переводить Фауста и здѣсь-то всего болѣе нуждался въ совѣтахъ и въ помощи Фесслера, которому могла быть доступна разгадка многихъ частныхъ въ этомъ произведеніи, представлявшемъ тогда множество неразрѣшимыхъ трудностей для комментаторовъ. Безъ сомнѣнія, поэтъ приступалъ къ этому труду съ недовѣріемъ къ своимъ собственнымъ силамъ и, вѣроятно, на него намекалъ въ своемъ письмѣ отъ 26 февраля 1835 г. къ сестрѣ, говоря:

„Ты непремѣнно хочешь читать мои стихотворенія...

(*) Московскія Вѣдомости. 1857 г. № 136.

„Скоро надѣюсь удовлетворить твоему желанію, хотя
„не люблю говорить о томъ, чему не вижу еще
„опредѣленнаго конца“.

Въ тоже время Губеръ занятъ былъ приготовленіемъ къ должности адъюнктъ-профессора русской литературы при Инженерномъ Институтѣ, которая ему была обѣщана. Для этого онъ принужденъ былъ по ночамъ работать надъ исторіей русской литературы. Можно себѣ представить всю трудность такой работы, двадцать лѣтъ тому назадъ, для человѣка, не получившаго специальныхъ свѣдѣній по этому предмету, до сихъ поръ такъ мало разработанному. Вотъ, что онъ писалъ по этому поводу, къ своему брату, Ѳеодору Ивановичу, въ Москву (26 февраля 1835).

„Любезный Теодоръ!... Я хочу утрудить тебя просьбой. Дѣло въ томъ: нашъ Р. далъ мнѣ замѣтить, что если будетъ возможно и если откроется ваканція, то я въ будущемъ году буду сдѣланъ адъюнктъ-профессоромъ русской литературы при Институтѣ. Если это назначеніе состоится, то тогда всѣ мои цѣли достигнуты, тогда я могу заняться исключительно однимъ предметомъ, которому преданъ душой; тогда мнѣ и ex officio придется ѣздить на моемъ же собственномъ конькѣ. Я работаю теперь (въ свободные часы по ночамъ) за исторіей русской литературы для моей будущей должности. Наши напечатанныя и писанныя руководства по этому предмету—ниже всякой посредственности. Для того, чтобы составить самому историко-критическія разысканія о памятникахъ старорусской литературы, мнѣ требуется въ 10 разъ бо-

„нѣе времени, чѣмъ у меня его остается. Потому
„прошу тебя, если возможно достать мнѣ студенческія
„выписки изъ лекцій профессоровъ и особенно Ше-
„вырева, если онъ касался этихъ памятниковъ. Ты
„этими сдѣлаешь мнѣ превосходный подарокъ къ празд-
„нику и я могъ бы тебя, можетъ быть, отблагодарить
„за него. Въ ожиданіи твоего отвѣта остаюсь братъ
„твой Эдуардъ Губеръ.“

Ко всему этому примѣшивались еще служебныя
обязанности и инженерныя работы, которыя заставляли
Губера часть времени быть внѣ Петербурга. Такъ, все
лѣто 1835 г. онъ провелъ въ Шлюссельбургѣ, откуда
онъ по праздникамъ ѣзжалъ верхомъ до 65 верстъ.
„Я могу похвастаться“, говоритъ онъ въ своемъ письмѣ
къ отцу: — „что эти прогулки имѣли чрезвычайно-
„поэтическій характеръ“.

Несмотря на такое множество самыхъ разнообраз-
ныхъ занятій, молодой поэтъ къ концу 1835 г. окон-
чилъ переводъ Фауста и уже представилъ его въ
цензуру; но, не получивши дозволенія на изданіе сво-
его труда, Губеръ разорвалъ рукопись, свое дѣтище,
которое желѣялъ въ продолжаніе пяти лѣтъ. Кто
трудился въ свою жизнь, тотъ знаетъ цѣну плодамъ
своихъ трудовъ, тотъ пойметъ, чего стоило поэту
разстаться съ завѣтной рукописью! Вотъ, что писалъ
онъ къ своему брату въ началѣ 1836 г.

„Любезный Теодоръ! Отъ души жалѣю, что болѣзнь
„Шевырева не дала ему кончить своихъ лекцій. Я бы
„очень желалъ имѣть этотъ прекрасный трудъ вполнѣ.
„Ты отнесъ мои *Три сновидѣнья* Надеждину. Не хлопочи

„о нихъ болѣе; взять ихъ отъ него назадъ, разумѣется,
„нельзя, да и ненужно. Впрочемъ, не моя была воля
„ихъ отдавать въ Телескопъ. К. взялъ ихъ съ собой
„съ этиимъ намѣреніемъ; я же въ этомъ не нуждался,
„а лучше сказать не хотѣлъ ихъ печатать, какъ я
„вообще отъ этого отказался. Меня просили здѣсь
„и со стороны Библіотеки быть участникомъ, но я
„отказался, потому что имѣлъ непріятности съ Сен-
„ковскимъ. Ежели я рѣшусь когда-нибудь отдѣльно
„печатать свои стихи, то я изберу для этого Современ-
„никъ, потому-что я весьма коротко познакомился
„съ Пушкинымъ, который весьма ободряетъ мои произ-
„веденія, особенно переводъ Фауста, за которымъ я
„сидѣлъ почти пять лѣтъ; въ прошедшемъ году онъ
„былъ готовъ, но цензура его не пропустила и я съ
„досады разорвалъ рукопись. Въ нынѣшнемъ году я
„по настоянію Пушкина началъ его во второй разъ
„переводить. Еще разъ повторяю, ежели я рѣшусь
„вступить въ журнальный цехъ, то я конечно изберу
„партію Пушкина. Поэтому ты оставь Надеждина въ
„покоѣ; ежели онъ ихъ безъ твоего содѣйствія на-
„печатаетъ, такъ дѣлать нечего, ежели нѣтъ—я буду
„очень радъ; ты-же объ-этомъ ни гу-гу!“

Вотъ нѣкоторыя подробности о началѣ знакомства
Губера съ Пушкинымъ. Нашъ великій поэтъ узналъ
случайно о томъ, что какой-то молодой человѣкъ,
имя котораго ему могло быть нѣсколько извѣстно
по журналамъ, гдѣ Губеръ печаталъ стихи, перевелъ
Фауста, но вслѣдствіе разныхъ неудачъ разорвалъ
рукопись. Тогда Пушкинъ развѣдалъ о квартирѣ мо-

лодаго челоѣка и тотчасъ-же отправился къ нему, но, не заставъ дома, оставилъ карточку. Понятно, съ какимъ изумленіемъ нашелъ ее Губеръ, воротившись домой, и съ какой безпокойной торопливостію поспѣшилъ къ великому поэту. „Не могу не упомянуть“ говоритъ Губеръ въ статьѣ своей въ „Литерат. Приб.“ 1837 г. № 34:—съ какою милою обходительностію, „съ какимъ ласковымъ простодушіемъ Пушкинъ принималъ начинающихъ литераторовъ. Я видѣлъ нѣсколько „изъ такъ-называемыхъ знаменитостей нашихъ, но, сравнивая жалкое меценатство, напыщенное снисхожденіе, „съ которымъ они съ высоты своего величія протягивали концы пальцевъ трепещущему новичку на „поприщѣ литературы, сравнивая, говорю, это меценатство съ привлекательнымъ, откровеннымъ простодушіемъ Пушкина, я не могъ не убѣдиться въ томъ, „что достоинство тѣмъ выше, чѣмъ проще“.

Пушкинъ настаивалъ, чтобъ Губеръ вторично принялся за переводъ Фауста, помогалъ ему совѣтами, своимъ перомъ исправлялъ многія мѣста и условился, что не иначе будетъ принимать къ себѣ поэта, какъ если онъ каждый разъ будетъ приносить съ собой по отрывку изъ Фауста. Участіе Пушкина къ этому дѣлу было такъ живо, что онъ перевелъ тогда же нѣкоторыя мѣста самъ. „Судя по этимъ мѣстамъ, продолжаетъ Губеръ:—„намъ остается только сожалѣть, зачѣмъ Пушкинъ, такъ глубоко сочувствуя „Гёте, не пересоздалъ намъ въ цѣлости всего исплинскаго произведенія этого безсмертнаго философа-„поэта.“

Вліяніе Пушкина на Губера было рѣшительное: мы видѣли, что со времени знакомства съ нимъ, онъ только его партію, изъ всѣхъ литературныхъ партій, считаетъ достойной сочувствія; мы видѣли, что благодаря его совѣтамъ онъ рѣшился на новый, вторичный громаднѣйшій трудъ перевода; мы увидимъ далѣе, какъ мгновенно выросъ и возмужалъ въ немъ его молодой талантъ. Поэтому несчастное событіе 29 января 1837 г. — смерть Пушкина — была двойнымъ горемъ для Губера; родственнѣйшій плачъ и глубокая, невыразимая грусть слышатся въ стихотвореніи нашего поэта на этотъ случай (Т. I.):

Я видѣлъ гробъ его печальный,
Я видѣлъ въ гробѣ блѣдный ликъ
И въ тишинѣ, съ слезой прощальной,
Главой на трупъ его поникъ!
Но пусть надъ лирою безгласной
Порвется тщетная струна,
И не смутить тоской напрасной
Его торжественнаго сна.
Послѣднѣйшій звукъ съ нея сорвется,
Послѣднѣйшій звукъ струны моей,
Какъ вѣстникъ неба пронесется,
И, можетъ быть, въ сердцахъ людей
На тайный вздохъ ихъ отзовется,
И міръ испуганный вздрогнетъ.....

Какая теплая грусть, какой искреннѣйшій надгробнѣйшій плачъ, какой непосредственный голосъ сердца, истор-

гнутый прямо изъ груди въ минуту свершившагося несчастія, когда еще нѣтъ мѣста анализу, строгой оцѣнкѣ!.... Стихотвореніе это ходило въ то время по рукамъ въ высшихъ аристократическихъ кружкахъ и пробуждало къ себѣ общее сочувствіе. Графъ Толь, главноуправляющій путями сообщенія и публичными зданіями призывалъ даже къ себѣ Губера и объявилъ, что „ему очень пріятно въ числѣ своихъ подчиненныхъ имѣть такого даровитаго человѣка.“ Вскорѣ послѣ смерти Пушкина, въ № 1-мъ Современника (1837 г.) появился въ печати большой отрывокъ изъ Фауста, подписанный фамиліей Губера. Отрывокъ этотъ породилъ одно замѣчательное литературное *qui pro quo*. Губеръ въ своемъ *Литературномъ объясненіи* (Литер. Приб. къ Русск. Инв. 1837 г. № 34) говоритъ, что онъ принадлежитъ, почти *исключительно* Пушкину. „Многія мѣста перевода, сказано въ приведенной статьѣ Губера: — исправлены Пушкинымъ, „но нигдѣ рука мастера не помогала столько слабому „ученику, какъ въ томъ отрывкѣ, который помѣщенъ „въ шестомъ томѣ „Современника“. Самое начало, переведенное мною въ размѣрѣ подлинника, такъ называемыми „Knittelverse,“ мастерски измѣнено въ звучный прекрасный ямбъ; то мѣсто, гдѣ духъ земли „является на отчаянный вызовъ Фауста, исключительно „принадлежитъ ему.“

Вотъ какими именно мѣстами этого перевода восхищается Губеръ въ особенности, приписывая ихъ перу Пушкина.

1) Изъ сцены между *Фаустомъ* и *Духомъ*.

ДУХЪ.

Ты звалъ меня, безъ отдыха стремился
Узрѣть мой взоръ, услышать голосъ мой:
На мощный зовъ я наконецъ склонился,
Явился я.—Что значить ужасъ твой,
О полубогъ? Гдѣ гордое призванье,
Гдѣ радостной восторгъ и груди трепетанье,
Въ которой цѣлый міръ ты создалъ и носилъ,
Лелѣялъ пламенно и безразсудно мнилъ
Дышать, подобно намъ, всемірною душою?...
Ты-ль это, Фаустъ? Зачѣмъ-же предо мною,
Внезапно ослабѣвъ, вѣмѣешь и молчишь,
Моимъ дыханьемъ пораженный?

ФАУСТЪ.

Исчадь пламени! Твоей насмѣшки злобной
Я не стерплю: то Фаустъ, то духъ, тебѣ подобный!

Присутствую я,
Незримая сила,
Рожденье, могила,
И радость, и горе,
Предвѣчное море;
Въ станокъ ударяя,

Надъ тканью волнистой трудясь безъ конца,
Пряду я одежду живую Творца (*).

(*) Совр. Т. VI стр. 308—309. Ср. Губера Т. II стр. 31—32.

2) Изъ сцены за *городскими воротами.*

нищій.

О, госпожи и господа!
Богатствомъ вашимъ ослѣпленный,
Взываетъ къ вамъ старикъ презрѣнный:—
Его преслѣдуетъ нужда.
Лишь тотъ прямое счастье знаетъ,
Чья благодѣтельная рука,
Кто въ общей праздникъ надѣляетъ
Богатой жатвой бѣдняка (*).

3) Изъ той-же сцены.

ФАУСТЪ.

Разбила рѣка леденые затворы,
Весны миловидное солнце узрѣвъ;
На нивахъ надежда лелѣетъ посѣвъ;
Старая зима удалилася въ горы,
Ослабная тамъ, истощаетъ свой гнѣвъ.
Оттуда она иногда посылаетъ
На юныхъ луговъ зеленѣющій скатъ
Снѣжокъ перелетный, крупичатый градъ,
Но солнце весь міръ оживлять начинаетъ,
Бевѣстныхъ предѣловъ не терпитъ оно.

Когда-же въ землѣ еще дремлетъ зерно
И садъ безъ цвѣтовъ, оно вызываетъ
Изъ хладныхъ покоевъ, навстрѣчу лучей,

(*) Совр. Т. VI стр. 327. Ср. Губера Т. II стр. 49.

Въ блестящія ткани одѣтыхъ людей.
Теперь оглянись: вотъ, надъ горою,
Увидишь, какъ дружно изъ мрачныхъ воротъ,
Въ поляхъ разсыпаясь шумящей толною,
Пестрѣя, выходитъ разгульный народъ,
Всѣ празднуютъ вкупѣ Христа воскресенье,
Для всѣхъ настаютъ беззаботные дни.
Покинувъ на время свое заточенье,
Не къ новой-ли жизни воскресли они?
Изъ-подъ мрака навѣсовъ и кровлей тяжелыхъ,
Изъ улицъ тѣсныхъ и невеселыхъ,
Изъ ночи таинственной древнихъ церквей—
Всѣ появились на свѣтъ лучей.
Смотри-же, смотри, какъ волнистой толпою
Народъ разбивается между садовъ,
Какъ по рѣкѣ, одна за другою,
Слѣдуютъ лодки весельныхъ пловцовъ.
А вотъ и послѣдній челнокъ, утопая,
Чуть подъ тяжелымъ грузомъ плыветъ.
Даже въ горахъ отдаленныхъ мелькая,
Платья пестрѣютъ, народъ бредетъ.
Какъ шумно въ селѣ молодежь веселится;
Смотря на нее, и старикъ молодится.
Здѣсь каждый въ довольствѣ проводить свой вѣкъ,
Я здѣсь на свободѣ, я здѣсь человекъ (*).

„Я упомянулъ здѣсь, продолжаетъ Губеръ послѣ
выписокъ:— „только о тѣхъ мѣстахъ, которыя соб-

(*) Сочр. Т. VI стр. 328. Ср. Губера, Т. II стр. 52.

„ственно принадлежать Пушкину; при изданіи цѣлаго перевода я не умолчу и о другихъ важныхъ поправкахъ, которымъ обязанъ его участію.

„Никто не зная, до какой степени рукопись, найденная подъ моимъ именемъ между бумагами Пушкина, принадлежитъ ему. Я бы могъ безнаказанно воспользоваться произведеніемъ великаго поэта, могъ-бы свое неизвѣстное имя украсить его стихами; но чувство долга, благодарная память о томъ, кто первый принялъ такое безкорыстное участіе во мнѣ, останавливаетъ меня отъ святотатственнаго преступленія, и я съ благоговѣніемъ возвращаю его имени то, что ему принадлежитъ.“

Въ слѣдующемъ 1838 г., въ IX. Т. Современника, нѣкто г. Бекъ, писавшій и печатавшій въ то время свои стишки, объявилъ, что этотъ отрывокъ изъ Фауста принадлежитъ *исключительно* ему, г. Беку, а не Губеру и не Пушкину. На это объявленіе Губеръ отвѣчалъ въ своемъ предисловіи къ изданію Фауста и, признавая, что означенные отрывки могутъ принадлежать г. Беку, говорить: „Время объяснило этотъ литературный *qui pro quo* и я съ удовольствіемъ освобождаю себя отъ труда г. Бека“ (*).

Это обстоятельство даетъ намъ поводъ указать на нѣкоторыя отличительныя черты характера Губера. Его способность увлекаться привязанностями своими была такъ велика, что мы выразимся безъ преувеличенія, если скажемъ, что онъ бывалъ *влюбленъ* въ

(*) См. Губера Т. II стр. XXX.

своихъ друзей. Понятно, что такое чувство законнѣ всего могло въ немъ развиваться къ Пушкину, который такъ обласкалъ поэта. Поэтому все, что онъ, на какомъ-бы то ни было основаніи, считалъ принадлежащимъ Пушкину, то имѣло въ его глазахъ ослѣпительную прелесть. Такъ онъ восхвалялъ до небесъ отрывокъ изъ Фауста, напечатанный въ Современникѣ и вовсе не отличающійся особенными достоинствами, какъ читатель можетъ судить по приведеннымъ выпискамъ. Когда ошибка разоблачилась и вмѣсто Пушкина, авторомъ отрывка оказался г. Бекъ, то безпечная, раздражительная натура Губера не могла равнодушно вынести этого извѣстія: онъ готовъ былъ бранить переводъ и не обошелся-таки безъ ироническихъ выраженій на счетъ его. Такая выходка вообще не говоритъ намъ въ пользу Губера, какъ критика, особенно, если вспомнимъ, что года четыре передъ тѣмъ, онъ не могъ признать даже Бориса Годунова за порядочное произведеніе, но она весьма рельефно характеризуетъ складъ души Губера и ничего не говоритъ въ ущербъ силѣ его поэтическаго таланта. Что онъ не былъ критикъ, особенно въ первые годы своей литературной дѣятельности, въ этомъ нельзя и сомнѣваться. Теоретическія воззрѣнія его отставали отъ вѣка, что впрочемъ должно вообще замѣтить о русской критикѣ до Бѣлинскаго. Въ 1838 г. Губеръ не понималъ еще прелести поэзіи Гейне, которую называлъ подражаніемъ французской литературы; тогда онъ провозгласилъ Гуцкова — проповѣдникомъ безнравственности, не подозревая того, что байронизмъ его

собственной лиры и восторженное поклонение Фаусту и Гёте—въ сущности основаны были на той-же ненависти къ существующей общественной средѣ, какою дышала поэзія новыхъ германскихъ поэтовъ. Мы можемъ съ несомнѣнной достовѣрностью сказать, что Губеръ въ это время уже разстался со многими суевѣрными, рутинными преданіями, руководящими обществомъ, но разстался-то онъ съ ними подъ вліяніемъ отсталаго мистика, такъ, что частичка матеріализма, пробужденнаго въ немъ Фесслеромъ, по милости его же затеряна была въ массѣ понятій отжившихъ. Такой разладъ не мирился съ требованіями гармоніи въ минуты поэтического вдохновенія или во время критической работы ума: поэтому Губеръ охотнѣе оставался при старомъ, простомъ мистицизмѣ, при старыхъ формахъ, общепонятныхъ, благодаря ихъ давности. Рѣшительный скептицизмъ не шелъ къ нему и онъ могъ выражать его только на словахъ, да изрѣдка въ стихахъ. Этотъ разладъ значительно уменьшился въ немъ отъ сближенія съ Пушкинымъ, который пробудилъ въ поэтѣ всестороннее, самостоятельное развитіе духа. Смерть Пушкина не заглушила въ Губерѣ новыхъ стремленій и не заставила его забыть переводъ Фауста, при чемъ ему чувствовалось иногда отсутствіе великой, могучей поддержки. Грустное настроеніе его духа послѣ смерти Пушкина отчетливо выразилось въ слѣдующемъ письмѣ его къ Г. Я. Тихменеву, отъ 26 сентября 1837 г.:

„День, въ который я получаю письмо отъ тебя, мой милый, старый, добрый, вѣрный, другъ, я считаю праздни-

„комъ. Для меня нѣтъ ни любви, ни страстей; судьба
 „не надѣлила меня разнообразіемъ чувствъ; но она
 „умѣла замѣнить этотъ недостатокъ; она дала мнѣ
 „святое, сильное, глубокое чувство, въ которомъ за-
 „ключены всѣ условія моего индивидуальнаго счастья;
 „это чувство — чистое чувство дружбы. Мое богат-
 „ство — друзья. Въ ихъ спискѣ ты занимаешь почетное,
 „первостепенное мѣсто. Съ твоимъ именемъ сопряжено
 „воспоминаніе лучшей эпохи жизни, эпохи развитія,
 „эпохи первыхъ надеждъ, первыхъ стремленій. Шесть,
 „семь лѣтъ отдѣляютъ это время отъ настоящаго; дай
 „оглянуться, много-ли осталось прежнихъ замысловъ,
 „прежнихъ впечатлѣній? надъ тобой прошла тяжелая
 „гроза; ты испыталъ горькія утраты; ты лишился не-
 „замѣнимыхъ благъ. Судьба равнодушно сорвала листья
 „съ зеленой вѣтки надежды, и оставила гладкую розгу.
 „Мой бѣдный, бѣдный другъ! Шесть лѣтъ — одно мгновеніе
 „въ безднѣ времени — а ты сирота! Но нѣтъ, для тебя
 „осталось небо и земля, земля и дружба. Друзья и
 „религія — вотъ твоя семья. А я? съ блестящими за-
 „мыслами я вышелъ на поприще жизни, съ жадностію
 „пріобрѣталъ познанія; не довольствуясь вѣрой, я искалъ
 „убѣжденія; спокойствіемъ души я заплатилъ за скуд-
 „ное знаніе. Три года я убилъ на изученіе философіи
 „во всѣхъ ея направленіяхъ, а результатъ этого изу-
 „ченія былъ горькое сознаніе нашей немощи и пере-
 „водъ Фауста. Гдѣ мои начинанія? что я совершилъ
 „въ продолженіи этихъ шести лѣтъ, этого ужаснаго
 „пространства времени въ сравненіи съ короткимъ пу-
 „темъ нашей жизни? Я думалъ! Важное дѣло думать!

„Глупая насмѣшка на самого себя! Я успѣлъ обратить
„на себя вниманіе Пушкина, его одобренія повели бы
„меня можетъ быть къ лучшей дѣятельности: кусокъ
„свинца уничтожилъ и эту надежду. И вотъ судьба
„человѣка. Изъ всѣхъ этихъ развалинъ я вынесъ одно
„сокровище — дружбу. Она неизмѣнная стихія моей
„жизни. Я не могу роптать на судьбу; положеніе мое
„теперь таково, что я вполне могу предаться моимъ
„литературнымъ занятіямъ, чего до этихъ поръ не
„было, потому что съ одной стороны математика со
„всѣмъ ея причетомъ поглащала весь мой досугъ, съ
„другой стороны я просиживалъ цѣлыя ночи надъ фи-
„лософическими книгами. Теперь же литература бу-
„детъ составлять служебное мое занятіе при томъ же
„институтѣ, въ которомъ я воспитывался; сначала я
„буду находиться при немъ въ званіи адъюнкта, а
„скоро можетъ быть и профессора русской словесно-
„сти.... Вотъ чѣмъ ограничиваются пока планы моего
„практическаго честолюбія; но высшая цѣль моей жизни
„— поэзія. Не знаю, достанется-ли и на мою долю
„хотя скромный вѣнокъ литературной знаменитости,
„или пройду я незамѣтною тропинкою по этому скольз-
„кому поприщу; но всѣ мои силы неослабно должны
„быть прикованы къ этой цѣли. Мое небо — литера-
„турная слава. Семилѣтнимъ мальчишкой я кропалъ
„стихи и думалъ о поэзіи, думалъ прославиться. Слава
„единственная женщина, за которой я усердно уха-
„живаю; не знаю, обратитъ ли она вниманіе на стра-
„стного любовника, на несчастнаго обожателя, или
„отвергнетъ Вотъ тебѣ

„откровенная исповѣдь моей души; смѣйся надъ моими „притязаніями, но согласись, что лучше имѣть предъ „собою недоступную цѣль, нежели вовсе не имѣть цѣли. „Мѣсяца черезъ полтора, я надѣюсь прислать тебѣ „моего Фауста, который теперь въ цензурѣ.“

Матеріальное положеніе Губера продолжало быть довольно стѣсненнымъ и заставляло его усердно работать надъ переводомъ тибетской грамматики и лексикона, что поручено ему было Академіей Наукъ по ходатайству его дяди, академика Шмидта. Кромѣ того, въ тоже время онъ былъ приглашенъ сотрудникомъ Современника и Литературныхъ Прибавленій, да долженъ былъ составлять статьи по исторіи нѣмецкой литературы для Энциклопедическаго Словаря. Служебныя занятія также отнимали у него много времени и заставляли его лѣтомъ жить за-городомъ.

Труженичество и неудачи тяготили Губера, да оно и не могло быть иначе. Вотъ что говорилъ онъ, въ 1847 году, въ одной изъ своихъ „Театральныхъ Хроникъ“, о несчастной участи бѣднаго поэта; намъ слышится въ этихъ словахъ сознаніе, выстраданное горькимъ опытомъ: „Вы, богатые баловни счастья, безза- „ботные наслѣдники скупыхъ отцовъ, вы находили-ли „когда-нибудь свободную минуту, вы брали-ли на себя „снисходительный трудъ, подумать объ участи вашего „бѣднаго брата—поэта, вашего потѣшника, котораго „произведенія вы читаете послѣ шумной оргіи, послѣ „роскошнаго ужина, чтобы скорѣе и слаще заснуть? „Вамъ приходило-ли въ голову, хоть только случайно, „отъ нечего дѣлать, что въ ту же минуту, гдѣ-нибудь

„на чердакѣ, подъ крышей, не спитъ и онъ, этотъ жалкій поэтъ, этотъ голодный труженикъ, котораго имя вы запомнили вмѣстѣ съ именами другихъ фигуръ? Правда, его бессонница не слѣдствіе дикой оргіи, винныхъ паровъ и разврата; ему не спится, потому что неотступныя мысли тревожно ходятъ въ трепещущемъ сердцѣ и душатъ и давятъ его болѣзненную голову. Эти мысли ищутъ слова и просятся въ стихи; въ этихъ мысляхъ кара и награда, проклятіе и благословіе поэта, эти страдальческія наслажденія — лучшая доля его. Онъ благодаритъ судьбу за эти поздніе часы труда, за эту бессонницу, которая даритъ ему столько сладкихъ пѣсень.

„Но, можетъ быть, ему не спится потому, что нужда стоитъ у дверей и караулитъ его бездѣйствіе; можетъ быть, онъ сидитъ надъ сухими и срочными работами, которыя за скудный кусокъ хлѣба разбиваютъ лучшія его вдохновенія. Поэтъ не продаетъ своей завѣтной думы; сокровища поэтической мысли не кормятъ его насущнымъ хлѣбомъ, потому что они не подчиняются времени; ихъ нельзя ставить на срокъ, по условію и подряду. Гордый бѣднякъ не рассчитываетъ на это свободное, прихотливое вдохновеніе; оно питаетъ его душу, но не кормитъ желудка, не одѣваетъ тѣла, не платитъ портному. На эти прозаическія дѣла есть и прозаическія занятія, есть литературное ремесло, есть срочная работа. И вотъ на какое ремесло осужденъ бѣдный поэтъ! Онъ въ наемъ отдаетъ свое время, чтобы жить, какъ живутъ другіе, и у этаго проданнаго времени онъ крадетъ бѣглую

„минуту, чтобы въ судорожномъ волненіи кинуть на
„бумагу горячую, поэтическую мысль. Онъ осужденъ
„на эту работу, потому что, по условіямъ нашего
„образованнаго времени, онъ тоже занимаетъ какое-
„нибудь мѣсто въ обществѣ. Пустому, пошлomu и
„скучному свѣту угодно было допустить до себя и
„поэта, въ видѣ привилегированнаго фигляра, кото-
„рый можетъ иногда прочесть стихи, или кинуть
„странную мысль, острое слово, въ минуту совер-
„шеннаго бездѣлья, когда истощены всѣ свѣтскія
„сплетни, и это гнилое, праздное общество зѣваетъ
„въ невольномъ сознаніи собственной пустоты. А если
„онъ, на горе себѣ, на счастье своей поэзіи, встрѣ-
„титъ посреди этого общества существо, которое тро-
„нетъ въ сердцѣ его заветную струну поэтической
„любви? А если онъ встрѣтитъ женщину, по волѣ
„своейравной судьбы брошенную въ это вялое обще-
„ство, окруженную благоуханіемъ поэзіи, созданныю
„для высокой поэтической страсти, на блаженство и
„на проклятіе поэта?... Что-же тогда ожидаетъ его?
„Какія новыя мученія готовить неумолима судьба?
„Время, день, вечера поэта принадлежатъ ей; его мысли
„прикованы къ каждому ея движенію; его вдохновеніе
„живетъ ея мимолетной улыбкой, ея случайнымъ взгля-
„домъ. Но вотъ приходитъ ночь, страшная, бессон-
„ная, мучительная ночь; поэтъ за рабочимъ столомъ;
„блѣдный свѣтъ озаряетъ бумагу, которая напрасно
„ждетъ привычныхъ строкъ; нужда у дверей, жизнь
„и общество требуютъ денегъ; эти наслажденія поку-
„паются не даромъ. Бѣдный поэтъ долженъ жить какъ

„и другіе; на немъ лежатъ тѣ же условія
 „У него только недостаетъ тѣхъ-же деревень и тѣхъ-
 „же заводовъ; за то у него голова и руки, которыя
 „могутъ работать, за то судьба дала ему дарованіе—
 „и въ этомъ дарованіи все богатство поэта. И вотъ
 „онъ въ позднюю ночь сидитъ за рабочимъ столомъ;
 „платье ремесленника замѣнило модный фракъ; передъ
 „нимъ срочная работа; завтра она должна быть въ
 „типографіи; правда, это скучная, сухая работа, но
 „за нее платятъ хорошія деньги, а они ему нужны;
 „завтра съ него потребуютъ уплату, завтра срокъ
 „заемному письму, завтра можетъ быть его ожидаетъ
 „тюрьма. Пиши же, жалкій труженикъ, пиши по за-
 „казу—ты нанялся въ поденщики! Но мысли твои
 „ходятъ вольно и далеко; онѣ сладкими пѣснями
 „окружаютъ милый, свѣтлый образъ любимой жен-
 „щины; онѣ полны вдохновенія и поэзіи. Но онѣ не
 „твои, не тебѣ принадлежатъ. Ты продалъ ихъ дру-
 „гому; онѣ служатъ въ наймахъ у расчетливаго хо-
 „зяина, которому дѣла нѣтъ ни до твоей любви, ни
 „до твоихъ вдохновеній. Вернись назадъ изъ своего
 „воздушнаго царства на прозаическую землю; вспомни
 „свои нужды, думай о деньгахъ, переложи свои вдох-
 „новенія на рубли; выжимай изъ бѣднаго мозга сиѣжія
 „мысли, потѣшай публику, которая дастъ тебѣ средства
 „жить по всѣмъ условіямъ желѣзнаго приличія“ (*).

Губеръ замѣтно однако сталъ утомляться множе-
 ствомъ занятій и мечталъ о поѣздкѣ за-границу.

(*) См. Пет. Вѣд. 1847 г. N° 27.

Средства къ тому онъ думалъ извлечь изданіемъ Фауста, на которое возлагалъ самыя блестящія надежды. Вотъ что пишетъ онъ своимъ родителямъ отъ 20 ноября 1837 г.

„Любовь Пушкина ко мнѣ, его вліяніе на литературу вообще не кончилось съ его жизнью. Когда еще онъ былъ живъ, то бралъ на себя всѣ хлопоты и всю отвѣтственность за Фауста. Онъ давалъ мнѣ слово продать 3.000 экземпляровъ по 10 р. и Пушкинъ сдержалъ бы свое слово. Теперь я печатаю Фауста на свой счетъ и получаю за каждое изданіе около 9.000 руб. Съ нѣкоторою вѣроятностію, я могу рассчитывать на три изданія; всего составляетъ до 25.000 руб., которые я могу получить года въ полтора.“

Но надежды поэта не сбылись: одного изданія Фауста достало на 20 лѣтъ, несмотря на несомнѣнныя достоинства этого перевода. Вмѣсто поѣздки за-границу, Губеръ, въ концѣ того же 1837 г., едва могъ выбрать время, чтобъ съѣздить на мѣсяцъ къ своимъ роднымъ въ Москву и это было для него счастливымъ отдыхомъ.

Къ довершенію отчета нашего о дѣятельности поэта въ 1837 г. скажемъ, что въ этомъ году онъ перевелъ одно изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина: Стансы, *Брожу-ли я вдоль улицъ шумныхъ* (*) на

(*) Изд. Анненкова, II, 489.

нѣмецкій языкъ и напечаталъ въ одномъ иностранномъ журналѣ (въ *Zeitung für die elegante Welt*, N^o 210 за 1837 годъ. См. Примѣч. III).

23-хъ-лѣтній, молодой Губеръ былъ уже необходимымъ членомъ литературнаго кружка, который „съ распростертыми объятіями“ встрѣтилъ его по пріѣздѣ изъ Москвы въ началѣ 1838 г. Въ это время онъ участвовалъ на юбилейномъ празднествѣ, данномъ въ честь Крылова. Вотъ коротенькое описаніе его изъ письма Губера къ сестрѣ своей отъ 5 февраля 1838 г.

„Любезная Эмили! Второго февраля совершилось „незабвенное для русской литературы празднество. „Всѣ министры, всѣ писатели и знаменитые художники „собрались для празднованія юбилея литературной „дѣятельности нашего Крылова. Все общество состояло „изъ 400 человекъ; всего собрано было до 2000 р., „на которые данъ былъ великолѣпный обѣдъ. Кры- „ловъ тронуть былъ до слезъ; Государь прислалъ „ему въ этотъ день звѣзду Станислава. Дамы, собрав- „шіяся на хорахъ залы, брасали ему цвѣты, а мы „ему непрерывно кричали: ура! Я былъ во все „время въ какомъ-то необыкновенномъ восторгѣ. Послѣ „обѣда старикъ далъ мнѣ листокъ изъ лавроваго „вѣнка, который ему тутъ-же поднесли. Этотъ лис- „токъ храню я, какъ святыню.“

Въ томъ же письмѣ онъ говоритъ, „что получилъ „изъ цензуры своего Фауста, который потерпѣлъ „нѣсколько поражений“, но что „надо поневолѣ по- „мириться и начать печатаніе.“ И такъ въ теченіи двухъ лѣтъ Губеръ совершилъ свой незабвенный трудъ,

надъ которымъ вѣялъ духъ Пушкина. Вооруженный этимъ духомъ, онъ смѣло выступалъ передъ публикой съ своимъ дѣтищемъ, смѣло смотрѣлъ въ глаза критики, не боясь брани, какъ и не увлекаясь чрезмерной похвалой: въ немъ самомъ было слишкомъ много сознанія. Фаустъ былъ поднесенъ министру народнаго просвѣщенія, гр. Уварову, который въ свою очередь поднесъ его Государю. Великая Княгиня Марія Павловна прислала ему бриліантовый перстень за поднесенный экземпляръ и этотъ подарокъ былъ для него особенно пріятенъ, потому что Великая Княгиня была, какъ извѣстно, въ дружескихъ сношеніяхъ съ самимъ Гёте. Публика радушно встрѣтила переводъ знаменитаго творенія, а критика отвѣчала частью полемикой, частью теплымъ словомъ. Только Булгаринъ возсталъ противъ перевода; мы не станемъ передавать содержанія его словъ, но лучше передадимъ мнѣніе о нихъ самаго Губера изъ письма его въ Москву (безъ означенія числа и года, но вѣроятно отъ 1838 г.):

„Наконецъ-то я пустилъ по свѣту мое первое дѣтище; оно уже успѣло нѣсколько испытать претворности жизни. Съ одной стороны Булгаринъ пріи́малъ его съ горечью и бранью, съ другой Сенковскій съ неимовѣрными похвалами. Истина, вѣроятно, по обыкновенію, находится въ серединѣ. Единственно, почему хула первого дѣлаетъ лишь честь, состоитъ въ томъ, что Булгаринъ, какъ *шморантъ*, безглазень въ литературѣ, а какъ записной поборникъ рутинны уже и потому мой личный врагъ и видитъ, во мнѣ дурное. Въ скоромъ времени выдуть въ свѣтъ

„двѣ или три антикритики противъ него. Его поле-
„мическая выходка противъ меня принесла мнѣ пользу
„потому, что во первыхъ, чрезъ это на мой трудъ
„обращено вниманіе публики, которая всегда думаетъ
„противоположное Булгарину, а во вторыхъ, я за-
„рекомендовываю себя передъ обществомъ съ *доброй*
„стороны, какъ врагъ Булгарина. Прочіе, будущіе
„разборы моего перевода всѣ въ мою пользу.“

Переводъ Фауста навелъ однако на Губера одну
незгладу; изъ-за него, благодаря ложному мнѣнію о
гётевомъ твореніи, онъ признанъ былъ Мефистофе-
лемъ, человѣкомъ вредныхъ и безиравственныхъ убѣж-
деній. Различнаго рода интриги людей, имѣвшихъ
такое мнѣніе, постарались объ отказѣ ему въ долж-
ности адъюнкта русской словесности, которую ему
бѣщали два года тому назадъ, которую онъ ждалъ
съ нетерпѣніемъ и для которой готовился съ потерей
времени и силъ. Куда-жъ эти господа запрятали-бы са-
маго Гёте, еслибъ могли имѣть на него вліяніе, когда
даже *переводчика* Фауста сочли *развратителемъ юно-*
шества?

Мы пишемъ не критическую статью и оттого не
вправѣ входить въ собственные разсужденія о досто-
инствахъ и недостаткахъ губеровскаго перевода Фау-
ста. Появленіе этого труда во всякомъ случаѣ было
замѣчательнымъ въ нашей литературѣ, которая до
тѣхъ поръ была знакома только по двумъ-тремъ от-
рывкамъ съ великимъ твореніемъ Гёте. Съ тѣхъ поръ,
съ легкой руки Губера, нѣтъ почти поэта, который
не испробовалъ-бы своихъ силъ надъ переводомъ

Фауста; двое изъ нихъ (Струговщиковъ и Вронченко) передали намъ его вполнѣ; не разъ фамиліи гг. Грекова Тургенева, Огарева и др. являлись подписанными подъ прекрасно-переведенными отрывками, но все таки трудъ Губера, оконченный слишкомъ 20 лѣтъ тому назадъ, остается, по нашему мнѣнію, лучшимъ. Если точно онъ одинъ умѣлъ сохранить въ своемъ переводѣ всю глубину поэзіи оригинала, всю сущность высокихъ типовъ, созданныхъ Гёте, если содружество Пушкина положило свою неизгладимую печать на все цѣлое, то имя Губера не умретъ въ потомствѣ и его Фаустъ не перестанетъ быть образцовымъ твореніемъ. Если же притомъ вспомнимъ, что переводчику было тогда только 23 года, что тогда бороться съ русскимъ стихомъ — не то, что теперь и что донинѣ многія изъ поэтовъ не могутъ осилить цѣлаго Фауста(*), то наше уваженіе къ Губеру покажется вовсе не преувеличеннымъ. Ожидая отъ современной критики справедливой оцѣнки труду по поводу настоящаго изданія, мы напомнимъ читателямъ объ одной изъ дѣльныхѣйшихъ статей, появившихся въ журналахъ нашихъ, по выходѣ Фауста. Вотъ сущность критической статьи о переводѣ Фауста, помѣщенной въ январской книжкѣ 1839 г. Отечественныхъ Записокъ.

„Минувшій годъ былъ не богатъ поэтическими произведеніями по части русской словесности, но

(*) Недавно появилась вся первая часть Фауста въ переводѣ г. Грекова. Мы смѣемъ думать, что губеровскій переводъ и теперь все-таки остается *лучшимъ* во многихъ отношеніяхъ.

„скудная литературная жатва была вполне вознаграждена появившимся въ ноябрѣ мѣсяцѣ переводомъ „Фауста. Это первоклассное произведеніе одного изъ „величайшихъ современныхъ гениевъ переведено литераторомъ, котораго имя, до того времени кое-гдѣ „являвшееся подъ стихотвореніями въ разныхъ журналахъ, еще не было ознаменовано трудомъ важнымъ, „который бы сдѣлалъ его надолго памятнымъ для „русской литературы. Г. Губеръ представляетъ намъ „теперь первый опытъ такого труда, и мы, избалованные образцовыми переводами Жуковского, „не обвиняясь назовемъ его переводъ „Фауста“ хорошимъ, даже очень хорошимъ. Правда, не смѣемъ „не сознаться, что и въ возможномъ родѣ переводовъ, „переводъ г. Губера не есть первоклассный, въ особенности для тѣхъ, кто знакомъ съ переводомъ „Орлеанской Дѣвы“ и „Шильйонскаго Узника.“ Первоклассные переводы, по мнѣнію нашему, только что „не невозможные. Но послѣ ихъ, во второй линіи, „переводъ „Фауста“ занимаетъ одно изъ почетныхъ „мѣстъ. Не забудьте, какою гибкостью таланта должны обладать переводчикъ этой чудной, глубоко-„мысленной драмы. въ которой столько лирическаго „и драматическаго, столько философій, столько гения, „и гдѣ такъ разнообразны отбѣнки идей и картинъ, „и такъ драгоценны всѣ эти отбѣнки. Ему, какъ „Протею, надобно принимать всѣ возможные вѣды.

„Предпринять въ наше время такой огромный трудъ, „и съ такимъ постоянствомъ до конца его преслѣдовать въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, какъ сдѣлалъ

„это г. Губеръ, вотъ уже не только не маловажный, „но заслуживающій полное уваженіе подвиговъ. Еще „болѣе: г. Губеръ уже во второй разъ переводить „Фауста. При умѣнн Губера владѣть языкомъ, „стихъ его звученъ и пріятенъ. Жаль, что вездѣ онъ „старался удержать размѣры подлинника; правда, это „одно изъ сильнѣйшихъ доказательствъ того, какъ „умѣетъ онъ подчинить языкъ своей власти, за то „онъ необходимо долженъ былъ стѣснить себя; и „едва ли это не одна изъ главныхъ причинъ, что „часто, передавая намъ мысль Гёте, г. Губеръ не „вездѣ удерживаетъ ея оттѣнки. Впрочемъ не знаемъ, „можно ли въ переводѣ сохранить эти яркія краски „языка, рабски покорнаго великому Гёте, языка, кото- „рымъ онъ понятно выражаетъ самыя отвлеченныя, „почти невыразимыя идеи.

„Смотря на все это, мы думаемъ, что „Фаустъ“, „по дивному совершенству слога, есть одна изъ труд- „нѣйшихъ пьесъ для перевода, если не самая трудная. „Внѣшняя драпировка—вещь немаловажная въ поэти- „ческомъ произведеніи. Что значить розовый кустъ „безъ цвѣтовъ, что самая роза безъ ея аромата? то „же, что ученый прозаическій переводъ поэтического „произведенія.

„Несмотря однако на всѣ трудности, г. Губеръ „передалъ многое очень удачно: почти всѣ лирическія „мѣста у него превосходны; а лирическія мѣста въ „Фаустѣ едва ли не самыя трудныя и по глубинѣ „мыслей, и по ихъ отвлеченности. Въ подтвержденіе „приведемъ отрывокъ изъ перваго монолога „Фауста“,

„хотя и весь этотъ монологъ, за исключеніемъ начальныхъ стиховъ, переданъ прекрасно.“

Затѣмъ слѣдуютъ выписки изъ Фауста (стр. 27—29 и 38—39 тома II-го нашего изданія), послѣ которыхъ рецензентъ продолжаетъ:

„Простите, если мы невольнo отступимъ отъ холоднаго разбора при чтеніи этихъ прекрасныхъ стиховъ; они, особенно первая половина, невольнo напоминаютъ намъ счастливыя времена послѣдняго періода нашей поэзіи. Пускай-они не совсѣмъ близки къ подлиннику; но они передаютъ сердцу то, что высказалъ Гёте, а легкій и плавный стихъ говоритъ намъ, что это все вошло въ душу переводчика, и вылилось какъ-бы невольнo, точно такъ же, какъ въ восторженную минуту выливаются собственныя душевныя страданія.

„Вообще мы должны замѣтить, что переводъ мѣстами не совсѣмъ близокъ къ оригиналу, и мы вполнѣ увѣрены, что человѣкъ, умѣвшій передать намъ прекрасными стихами большую часть „Фруста“, умѣлъ бы поправить и недостатки стиховъ своихъ: стоило бы только г-ну Губеру пересмотрѣть свой трудъ съ большимъ стараніемъ. Увлекаясь прекраснымъ въ переводѣ г. Губера и отдавая ему полную справедливость, мы считаемъ обязанностію показать его недостатки: первое, мы сказали уже, по мѣстамъ встрѣчается невѣрность въ переводѣ, иногда даже мысль выражена очень темно; напримѣръ:

Искуство времени не знаетъ,

А наша жизнь такъ коротка.

„Въ подлинникѣ сказано:

Ach Gott! die Kunst ist lang,
Und kurz ist unser Leben.

„то есть: Ахъ, Боже, наука долга. а жизнь коротка.

„Напрасно онъ употреблялъ также силлабическіе „стихи, называемые у нѣмцевъ Knittelverse: они не „свойственны духу нашего языка. Есть сверхъ того, „мѣстами, промахи противъ размѣра, хотя и очень „рѣдко. Встрѣчаются также легкія ошибки противъ „языка, напримѣръ въ приведенномъ нами отрывкѣ:

Мнѣ въ пищу прахъ! мой домъ въ пыли.

„На нѣмецкомъ Фаустъ уподобляетъ себя червю „и говоритъ, что онъ живетъ и питается въ пыли, до- „колѣ прохожій не уничтожитъ его подъ своею ступ- „нею. На русскомъ, неговоря уже о томъ, что мысль „не выдержана, слова: *мой домъ въ пыли!* не выра- „жаютъ даже того, что хотѣлъ сказать переводчикъ; „можно подумать, что домъ Фауста запылится, какъ „одежда его.

„Чтобъ быть вполне справедливымъ, замѣтимъ также „переводчику, что онъ не вездѣ сохранилъ эту уди- „вительную простоту и точность языка подлинника, „которыя такъ увлекаютъ читателя въ Гёте. Г. Губеръ „иногда фигураленъ въ выраженіяхъ и характеръ Мар- „гариты подъ перомъ его получилъ не совсѣмъ тѣ „черты, которыя даны ей авторомъ. У Гёте это „нѣжное, прелестное, простодушное, исполненное любви „созданіе, типъ женщины въ ея дѣвственной чистотѣ; „она у него не представительница какого-либо сос-

„ловія, хотя и принадлежит къ простому кругу
 „людей; у г. Губера, напротивъ, она мѣщанка, почти
 „субретка въ нѣкоторыхъ сценахъ. Отъ этого какъ-то
 „грубѣетъ ея фізіономія, и она сама лишается своей
 „тонкой, прозрачной оболочки, сквозь которую свѣ-
 „тится душа, исполненная дивною граціею. Не совсѣмъ
 „удачно также обрисованъ и Мефистофель. Лирикъ
 „въ душѣ, г. Губеръ можетъ увлекаться прекраснымъ,
 „можетъ горевать надъ каждымъ человѣкомъ, но не
 „смѣяться надъ его страданіями; съ пера его свободно
 „и легко льются восторженные пѣсни вдохновенія,
 „но оно неспособно излить весь саркастическій ядъ
 „Мефистофеля. Отъ того въ его переводѣ острота бѣ-
 „совской насмѣшки притуплена, часто растянута и
 „безсильна.

„Вотъ полный отчетъ нашъ о гигантскомъ трудѣ
 „совершенномъ на поприщѣ нашей изящной литера-
 „туры. Легко изъ него сдѣлать общій выводъ. Мы
 „считаемъ г. Губера прекраснымъ лирическимъ по-
 „этомъ, плѣняемся его переводомъ тамъ, гдѣ онъ по-
 „падаетъ на дорогу, указанную ему собственнымъ
 „его природнымъ назначеніемъ, и укоряемъ его за
 „погрѣшности противъ вѣрности и точности въ нѣко-
 „торыхъ мѣстахъ перевода. Но Фаустъ такое тво-
 „реніе, для котораго надобно нѣсколько переводовъ
 „въ стихахъ и прозѣ, переводовъ и ученыхъ, сдѣлан-
 „ныхъ съ подстрочною вѣрностію, подъ руководствомъ
 „комментарій, и изящныхъ, въ которыхъ было бы
 „возсоздано художественное достоинство подлинника.
 „Г. Губеръ началъ первый и ему безспорно будутъ

„обязаны всѣ просвѣщенные соотечественники полною
„благодарностію. А воть примѣръ его возбудить дру-
„гихъ направить труды свои на подобный прекрас-
„ный подвигъ, и мы вдругъ увидимъ нѣсколько пе-
„реводовъ великаго творенія, которое занимаетъ одно
„изъ первыхъ мѣстъ въ европейской литературѣ но-
„выхъ временъ.

„Въ заключеніе поблагодаримъ еще г. Губера за
„прекрасное предисловіе его: въ немъ онъ изложилъ
„довольно отчетливо свои мысли о Фаустѣ, котораго
„создалъ геній великаго Гёте, и о Фаустѣ, жившемъ
„въ народномъ преданіи. Замѣчанія, помѣщенные въ
„концѣ книги на отдѣльныя сцены, объясняютъ многое,
„что, съ перваго взгляда, можетъ казаться темнымъ
„для нѣкоторыхъ читателей. Они необходимы для
„полнѣйшаго уразумѣнія поэмы. Отъ лица всѣхъ
„благомыслящихъ людей осмѣливаемся благодарить
„г. Губера за добросовѣстный благородный трудъ,
„который дѣлаетъ честь его таланту, и за постоян-
„ство, твердость исполненія прекраснаго, безкорыстнаго
„намѣренія—передать намъ лучшаго изъ современныхъ
„поэтовъ въ лучшемъ его твореніи“.

Неутомимый Губеръ не успѣлъ еще кончить сво-
его Фауста, какъ занялся сочиненіемъ оригинальной
поэмы: *Антонія*, которую онъ называлъ *философскимъ*
романомъ и въ которой предполагалъ написать 8
главъ, но написалъ только 6. До нашего изданія,
только одна первая глава была напечатана въ 1838
г., въ *Новогодникъ* изд. Н. В. Кукольника. Но здѣсь
и эта глава передана совершенно въ другомъ видѣ,

чѣмъ въ нашемъ изданіи (См. Примѣч. IV). Объ этой главѣ Бѣлинскій тогда-же отозвался въ Московскомъ Наблюдателѣ, какъ о поэмѣ, въ которой „мѣстами „гладкость и бойкость стиха, мѣстами игривость „разказа, мѣстами истинное чувство составляетъ дос- „тоинство, а излишнее подражаніе Пушкину, мѣстами „дурные стихи, вообще претензія на какую-то глу- „бокость, составляютъ ея недостатки“ (*).

Представивъ читателямъ нашего изданія остальные пять главъ поэмы, мы можемъ указать на автобіографическое ея значеніе. Въ ней заключается психологическая исторія отношеній Губера къ Фесслеру, который умеръ вскорѣ послѣ начала этой поэмы, а именно въ 1839 году. Эти отношенія какъ-будто мучили совѣсть Губера: онъ ни разу не упоминаетъ даже имени Фесслера ни въ одномъ изъ имѣющихся у насъ писемъ. Онъ сознавалъ свое подчиненіе мистику и, быть можетъ, не совсѣмъ былъ доволенъ имъ. Безъ такого сознанія, поэма врядъ-ли могла явиться изъ-подъ пера Губера, потому что первыя двѣ главы „Антонія“ ни болѣе ни менѣе, какъ подробная автобіографія и что по всей поэмѣ проведена идея того же разочарованія жизни, какимъ страдалъ самъ Губеръ. Нужно было пережить такое положеніе, въ какое поставленъ Антоній, чтобъ подчинить его анализу; продолжая еще находиться въ немъ, нельзя сознавать и представлять его въ поэтическихъ образахъ. Впрочемъ лирический характеръ всей поэмы даетъ намъ право

(*) См. Сочиненія В. Бѣлинскаго М. 1859 г. Ч. III. стр. 16—17.

не безъ основанія подозрѣвать, что сознаніе въ Губерѣ было далеко не полное и что онъ все еще блуждалъ въ хаосѣ неопредѣленныхъ воззрѣній. Видно, что поэма эта писалась безъ твердо-задуманнаго плана и что самъ авторъ не въ силахъ былъ написать ничего болѣе, кромѣ матеріаловъ. Отъ этого многіе отрывки изъ поэмъ напечатаны были имъ, какъ отдѣльныя лирическія произведенія и, надо сказать, выигрывали болѣе, чѣмъ въ поэмѣ. Одинъ изъ этихъ отрывковъ, именно изъ V главы, попадаетъ въ тетради стиховъ 1835 года: (*) можетъ быть уже тогда Губеръ началъ свою поэму, если только отрывокъ не былъ написанъ какъ самостоятельное произведеніе и уже послѣ вошелъ въ составъ поэмы. Первое предположеніе впрочемъ вѣроятнѣе. Въ нашемъ изданіи мы напечатали эти отрывки и отдѣльно и въ самой поэмѣ, чтобъ не лишить Антонія своей полноты, а собраніе лирическихъ произведеній однихъ изъ лучшихъ піесъ. Содержаніе Антонія мы отчасти знаемъ изъ начала нашей біографіи, когда намъ не разъ приходилось ссылаться на него. Начиная съ 3-й главы, поэма, кажется, въ подробностяхъ своихъ начинаетъ терять свой автобіографическій смыслъ. Кромѣ самосознанія, которое должно было навести Губера на мысль о поэмѣ, въ ней слишкомъ замѣтно вліяніе Фауста. Основная идея Антонія таже, что и Фауста; разница въ томъ, что Антоній—не ученый мужъ, а неопытный юноша, котораго развращаетъ

(*) См. Т. I. стр. 17—18.

свой Мефистофель—Сильвіо. Если въ лицѣ Антонія мы можемъ себѣ представлять самаго Губера, то въ лицѣ Сильвіо—никого другаго, какъ Фесслера.

Приводимъ здѣсь письмо поэта къ Г. Я. Тихменеву, относящееся къ этому времени.

„21 Марта 1839 г. Здравствуй, мой добрый другъ
„Григорій Яковлевичъ! Спасибо за милое письмо твое.
„Вотъ тебѣ и Фаустъ, который давно уже ждетъ тебя
„и не былъ отосланъ по непростительному нерадѣнію
„моему. Я въ этихъ дѣлахъ вообще какъ-то безтол-
„ковъ: никакъ не соберусь сдѣлать пакета, отправить
„на почту и проч. Не сердись на меня, ежели я рѣдко
„пишу къ тебѣ: будь увѣренъ, что я отъ того не ме-
„нѣ тебя люблю; но я, кажется, отъ того пишу рѣд-
„ко, что слишкомъ много пишу. Теперь я занимаюсь
„составленіемъ критической исторіи философіи, изъ ко-
„торой помѣщаю статьи въ *Отечественныхъ Запис-*
„*кахъ*. Ты спрашиваешь, не произвожу ли я какое-
„нибудь оригинальное поэтическое дѣтище? я на это
„могу отвѣчать утвердительно. Я пишу философичес-
„кій романъ въ стихахъ; — первую главу этого ро-
„мана я подарилъ Кукольникову для его *Новогодника*
„и она уже отпечатана. Впрочемъ конецъ романа скры-
„вается въ неизвѣстныхъ мракахъ будущаго.

„Ты, вѣроятно, слышалъ о *Сторусскихъ литерато-*
„*ровъ*? Можетъ быть, ежели успѣю приготовить что-
„нибудь, на будущій годъ я тисну и мою фпзіономію,
„въ этой скромной галлерей рожъ. Въ такомъ случаѣ
„я непременно пришлю тебѣ оттискъ, чтобы тебѣ по-
„казать, какой я сдѣлался молодецъ съ тѣхъ поръ,

„какъ мы разстались ?!?!?! Впрочемъ я бы тебѣ
„совѣтоваль не дожидаться портрета, а лучше пріѣ-
„хать: впечатлѣнія будутъ вѣрнѣе и отчетливѣе. Въ
„самомъ дѣлѣ, я бы совѣтоваль тебѣ привезти сюда
„моего племянника (*); здѣсь бы его лучше пріютили,
„нежели тамъ, а кстатѣ посмотрѣли бы другъ на друга.
„Я увѣренъ, что ты, не смотря на молодость своихъ
„дѣтей, уже теперь думаешь усердно о будущей судь-
„бѣ ихъ. Сообщи же мнѣ свои планы, мечты, надежды:
„ты знаешь, что я раздѣлю ихъ съ тобою отъ души,
„къ тому же мнѣ, какъ дяди, не худо присоединить
„слова два къ разсужденію о будущемъ назначеніи мо-
„ихъ племянниковъ.

„Знаешь ли какая мысль меня теперь занимаетъ
„всего болѣе? Какія мечты тѣшатъ меня? Я хочу
„ѣхать за-границу на нѣсколько лѣтъ, ежели можно
„побыть въ нѣмецкомъ университетѣ и посмотрѣть на
„Европу; ежели времени не хватитъ, то разумѣется
„я ограничусь осмотромъ Европы, а нѣмецкій уни-
„верситетъ только такъ для роскоши, въ случаѣ осо-
„беннаго счастья. Эту поѣздку я хочу совершить на соб-
„ственный счетъ, чтобы быть полнымъ хозяиномъ и
„не связать себя отчетами. Моя мечта принадлежитъ, ко-
„нечно, еще къ области воздушныхъ строеній; но фун-
„даментъ ея болѣе и болѣе приближается къ землѣ.
„Авось дастся! Авось—великое слово!

„О занятіяхъ и мечтахъ моихъ я тебѣ говорилъ:

(*) Рѣчь идетъ о сынѣ Г. Я. Тихменева, т. е. о моемъ по-
койномъ братѣ. Отца нашего онъ звалъ *братомъ по чувству*,
а насъ племянниками. А. Т.

„болѣе нашему брату и говорить нечего. Что я тебя люблю—это старая вещь, которую повторять не слѣдуетъ, чтобы не надобѣсть наконецъ. Что ты меня любишь, я тоже знаю и въ этомъ увѣренъ. Что мы другъ другу рѣдко пишемъ — объ этомъ лучше, и говорить не нужно, потому-что мы тутъ оба вино-ваты, и я по преимуществу“.

Кромѣ Антонія, въ это же время онъ задумывалъ другія сочиненія, составлялъ планъ поэмы „*Вѣчный Жидъ*“, писалъ мелкія стихотворенія и продолжалъ переводъ тибетскаго лексикона, заключавшаго въ себѣ до 100 печатныхъ листовъ.

Что касается до поэмы „*Братоубійца*“, то она вѣроятно написана очень давно, до 1835 г. Самъ авторъ былъ недоволенъ ей, хотя и она не лишена достоинствъ, общихъ всей поэзіи Губера.

Въ 1839 г. Губеръ вышелъ въ отставку изъ инженерной службы съ чиномъ капитана и поступилъ гражданскимъ чиновникомъ въ канцелярію графа Клеймихеля, главноуправляющаго путями сообщенія. — Здѣсь онъ пріобрѣлъ общую любовь сослуживцевъ за свою прямоту и благородство и вниманіе начальства за свои способности. Но канцелярская служба тяготила его; оффиціальность была не въ его натурѣ; излишняя прямота вредила его служебнымъ отношеніямъ такъ, что онъ черезъ три года долженъ былъ оставить службу. Вотъ одинъ изъ многихъ случаевъ, служившихъ поводомъ къ его отставкѣ: одинъ изъ ближайшихъ начальниковъ его поручилъ ему составить записку о какомъ-то дѣлѣ; Губеръ исполнилъ

порученіе, но начальникъ нашелъ бумагу не довольно хорошо написанною, прибавляя „а еще поэты/литераторы!“ Губеръ измѣнилъ, снова получилъ замѣчаніе и приказаніе исправить; тогда онъ переписалъ бумагу буквально въ той формѣ, въ какой она была составлена въ первый разъ и осыпанъ былъ похвалами начальника, который присококупилъ:

— Вотъ, вы когда захотите что-нибудь сдѣлать, такъ и выходитъ прекрасно!

— Да помилуйте, отвѣчалъ раздраженный Губеръ: — это копія съ первой бумаги, которую вы же не одобрили.

Разумѣется, начальникъ былъ вовсе недоволенъ такой выходкой и присоединился къ служебнымъ врагамъ поэта.

Другой случай показываетъ благородное упорство Губера относительно тѣхъ приказаній начальства, которыя противорѣчили его убѣжденіямъ. Разъ какъ-то, въ 1842 году, въ институтѣ четверо молодыхъ людей 16—17 лѣтъ присуждены были къ тѣлесному наказанію за какую-то шалость. Въ самый день этой церемоніи, утромъ, начальникъ велѣлъ позвать къ себѣ чиновника изъ канцеляріи, гдѣ по раннему времени не было еще никого, исключая Губера, который имѣлъ тогда срочныя работы. Онъ явился къ начальнику.

— Сегодня наказываютъ въ корпусѣ, знаете? Ступайте туда и распорядитесь, сказалъ ему начальникъ.

— Не умѣю, отвѣчалъ лаконически и рѣшительно Губеръ.

Начальникъ выходилъ изъ себя, возвышалъ голосъ и все получалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: не умѣю!

Черезъ нѣсколько времени понадобилось составить докладъ и получше изложить его, что часто по неволѣ поручалось Губеру за недостаткомъ стилистическихъ познаній между другими чиновниками. Начальникъ посылаетъ за нимъ, и, скрѣпя сердце, принимаетъ его вѣжливо, хотя холодно. Когда Губеръ принималъ на себя возлагаемое на него порученіе, то начальникъ сквозь зубы спросилъ его:

— *Это* умѣете?

— *Это* умѣю, отвѣчалъ онъ; а *того* не умѣю.

Послѣ всего этого, отношенія его къ нѣкоторымъ начальникамъ, конечно, должны были быть очень непрочны, хотя наружно сохранялись такъ, какъ не у многихъ изъ его товарищей по службѣ.

При переходѣ изъ инженерной въ гражданскую службу, Губеръ составлялъ себѣ планъ жизни и сообщилъ его своимъ родителямъ въ слѣдующемъ письмѣ отъ 29 іюля 1839 года.

„Дорогіе родители!.... Уже давно нянчусь я съ „своимъ планомъ, который не покидаетъ ни на мигъ „нуту моей головы. Я хочу поговорить съ вами о немъ „подробнѣе, такъ-какъ къ выполнению его хочу приступить не только съ вашего совѣта, но и съ вашего „согласія.

„Съ тѣхъ поръ какъ я себя знаю, я чувствую въ „себѣ непреодолимую привязаность къ философскимъ „занятіямъ, къ философіи въ полномъ смыслѣ этого „слова, во всѣхъ я направленіяхъ и примѣненіяхъ

„къ жизни, къ философіи, какъ наукѣ и по отно-
„шенію ея къ искусствамъ. Удовлетворенію этого
„прежде несознаннаго стремленія мѣшала неудачный
„выборъ служебной дѣятельности, которая навела
„меня на путь точныхъ знаній, гдѣ свободное движеніе
„мысли стѣснено. Я надѣялся, получивъ обѣщанную
„каеэдру, соединить чувство долга съ потребностью
„души, но мои надежды не сбылись. Моя настоящая
„служба въ Коммисіи Проектовъ и Смѣтъ занимаетъ
„меня съ 9 часовъ утра до 4-хъ пополудни такъ,
„что мнѣ остается мало времени для моихъ работъ
„и занятій тѣмъ болѣе, что и изъ этого свободнаго
„времени, я долженъ удѣлять большую часть его на
„такіе труды, которые обезпечиваютъ мое матеріальное
„существованіе. По этому я слышу между нашими ли-
„тераторами за нѣмецкаго ученаго, хотя я самъ
„очень хорошо чувствую, какъ много недостаетъ мнѣ
„для того, чтобъ заслужить имя ученаго, на которое
„у меня нѣтъ никакого права: есть только охота.
„Для того я хочу въ сентябрѣ вовсе выдти въ
„отставку и до весны 1841 года заниматься частью
„для пополненія моихъ знаній, частью для накоп-
„ленія денегъ съ тѣмъ, чтобы потомъ ѣхать за гра-
„ницу, и тамъ въ одномъ изъ университетовъ по-
„слушать лекціи. Въ продолженіи этого времени, мо-
„жетъ быть, мнѣ удастся при непрерывномъ прилежаніи
„и упорной волѣ, достичь моей цѣли и приобрѣсти
„большой запасъ знаній. Послѣ того я вернусь на-
„задъ и снова поступлю на службу; тогда, можетъ
„быть, измѣнятся многія обстоятельства и я стану слу-

„жить тамъ, гдѣ захочу и на болѣе выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ теперь. Вотъ мой планъ, который во всякомъ случаѣ составляетъ для меня важную задачу и долженъ произвести глубокій переворотъ въ моей судьбѣ; поэтому-то я и хочу знать ваше мнѣніе, прежде чѣмъ предприму что-нибудь рѣшительное. Прошу васъ скорѣе отвѣчать мнѣ на это письмо. Вашъ вѣрный сынъ Эдуардъ Губеръ.“

Съ 1840 года въ характерѣ и въ жизни Губера замѣтна большая перемѣна. Не стало обоихъ друзей, имѣвшихъ на него разносторонне вліяніе; не стало ни Пушкина, ни Фесслера; товарищи по корпусу и службѣ уговаривали угрюмаго поэта чаще показываться въ свѣтъ, въ дамское общество, въ маскарады, гдѣ онъ не рѣдко проводилъ цѣлыя ночи; мрачно блуждая по заламъ, подобно тому, какъ онъ изображенъ, по собственной его мысли, г. Степановымъ въ каррикатурномъ журналѣ Неваховича: *Ермлашъ* (*). Весьма вѣроятно, что во время этихъ блужданій среди маскарадной толпы, Губеру, какъ поэту-мечтателю, мерещились нескончаемые романы, герои которыхъ то и дѣло толкались, суетились, пищали, ужинали, на его глазахъ. Нельзя не сказать, что *мрачно блуждать* среди масокъ — довольно странно и бесполезно; но

(*) Подъ карриатурой подписано первое четверостишіе изъ извѣстной піесы Губера:

Тяжело, не стало силы,
Ноетъ грудь моя!...
Злое горе до могилы
Дотащу-ли я?

тъмъ не менѣе это характеризуетъ Губера. Мы еще яснѣе представимъ себѣ его, если прочтемъ слѣдующія строки, въ которыхъ подъ формой заказнаго фельетона проглядываютъ задушевные мысли автора.

„Въ маскарадахъ (говорить онъ) было душно и тѣсно, какъ слѣдуетъ; маски пищали, дурачились, интриговали, одни для удовольствія, другія изъ ревности. Мало ли колкихъ словъ у женщины, которая воображаетъ, что ее не узнаютъ? Она смѣлѣе слѣдуетъ влеченіямъ души; тутъ одинъ только шагъ отъ намека до признанія. Но горе тому, кто не пойметъ этого намека, кто не воспользуется случаемъ; недогадливый левъ, или робкій юноша, который только изъ скромности не догадывается, навсегда произнесутъ надъ собою приговоръ. Горе тому, кто не умѣетъ понимать, кто не внимателенъ или туго на ухо, кто пришелъ на свиданіе и пропустилъ его изъ разсѣянности. Маски сбѣгаютъ масками, на минуту касаясь его руки или брасая ему бѣглое, двусмысленное слово; онъ ждетъ одной и не замѣчаетъ другихъ, а между ними неузнанная, оскорбленная, непонятая, была, можетъ быть, и она; а недогадливый герой въ разсѣянности не замѣтилъ ея приближенія, не умѣлъ разгадать подъ уродливымъ домино этой гибкой воздушной талии, не умѣлъ отличить въ двусмысленномъ намекѣ, въ неконченной фразѣ этого живаго, блестящаго, оригинальнаго ума. Горе ему! онъ родился въ дурную минуту, онъ пришелъ невпопадъ, онъ рыцарь неудачи и его романъ останется навсегда безъ развязки.

„А сколько мѣста въ маскарадахъ для женскаго мщенія, для колкихъ сплетней, для ядовитой клеветы! Среди этого пестраго волненія, среди этой легкой, беззаботной болтовни, можетъ быть, разыгрывается тайная, печальная драма, можетъ быть раздирается чистое имя и бѣдная, невинная женщина дѣлается ходячею сказкой праздной толпы“....

Фантазія Губера рисуетъ себѣ цѣлый романъ, въ которомъ страдаетъ женщина, легкомысленно отдавшаяся увлеченію. Сплетня неумолимо преслѣдуетъ ее и разрастается до громаднхъ размѣровъ на ничтожномъ основаніи.

„Никто и не спроситъ, продолжаетъ Губеръ, такъ ли все было, или нѣтъ; была ли эта бѣдная женщина въ маскарадѣ или провела она эту ночь одна, больная и грустная, въ своихъ четырехъ стѣнахъ, можетъ быть, въ жаркой молитвѣ передъ образомъ Спасителя, или въ печальныхъ воспоминаніяхъ о многихъ несбыточныхъ мечтахъ. Можетъ быть, все это объяснится со временемъ, но тогда сплетни уже исполнили свое назначеніе, обошли обычной дорогой тотъ огромный кругъ, который всегда принимаетъ такъ отрадно всѣ праздныя выдумки досужнаго воображенія. Эта женщина можетъ быть и останется въ глазахъ свѣта тѣмъ, чѣмъ она была, но имя ея на нѣсколько дней служило забавой лѣниваго общества и его бездушнѣй, безотчетнѣй болтовни: ничтожная выдумка, испещренная и увеличенная, заняла на часъ бездѣйственную скуку равнодушнаго свѣта....“ (*)

(*) См. Пет. Вѣд. 1847 г. № 31.

Читая эти строки, вамъ такъ и кажется, что вы видите передъ собой неуклюжую фигуру Губера съ опущенной внизъ головой, надъ которой отъ роду не трудилась рука ни одного изъ французскихъ парикмахеровъ, передъ вами пронизательный, мрачный взлядъ, передъ вами весь онъ, мечтающій чудакомъ, умный поэтъ; его суда вы боигесь, потаму что онъ навѣрное коснется до самыхъ чувствительныхъ ранъ вашихъ, потому что судья вашъ (вы видите это по умному выраженью его лица)—не пустой фразеръ, не пошлый вздыхатель, блуждающій въ заоблачномъ мірѣ, какъ ни кажется онъ такимъ съ виду для близорукихъ.

Въ 1840-мъ-же году Губеръ сдѣлался сотрудникомъ по редакціи Библіотеки для Чтенія; ему былъ порученъ отдѣлъ критики и рецензій. Трудовъ было мномо; въ началѣ 1840 г. онъ писалъ о нихъ отцу своему слѣдующее:

„Я провелъ праздники съ перомъ въ рукахъ за письменнымъ столомъ, потому что я какъ-разъ въ это время принялъ на себя труды по редакціи Библіотеки для Чтенія. Жалованья получаю я до 6000 руб.; за статьи же мои особо по 200 р. за печатный листъ. Вы можете видѣть изъ этого, что съ прилежаніемъ я скоро могу достичь моей цѣли, хотя природа и не одарила меня бережливостью. Но я принялъ мѣры противъ этого природнаго недостатка. Работа моя тяжелая, требуетъ непрерывнаго напряженія, но я надѣюсь пріучиться къ ней: у меня нѣтъ недостатка въ терпѣнни и твердой

„волѣ.... Теперь я такъ занятъ, что не могу отлучиться изъ Петербурга на 24 часа..... Сколько я „долженъ напрасно перечитать глупѣйшихъ статей, „присылаемыхъ въ редакцію непризнанными сынами „музъ! Сколько личныхъ просьбъ и письменныхъ іереміадъ получаю я! Я нахожусь отъ этого иногда въ „такомъ трагико-комическомъ положеніи, что меня „беретъ и смѣхъ, и досада въ одно и тоже время. „Я не имѣю вовсе время ни заняться моей поэзіей, „даже окончить начатыя піесы. Но все-таки мое „редакторство меня радуетъ, потому что даетъ вѣрный доходъ и приближаетъ возможность путешествія „заграницу.“

Между тѣмъ организмъ его начиналъ слабѣть; раннія, чрезмѣрные труды разстроили его такъ, что въ 1842 году онъ на лѣто долженъ былъ ѣхать въ деревню орловской губерніи къ своимъ знакомымъ К., для поправленія своего здоровья. Здѣсь онъ отдохнулъ отъ трудовъ, проводя время беззаботно и весело у К. и у сосѣднихъ помѣщиковъ. „Живо вспоминаю „я—говорить онъ въ письмѣ къ одному изъ нихъ, Г. А. Плещееву, — веселое время, проведенное въ вашемъ „кругу и съ удивленіемъ спрашиваю себя, отъ чего „же я тамъ не зналъ ни горя, ни хандры, отъ которыхъ „здѣсь въ Петербургѣ для меня нѣтъ спасенія!“ Болѣзнь усилила въ Губерѣ мрачность духа, подняла въ немъ желчь и узаконила въ немъ его безпечность и странность манеръ. А талантъ мужалъ, ростъ, требованія увеличивались, грустное сознаніе собственнаго безсидія волновало, труды и скучныя работы доса-

ждали бѣдному поэту. Съ тѣхъ поръ онъ нерѣдко выпадалъ съ лѣнливую апатію, отъ которой порой пробуждала его вдохновенная мысль, выливавшаяся свободно и непринужденно въ стройные стихи, записываемые имъ на чемъ попало и гдѣ случалось. Оттого вѣроятно, множество стихотвореній его пропало для насъ безвозвратно; записанныя на клочкахъ бумаги такъ, что иной стихъ переходилъ съ одного клочка на другой, случайно возлѣ лежавшій, — произведенія Губера забывались и исчезали, если кто-нибудь не подбиралъ и не пряталъ ихъ. Случалось, что ему послѣ читали его собственные стихотворенія; онъ слушалъ, похваливалъ и не подозрѣвалъ, что онъ ихъ авторъ.

Въ это время около Губера образовалась группа молодежи, на которую онъ безъ всякихъ стараній оказывалъ сильное вліяніе. Въ этой семьѣ онъ пользовался нравственнымъ авторитетомъ; она состояла изъ молодыхъ людей, принадлежавшихъ къ высшему столичному кругу; здѣсь былъ графъ Н. А. Апраксинъ, князь Д. П. Салтыковъ, графъ А. С. Уваровъ, М. Н. Лонгиновъ, изъ статьи котораго мы заимствуемъ по этому поводу слѣдующія строки: „Свѣтлый умъ, „жизненная опытность, плѣнительная простота въ образѣ, обширныя познанія, младенческая, такъ сказать, ясность души, снисходительность къ другимъ и строгость къ самому собѣ — все это имѣло „какое-то обаятельное вліяніе на окружающихъ его. „Не хорошо было тому изъ насъ, кто заслуживалъ скромное, иногда даже безмолвное порицаніе

„Губера: на этотъ неподкупный судъ не было аппеляціи“ (*).

Изъ литературныхъ знакомствъ Губера мы можемъ указать на Н. В. Кукольника и затѣмъ на то общество, которое онъ могъ встрѣчать у него. Собственно говоря, онъ ни съ кѣмъ изъ литераторовъ (кроме Н. В. Кукольника и впоследствии графа Соллогуба) не былъ близокъ въ это время, но всѣхъ ихъ встрѣчалъ, конечно, на вечерахъ К. П. Брюлова и графа Ѳ. П. Толстаго, съ семействомъ котораго былъ уже давно очень друженъ. Около 1840 г. Губеръ сблизился съ домомъ П. Н. Всеволожской, куда являлся почти каждый день къ обѣду.

Не смотря на всю странность и угловатость манеръ покойнаго поэта, его радушно принимали въ свѣтское общество, его дружбой дорожили, его нравственному вліянію подчинялись: „Губеръ много содѣйствовалъ,“ говоритъ М. Н. Лонгиновъ:—тому, что въ нѣкоторыхъ „гостиныхъ заговорили, хоть отчасти, по-русски.“ (**)

Онъ вообще сильно нападалъ на наше пристрастіе къ французскому языку и разъ цѣлую половину фельетона посвятилъ разсужденіямъ объ этой страсти. „Болтать мы не умѣемъ,“ говоритъ онъ въ своей Петербургской Лѣтописи, болтать мы именно до сихъ поръ „и не умѣемъ. Говорить по-русски еще можно, но болтать нельзя. У насъ есть такіе русскіе говоруны,“ которые о самыхъ важныхъ матеріяхъ будутъ раз-

(*) См. Москов. Вѣд. 1857 г. N^o 136.

(**) Тамъ же.

„суждать съ вами цѣлый битый часъ, которые заки-
„даютъ васъ словами, и заговарятъ до смерти, но
„болтуновъ у насъ нѣтъ; русская болтовня не су-
„ществуетъ.

„Мы можемъ говорить о литературѣ, о живописи,
„о поэзіи и, — съ грѣхомъ пополамъ, даже о философіи;
„мы можемъ говорить объ этихъ предметахъ дѣльно,
„хорошо и основательно; мы даже большею частью
„говоримъ пустяки, но мило и умно говорить о пу-
„стякахъ мы рѣшительно еще не умѣемъ. У насъ
„нѣтъ русскаго, свѣтскаго разговора, у насъ нѣтъ
„этой легкой, живой и блистательной болтовни, ко-
„торая осталась неотъемлемымъ достояніемъ фран-
„цузовъ, которая, какъ фейерверкъ, разсыпается ис-
„крами; шумить, блеснить и теряться, не оставляя
„слѣда. Русская шутка тяжела, русскій каламбуръ
„отзывается топорной работой; русскимъ комплимен-
„томъ можно стѣну пробить.

„Я еще никогда не объяснялся въ любви, все не-
„когда было, но признаюсь, не знаю, какъ бы я это
„сдѣлалъ по-русски. Я васъ люблю, я васъ любилъ,
„— все это можетъ быть очень хорошо въ стихахъ,
„все это очень выразительно, а главное просто на
„самомъ дѣлѣ. Но попробуйте продолжать дальше.
„Я васъ люблю — этого не довольно; съ этого нельзя
„начинать. Позолотите сперва эту пилюлю, обложите
„ее бархатными фразами, которыя, въ случаѣ неудачи,
„дали бы вамъ возможность отступить благороднымъ
„образомъ назадъ или вывернуться ловкимъ оборотомъ
„изъ самаго драматическаго объясненія. Попробуйте вы,

„признанные побѣдители неприступныхъ красавицъ,
„великолѣпные львы, искусившіеся въ наукѣ нѣж-
„наго Назона, употребите въ дѣло русскій языкъ при
„первомъ будущемъ признаніи и расскажите намъ,
„по дружбѣ, о послѣдствіяхъ!

„Но отъ чего-же до сихъ поръ не объясняются
„въ любви по-русски, особенно въ Петербургѣ, гдѣ
„въ этихъ объясненіяхъ нѣтъ недостатка, гдѣ нѣкто-
„рые предаются этому невинному занятію отъ *нечего*
„*дѣлать*, а другіе по старой привычкѣ? На это есть
„очень простая и ясная причина: мы не умѣемъ гово-
„рить о пустякахъ, не умѣемъ болтать; а любовь и
„всѣ объясненія въ любви принадлежать къ болтовнѣ.
„Всѣ нѣжности, клятвы, увѣренія, въ наше время бол-
„товня: всѣ подвиги, о которыхъ мы такъ великолѣпно
„разсказываемъ — болтовня; вся наша ревность, гнѣвъ
„и угрозы — болтовня, которая ничего не стоитъ и
„ничего не значить. А этой болтовни у насъ до сихъ
„поръ недостаетъ; ее создаютъ женщины, а не ли-
„тераторы; только женщина умѣетъ говорить мило,
„живо и умно о тѣхъ безчисленныхъ мелочахъ и
„бездѣлицахъ, изъ которыхъ составляется вся наша
„бѣдная жизнь съ своими маскарадами, чувствами и
„миніатюрными страстями. Пока русскія женщины не
„захотятъ говорить по-русски, нашъ разговоръ будетъ
„тяжелъ и неповоротливъ, наши полновѣсныя любез-
„ности опрокинутъ это легкое, воздушное созданіе,
„которое мы одолжимъ такимъ незавиднымъ подаркомъ.

„Но когда же они будутъ говорить по-русски!
„развѣ великимъ постомъ? Это самое удобное время,

„въ которое можно употребить русскій языкъ, какъ
„средство для развлеченія, какъ живые картины или
„домашніе спектакли. Баловъ нѣтъ; на раутахъ скуч-
„но; длинные вечера проходятъ тихо и вяло, особенно
„для тѣхъ, которые не умѣли запастись къ этому
„времени маленькимъ чувствомъ или крошечной ин-
„тригой. Имъ хорошо; у нихъ есть прекрасное занятіе;
„они обезпечили себя на цѣлый постъ. А остальные?
„Хоть бы они говорили по-русски, на благо литера-
„турѣ и языку, которой такъ и просится въ разго-
„воръ“. (*)

Вѣроятно, подобныя-же мысли высказывалъ нашъ
поэтъ и въ тѣхъ салонахъ, о которыхъ упоминаетъ
М. Н. Лонгиновъ.

Въ 1845 г. Губеръ издалъ небольшой сборникъ
своихъ стихотвореній. Мы позволяемъ себѣ припи-
сать обычной беззаботности автора пропускъ многихъ
прекрасныхъ пьесъ, написанныхъ или даже напеча-
танныхъ имъ до того времени. Во всякомъ случаѣ
однако въ этомъ сборникѣ мы видимъ болѣе зрѣлаго
поэта, чѣмъ въ томъ, который онъ приготавлиалъ къ
печати въ 1835 г., но вмѣстѣ съ тѣмъ видимъ, что
главный характеръ и сущность его поэзіи нисколько
не измѣнились. И здѣсь семейное начало ставится
Губеромъ выше всего, и здѣсь стремленіе къ истинѣ,
несмотря на всю горечь ея, и здѣсь сомнѣнія, наво-
димыя разумомъ на вѣрованія сердца; но за то здѣсь
уже дано великое право поэту быть бичемъ преступ-

(*) См. Петерб. Вѣд. 1847 г. N° 37.

ленія подь вліяніємъ божественнаго вдохновенія, быть учителемъ толпы, палачомъ ея грѣховъ, здѣсь уже презрѣніе къ пустымъ бреднямъ, къ безполезнымъ слезамъ, здѣсь потребность и величіе борьбы, ненависть къ апатіи, которая по его мнѣнію хуже грѣха, здѣсь наконецъ онъ признаетъ различіе любви отъ страсти, признаетъ, что и у него есть идеалъ женщины, вдохновляющій его, что только несоотвѣтствіе дѣйствительности съ этимъ идеаломъ заставляетъ его охуждать женщину; далѣе мы видимъ даже, что Губеръ позволяетъ себѣ оправдывать паденіе женщины, признаетъ возможность честнаго и искренняго разрыва. Наконецъ онъ говоритъ, что недовольство самимъ собой и окружающимъ есть истинная и законная основа его поэзіи. Такъ, онъ говоритъ своему генію:

Отдай мнѣ горести мои!
И я проснусь для пѣсни новой,
Неукротимой и суровой,
Какъ вдохновенія твои (*).

Въ этой книжкѣ Губеръ является намъ поэтомъ исключительно субъективнымъ и недостатокъ его таланта—отсутствіе рѣзкихъ и сильныхъ образовъ, однообразіе тона обращаетъ на себя вниманіе читателя, который, несмотря на то, сочувствуетъ его плачу и страданіямъ. За это современная критика почти единодушно признала, что у Губера есть умъ, чувство

(*) См. Т.І. стр. 80.

и образованность, но мало поэтического таланта. „Въ „его стихотвореніяхъ, говоритъ Бѣлинскій въ Отечественныхъ Запискахъ (1845 г. № 6):—мы увидѣли „хорошій обработанный стихъ, много чувства, еще „болѣе неподдѣльной грусти и меланхоліи, умъ и „образованность, но, признаемся, очень мало замѣтили „поэтического таланта, чтобъ не сказать—совсѣмъ не „замѣтили его. Вездѣ сердце, которое чувствуетъ, „вездѣ умъ, который не столько мыслить, сколько „рефлектируетъ, т. е. разсуждаетъ о собственныхъ „чувствахъ и собственныхъ мысляхъ,—и нигдѣ фантазіи, которая творитъ! Субъективности, какъ выраженія сильной личности, которая на все кладетъ „свой отпечатокъ и все перерабатываетъ своею самодѣятельностью, нѣтъ и слѣдовъ и признаковъ въ „стихотвореніяхъ г. Губера.... У него—скорѣе опознанный эгоизмъ“.

Можетъ быть мы и согласились бы съ этимъ, во всякомъ случаѣ рѣзкимъ мнѣніемъ, еслибъ судили о Губерѣ только по тѣмъ стихотвореніямъ, которыя напечатаны въ 1845 г., въ его книжкѣ; мы,—вообще недовѣрчивые къ своему собственному вкусу,—приписали бы то, что намъ нравятся стихи Губера—ложному, магическому вліянію на насъ пышнаго и звучнаго стиха. Но передъ нами теперь цѣлый томъ стихотвореній и поэмъ; мы видимъ, что у Губера была творческая фантазія, которая руководила его лирическими произведеніями; мы встрѣтимъ оправданіе нашему вкусу и во многихъ мелкихъ стихотвореніяхъ, и въ поэмахъ и, наконецъ, въ переводѣ Фауста. Дос-

стоинство стиховъ Губера заключается, по нашему мнѣнію, въ той непосредственной искренности чувствъ, выраженной свободно и звучно, въ той душевной теплотѣ, увлекательность которой обуславливается только талантомъ автора. О. И. Сенковскій въ своей рецензіи на стихи Губера (Б. д. Ч. 1845 г. № 6) говоритъ:

„Пушкинъ, который былъ друженъ съ Эдуардомъ Ивановичемъ Губеромъ, оставляя въ торопяхъ эту юдоль горя, забылъ у него свой звучный стихъ. Пушкинскій стихъ остался у Эдуарда Ивановича; онъ одинъ—наслѣдникъ и владѣтель этой драгоценности, и съ такимъ кладомъ, я, на его мѣстѣ, былъ-бы совершенно доволенъ собою, вами, всѣмъ; все для меня облеклось-бы розовымъ цвѣтомъ; все бы мнѣ улыбалось, и я-бы улыбался всему и обо всемъ съ утра до вечера, особенно, еслибы у меня еще было столько-же ума, какъ у Эдуарда Ивановича. А Эдуардъ Ивановичъ не доволенъ всѣмъ, начиная съ самаго себя!... Это, можетъ быть оттого, что у него столько ума! Такъ къ чорту умъ! Къ чему онъ годится, когда съ нимъ все кажется мрачнымъ и печальнымъ? Конечно, умъ дѣло—не дурное, въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Благодаря ему, Эдуардъ Ивановичъ никогда не писалъ стиховъ ни *къ муш*, ни *къ дѣвѣ*, ни *къ мечтѣ*: по крайней мѣрѣ не напечаталъ ихъ въ этой книгѣ. Да что проку, когда у него вѣчно вздохъ въ груди, слеза на глазахъ, тоска въ душѣ, скука среди этого безконечно-забавнаго свѣта, на который между-тѣмъ смотритъ онъ, какъ на своего преслѣдователя....“

Въ Москвитянинѣ нѣкто А. Студитскій отозвался такъ о книжкѣ Губера: „Она замѣчательна потому, „что доказываетъ, что мало для поэта теплой души, „мало звучнаго стиха, потребна еще энергія мысли, „а главное—положительныя убѣжденія. Иначе поэзія „будетъ плачемъ“. (Москв. 1846 г. № 1. Обзор. Русск. Слов. стр. 259).

Изъ этого видно, что критика вообще не благоволила къ нашему поэту, отдавая впрочемъ справедливость его уму и чувству. Взглядъ Бѣлинскаго, разумѣется, ближе всего подходитъ къ истинѣ; мы не согласны только отказать Губеру *вовсе* въ талантѣ и полагаемъ, что онъ до нѣкоторой степени обладалъ имъ при необыкновенной *поэтической натурѣ*, которая получила ложное развитіе и не выработала себѣ достойныхъ формъ. Рутинные приемы мѣшали свободѣ его мыслей и Губеръ, часто тоскуя отъ причинъ общественно-важныхъ, сваливалъ грѣхъ на какую-нибудь красавицу, называлъ себя плаксивымъ именемъ сироты и т. д. Мы думаемъ такъ на томъ основаніи, что нѣкоторыя нерутинныя выраженія изобличаютъ въ его стихахъ эту затаенную мысль, а въ искренности его чувствъ не сомнѣвался даже и Бѣлинскій.

Въ 1845 же году Губеръ написалъ поэму: *Прометей*, которую мы, къ сожалѣнію, по независѣвшимъ отъ насъ обстоятельствамъ, не напечатали въ нашемъ изданіи. Эта поэма — лучшее произведеніе по формѣ и содержанію, которое основано на извѣстномъ греческомъ мифѣ. Есть въ ней стихи, поражающіе своей внутренней силой и энергіей образа.

Въ тетрадяхъ Губера мы нашли только одно юмористическое стихотвореніе, если не считать акростиха, попавшагося намъ въ письмѣ его къ Г. Я. Тихменеву (см. 253 стр. біографіи). Это—нѣчто въ родѣ эпиграммы на славянофиловъ.

Вотъ отрывки изъ нея:

Въ мукахъ ада утопаячи,
Непокорень старой вѣрѣ,
Я молюсь, въ слезахъ рыдаячи:
Miserere! miserere!

Miserere! наша родина
Погибаетъ отъ печали,
Отъ профессора.....
И ему подобной швали.

Ниспосли Богъ хоть С.....
Наказаніе по силамъ,
.....
И другимъ словянофиламъ.

Дай ты имъ кафтанъ и бороду,
Это будетъ имъ по нраву,
Да пошли ты ихъ по городу,
Хоть мальчишкамъ на забаву.

Miserere! Племя Рюриковъ
Вновь возстать изъ гроба хочетъ,
Отставной поручикъ Ц.....
О молебствіи хлопочетъ.

Хоть-бы слился онъ съ послѣдними
Серборосскими бойцами,
Не подниметъ онъ обѣднями
Вѣка, прожитаго нами.

Дай Кузьму намъ и Пожарскаго
Противъ этихъ самозванцевъ,
Противъ рыцарства боярскаго
И славянскихъ иностранцевъ.

Miserere! Боже! родины
Будь преградой беззаконію,
Да погибнуть всѣ.....
Вмѣстѣ съ ихъ славянской воію.

Мы не знаемъ повода, по которому написано это стихотвореніе.

Въ прозѣ Губеръ писалъ сравнительно мало и то по большой части по заказу. Критическія статьи его, напечатанныя нами въ III-мъ томѣ не отличаются ни особенной глубиной взгляда, ни тѣми необходимыми для критика пріемами, которыхъ и требовать нельзя отъ поэта по-преимуществу. Несомнѣнные достоинства впрочемъ заключаются въ этихъ статьяхъ: это—энергія мысли и логичность анализа. Можетъ быть, въ Библіотекѣ для Чтенія въ отдѣлахъ Смѣси и Литерат. Лѣт. находится еще много статей, принадлежащихъ также перу Губера, который пользовался большимъ довѣріемъ Сенковского и работалъ для него очень много, по свидѣтельству тогдашнихъ сотрудниковъ

журнала; но эти статьи, какъ напр. разборы сочиненій Е. Баратынскаго, Фонъ Визина и др. никѣмъ не подписаны и мы не можемъ ни одну изъ нихъ съ достовѣрностью приписать Губеру. Передъ концомъ жизни своей, Губеръ очень удачно писалъ фельетоны (всего 11) для Петербургскихъ Вѣдомостей; мы не перепечатаваемъ ихъ въ числѣ сочиненій поэта, какъ приведенія слишкомъ-временнаго, минутнаго интереса, но пользуемся ими въ нашей біографіи тѣмъ болѣе, что поэтъ, по-видимому, не могъ отрываться отъ себя и на столбцахъ газеты высказывалъ часто свои задушевные помыслы съ тою-же теплотою чувствъ, которая всегда отличала его.

Съ 1845 г. здоровье Губера начинало замѣтно слабѣть. Беспорядочная жизнь и тягость новыхъ свѣтскихъ знакомствъ, которыя онъ пріобрѣлъ въ это время, изнуряли его. Тогда, къ петербургскому дамскому обществу прививалась та исковерканная эманципация, которая пародировала разумныя требованія вѣка и рѣзко отгѣнила своихъ поборницъ отъ круга жеманныхъ и чопорныхъ салоновъ. Исключая друзей своихъ, Губеръ не находилъ середины, и отъ ненавистной ему чопорности бѣжалъ въ общество женщинъ, которыхъ изящная, богатая обстановка и виѣшняя непринужденность примиряла глазъ съ ихъ внутренними недостатками.

Поэтъ давалъ большое значеніе женщинѣ, въ ней любилъ онъ все прекрасное и не прощалъ ея недостатковъ. Любящей душѣ Губера ненавистна была великосвѣтская пустота и грубая апатія нашихъ дамъ.

Какъ возмущало его и то и другое, какъ онъ смотрѣлъ на нашу женщину и на общество, чего искалъ и что находилъ въ немъ, узнаемъ изъ слѣдующаго отрывка изъ его фельетона:

„Какъ объяснить, (говоритъ онъ) не обижая нашего „самолюбія, недостатокъ нашего умственнаго движенія, „нищету нашихъ разговоровъ? Правда, мы живемъ такъ „тихо и скромно; въ нашей вялой жизни нѣтъ быст- „рыхъ переměнъ, нѣтъ внутреннихъ волненій; наши „мелкія страсти холодны, какъ наша погода и туманы, какъ наше сѣрое небо. Но между тѣмъ судьба „создала насъ по своей обыкновенной выкройкѣ, да- „ла намъ ту же умственную организацію, тоже сердце и тѣ же желанія; и въ насъ иногда проявляется „что-то похожее на чувство, и мы иногда горячимся, „можетъ быть, не впадѣ и не кстати, но всѣ эти „явленія нашей умственной жизни пропадаютъ безъ „всякаго слѣда, даже безъ всякаго вліянія на нашу „лѣнивую, безцвѣтную бесѣду. Холодное приличіе общественныхъ отношеній и недостатокъ взаимнаго до- „вѣрія уничтожаютъ свободную передачу мысли, которая у насъ высказывается только шопотомъ и при „младенческой невинности переходитъ изъ устъ въ „уста подъ фирмою запрещеннаго товара.

„При этихъ грустныхъ условіяхъ нашей общественной бесѣды, многіе огородили себя отъ печальной необходимости говорить о погодѣ, домашнихъ „средствами: они сплетничаютъ. И вотъ наше единственное спасеніе, неистощимые рудники нашихъ бесѣдъ. Когда вы увидите нѣсколько хорошихъ

„женщинъ и нѣсколько *порядочныхъ* молодыхъ людей, когда вы услышите, что всѣ они принимаютъ равное участіе въ общемъ, оживленномъ разговорѣ, который ни на минуту не прерывается, не удивляйтесь этому странному явленію: между ними совершается судъ и расправа надъ отсутствующимъ другомъ, между нами раздирается чистое имя и свѣтское злословіе набрасываетъ пестрые узоры на безконечную ткань неутомимаго воображенія. И этотъ запасъ не скоро истощается; этотъ разговоръ съ новыми силами возобновляется каждый вечеръ.

„Но вы наконецъ вполне насладились удовольствіемъ одолжить отсутствующаго пріятеля разными живописными, выдумками; ваше мелкое общество *случайнымъ образомъ* разсаживается по четами, — чему въ особенности способствуетъ нынѣшнее размѣщеніе мебели, — и между этими четами завязываются отдѣльные разговоры, съ значительнымъ пониженіемъ голоса. Не правда-ли, въ этой задушевной бесѣдѣ и умъ, и сердце принимаютъ равное участіе? Тутъ разговоръ не остановится; мысли и чувства быстро смѣняются и бѣглое слово едва успѣваетъ за ними. Но нѣтъ, я плохо вѣрю этимъ увлеченіямъ, плохо вѣрю этой горячей, занимательной бесѣдѣ, потому что и тутъ иногда, кажется, на самомъ драматическомъ мѣстѣ, до меня долетало убійственное извѣщеніе о состояніи погоды. Я давно смотрю за этой красавицей, которая такъ мило кокетничаетъ и недосказаннымъ словомъ, и бѣглымъ, обворожительнымъ взглядомъ. Ей очень скучно; но она

„дурачится по привычкѣ или потому, что такъ дѣла-
 „ють другія; сердце ея не принимаетъ никакого уча-
 „стія въ этой женской операциі. Надобно же что
 „нибудь дѣлать, — и вотъ она кокетничаетъ съ кѣмъ-
 „бы то не было до новой встрѣчи, до другаго вечера.
 „А этотъ юноша, который разсыпается передъ ней
 „разными заучеными фразами изъ послѣдняго романа
 „Дюма, этотъ юноша любезничаетъ для того только,
 „чтобы потомъ объ этомъ поговорили, при чемъ онъ
 „всегда принимаетъ важный таинственный видъ, съ
 „благороднымъ увлеченіемъ отказывается отъ всякихъ
 „намековъ и толкованій, или робко конфузится, судя
 „по характеру и по методѣ, которой онъ привыкъ
 „слѣдовать въ подобномъ положеніи.

„Вы сами, можетъ быть, по случаю или по соб-
 „ственному желанію, при этомъ случайномъ размѣще-
 „ніи по четамъ, нашли мѣсто подлѣ умной, милой,
 „обворожительной женщины. Вы просидѣли цѣлый
 „вечеръ на этомъ мѣстѣ, вы бы не уступили его ни-
 „кому, потому что вамъ весело говорить съ этой
 „женщиной; вашъ разговоръ дѣйствительно не оста-
 „навливался, не прерывался, не хромалъ; непрерыв-
 „ное столкновеніе съ живымъ и симпатическимъ умомъ,
 „разшевелило и ваше лѣнивое воображеніе, и вы пре-
 „дались этому умственному очарованію, отвели душу
 „въ этой живой, открытой, разнообразной бесѣдѣ. Вы
 „очень довольны, очень спокойны и уѣзжаете домой
 „въ самомъ пріятномъ расположеніи духа. Но я васъ
 „поздравляю: вы влюблены, до безумія влюблены въ
 „эту женщину, и если вы какой-нибудь замѣтный че-

„ловѣкъ, вы непременно сдѣлаетесь предметомъ од-
„ного изъ этихъ общихъ разговоровъ, которые пи-
„таются дружескимъ изображеніемъ отсутствующихъ
„пріятелей. Вы влюблены: это рѣшено и извѣстно;
„объ этомъ всѣ знаютъ, кромѣ васъ; но васъ не
„спрашиваютъ, до васъ это дѣло не касается. Вы
„влюблены, — это рѣшено и подписано; охота же
„вамъ спорить; вы никогда не разувѣрите; и что
„за бѣда, если вы влюблены? Это ваша же чистая
„выгода; съ этихъ поръ вы сдѣлались гораздо
„интереснѣе; о васъ говорятъ; про васъ сплетнича-
„ютъ; вы, право, очень милый человѣкъ. Но вамъ
„рѣшительно не хочется допустить этого предполо-
„женія, вы начинаете противорѣчить. Берегитесь, это
„вамъ не поможетъ; васъ даже будутъ хвалить за то,
„что вы умѣете владѣть своими чувствами. Вы скры-
„ваетесь, потому что это взаимная любовь, это не пус-
„тая свѣтская интрига, которая продолжается нѣсколько
„дней; вы благородный человѣкъ и не хотите произ-
„носить дорогаго имени той, которою изъ за вашего
„же молчанія раздражаютъ съ самымъ дружескимъ на-
„слажденіемъ. Помните ли вы тотъ вечеръ, когда вы
„такъ мило и умно бесѣдовали съ этой умной, оча-
„ровательной женщиной, когда вы такъ радовались,
„находя въ ея пламенномъ сердцѣ, въ ея живомъ умѣ
„отголосокъ на всѣ ваши чувства и мысли? Вы тог-
„да очень просто наслаждались этимъ яркимъ, блис-
„тательнымъ, свободнымъ разговоромъ, вы не думали
„о любви; но другіе, которые были вмѣстѣ съ вами и,
„кажется, занимались съ большимъ усердіемъ собствен-

„ными, сердечными дѣлами, думали за васъ, вывели
„изъ вашего разговора свои заключенія, передѣляли
„его по-своему, приклеили очень милое, умное объяс-
„неніе въ любви и пустили его по городу съ самыми
„лестными похвалами, съ притворнымъ одобреніемъ
„вашего краснорѣчія....“ (*)

„Сила поэта истощена (говорить Губѣръ въ другомъ
„мѣстѣ), онъ не можетъ бороться больше, желѣзная
„воля уходилась въ этой вѣчной, мучительной тревогѣ;
„любовь его оставила, счастье для него невозможно;
„эта женщина, которая должна была замѣнить ему
„всѣ радости жизни, воспламенить и возвысить его
„тайныя вдохновенія, не оцѣнила его могучей души,
„не поняла его высокой и безпредѣльной любви. От-
„чаяніе, невыразимое, глубокое отчаяніе закралось въ
„сердце поэта: — онъ ищетъ смерти, но судьба еще
„не назначила ему умереть. Страшный, томительный
„бредъ овладѣлъ его воображеніемъ.... Вотъ она, эта
„женщина, передъ которой онъ дрожалъ въ напрас-
„ныхъ усиліяхъ выплакать у ногъ ея свою непонятую
„душу; трѣвожныя мысли даютъ больную голову, рука
„въ судорожномъ движеніи схватила за оружіе—и
„блѣдный убійца съ окровавленнымъ ножомъ стоитъ
„надъ трупомъ обожаемой женщины!...“ (**).

Эта томительная, общественная скука знакомая и
намъ, тяжело ложилась на душу поэта. Нельзя не со-

(*) См. Петерб. Вѣд. 1847 г. N° 43.

(**) См. Пет. Вѣд. 1847 г. N° 61.

чувствовать нѣкоторымъ изъ фельетоновъ его, гдѣ онъ очень рельефно передаетъ всю силу этой безысходной тоски.

„Еще недѣля прошла безъ малѣйшаго происшествія, безъ всякаго движенія, скучная, длинная, безъконечная; прошла — и слава Богу! Въ нашей жизни рѣшительно нѣтъ никакого разнообразія, мы такъ умѣемъ скучать, какъ ни одинъ народъ въ мірѣ; мы учились этому искусству отъ самыхъ юныхъ лѣтъ, мы не знали бы, что дѣлать — безъ скуки. Разговора у насъ нѣтъ; не будь ээиръ, гимнастика, Лежаръ и сплетни — мы промолчали бы благополучно всю эту недѣлю. Отдадимъ себѣ справедливость: мы удивительно хороши во время великаго поста; есть что-то драматическое въ нашей скукѣ и въ томъ холодномъ безстрастіи, съ какимъ мы переносимъ на своихъ могучихъ плечахъ это тяжелое бремя; не услышишь ни одного проклятiя, не увидишь ни малѣйшаго знака нетерпѣнія. Какая страшная сила, какое удивительное самоотверженіе! Все тихо и чинно, какъ эта чинная скука, которая сидитъ подлѣ насъ.

„Вы пріѣхали на вечеръ; передъ вами двадцать человѣкъ, которые молчатъ на двадцать различныхъ манеровъ, и въ этой манерѣ у каждого свой самостоятельный характеръ, своя собственная фізіогномія: одинъ молчитъ глубокомысленно и важно, другой — и беззаботно и весело, третій съ выраженіемъ поэтической грусти, четвертый съ притязаніемъ на колкое остроуміе. Но главное дѣло въ томъ, что всѣ мол-

„чатъ, на лицахъ суровое отчаяніе; у инаго просту-
„паесть холодный потъ отъ умственнаго напряженія
„отъ напраснаго усилія прервать эту безотрадную
„тишину. Каждое слово принимаютъ съ благородностію,
„на каждой фразѣ основываютъ несбыточную надежду,
„что она оживитъ разговоръ, одушевитъ лѣнивую бе-
„сѣду. Но это слово раздалось въ пустынь, эта
„фраза не нашла отвѣта, и снова распространяется
„глубокое безмолвіе и снова двадцать человѣкъ мол-
„чальниковъ, съ длинными лицами, какъ преступники,
„приговоренные къ смерти, высиживаютъ опредѣлен-
„ный срокъ, въ ожиданіи палача или спасенія. Въ это
„время вы входите и за васъ хватаются, какъ уто-
„пающіе за соломенку. Вы свѣжій человѣкъ, вы только-
„что пріѣхали съ улицы; тамъ было холодно, а те-
„перь можетъ быть снѣгъ идетъ или таетъ; у насъ
„погода, слава Богу, такая непостоянная; на ваше
„счастіе въ февралѣ мѣсяцѣ можетъ быть дождь по-
„шелъ. Говорите-же скорѣе; васъ ждутъ; за вами
„очередь; можетъ быть дорогой ваша карета опро-
„кинулась и вы, милый человѣкъ, себѣ ногу повре-
„дили на самомъ сгибѣ; можетъ быть, вы для спасе-
„нія разговора, вчера понюхали ээиру и чуть не
„умерли, а теперь пріѣхали рассказывать объ этомъ,
„благородный, неподобный человѣкъ! Но нѣтъ, вы
„точно также, какъ и всѣ остальные, ничего не дѣ-
„лали, ничего не слыхали; у васъ даже нѣтъ ни од-
„ного порядочнаго пріятеля, съ которымъ бы случи-
„лась какая-нибудь непріятность или маленькое не-
„счастіе; вся наша родня здорова; сами вы плотно по-

„Обѣдали, были у Эреста въ концертѣ, а теперь явились отдохнуть отъ обѣда или отъ музыки.

„Но вы благовоспитанный человѣкъ и понимаете свои обязанности въ отношеніи къ этому обществу, знаете, что вамъ непремѣнно нужно внести свое обѣдное даваніе въ эту лѣнливую и сонную бесѣду. Васъ осыпали вопросами — и вы наконецъ начинаете сплетничать. Но на это надобно большое искусство, потому что тутъ вы ничего новаго не расскажете; все, что вы только можете выдумать, къ крайнему вашему удивленію, уже извѣстно и выдуманно другими. Вы приготовили можетъ быть цѣлую исторію, которая существовала, кажется, только въ вашемъ воображеніи, — а надъ вами смѣются: ваша исторія давно уже сдѣлалась ходячею сказкой; вы горячитесь и спорите, вы отстаиваете ваше достояніе — напрасно! вамъ нельзя рассказать, что вы собственно выдумали эту исторію, что ее вовсе и не было на дѣлѣ, потому что за такое откровенное признаніе вы, пожалуй, еще попадете и въ сплетники.

„На ваше счастье, вы сегодня прочитали на нижнихъ столбцахъ какой-то газеты нѣсколько бѣглыхъ словъ, написанныхъ безъ всякаго притязанія, но вы, какъ находчивый, изобрѣтательный человѣкъ, подложили подъ эту незатѣйливую болтовню особенное тайное назначеніе, ловкій намекъ или скрытую насмѣшку. Гдѣ скромный и смиренный лѣтописецъ городскихъ мелочей и человѣческой глупости, говорилъ о мелочахъ и о глупостяхъ вообще, безъ всякаго примѣ-

„ненія, тамъ вы отыскиваете портреты и находите
„лица, тамъ вы называете имена, говорите утверди-
„тельно, указываете на произшествія, тамъ вы угрожа-
„даете вашей собственной страсти посплетничать, а
„можетъ быть даже мелочному и жалкому мщенію.
„Что же дѣлать? это очень порядочный предметъ
„для разговора; вы ловкій человѣкъ; вы дѣлаете свои
„комментаріи и ни за что не отвѣчаете.

„Страсть объяснять и перетолковывать самыя прос-
„тыя замѣчанія, доказываетъ все однообразіе нашихъ
„разговоровъ, всю нищету нашей общественной жизни.
„Мы должны же говорить, во что бы то ни стало,
„а говорить не о чемъ. И вотъ мы выдумываемъ
„и сплетничаемъ. Что бы мы дѣлали въ самомъ дѣлѣ,
„въ теченіе цѣлой прошедшей недѣли, безъ этого
„спасительнаго занятія? Ни одного развлеченія, ни
„одного произшествія....“ (*)

Среди такой скуки, временной потѣхой могли слу-
жить развѣ только тѣ забавныя личности хлыщей,
множествомъ которыхъ изобилуетъ наше общество.
Они бываютъ во всякомъ возрастѣ и на всякихъ сту-
пеняхъ гражданской дѣятельности и, конечно, часто
встрѣчались Губеру, возмущая его духъ своими мелоч-
ными выходками. „Вообразите себѣ длиннаго юношу,
„говоритъ онъ въ своемъ фельетонѣ:—вообразите себѣ
„длиннаго юношу, съ приличной наружностью и съ
„притязаніями на львиную породу. У него все есть,

(*) См. Петерб. Вѣд. N° 49.

„кромя денегъ; онъ очень доволенъ собой, но для
„полнаго счастія ему недостаетъ кареты, онъ отдалъ
„бы половину чужаго царства за карету. Съ мучи-
„тельной жаждой, съ неотступнымъ желаніемъ этого
„завиднаго экипажа, отправляется онъ въ маскарадъ,
„гдѣ разыгрывалась карета въ *Allegri*. Передъ нимъ,
„украшенная цвѣтами, стоитъ великолѣпная карета.
„Онъ возьметъ билетъ, заплатитъ полтинникъ и вы-
„играетъ ее непременно. И вотъ въ головѣ его рож-
„дается новыя блистательныя мечты: карета хороша;
„онъ именно такую и хотѣлъ; завтра ее заложать;
„кучеру онъ купить новой армякъ; человѣкъ вой-
„детъ къ нему съ докладомъ, что карета готова, онъ
„поѣдетъ къ графинѣ * * *, она непременно его уви-
„дитъ, карета ей понравится, она въ него влюбится,
„левъ преклонитъ колѣна, графиня упадетъ въ его
„объятія и тихо шепнетъ ему: я твоя! Разумѣется
„онъ никому не скажетъ, что выигралъ эту карету
„за какой нибудь полтинникъ; онъ будетъ говорить,
„что выписалъ ее изъ Лондона. А если узнаютъ....
„и бѣдный юноша начинаетъ сердится на самого себя.
„Что это за глупости ему сегодня въ голову лѣзутъ!
„Ну кто узнаетъ? И кому какое дѣло, откуда у него
„взялась карета! Чтобы загладить это непріятное впе-
„чатлѣніе, новый спекуляторъ опять начинаетъ меч-
„тать о томъ, какъ онъ будетъ жить на дачѣ, на остро-
„вахъ, какъ поѣдетъ въ своемъ блистательномъ эки-
„пажѣ любоваться на закатъ солнца, какъ всѣ на него
„будутъ смотрѣть и восхищаться его каретой..... Въ
„это время пѣзъ роковаго колеса на его долю выпа-

„дастъ шесть билетовъ, онъ схватываетъ ихъ дрожащими руками, отходитъ въ уголъ и съ мнимымъ равнодушіемъ, даже съ какимъ-то наружнымъ пренебреженіемъ начинаетъ развертывать соблазнительныя бумажки. Разъ, два, три, четыре и все *Allegri*, кареты нѣтъ! Холодный потъ выступаетъ на лицо, медленно развертываетъ онъ пятою бумажку — *Allegri*! Кареты нѣтъ, онъ не поѣдетъ къ графинѣ, она въ него не влюбится, не шепнетъ ему: я твоя! Но это невозможно; онъ долженъ выиграть карету, судьба не можетъ быть такъ несправедлива къ нему. У него остается шестой белеть, онъ начинаетъ его развертывать, въ глазахъ темно, онъ худо видитъ, — вотъ уже показываются буквы, тутъ что-то есть, кажется это каре. . . . нѣтъ, это тоже *Allegri*! Кареты нѣтъ, трехъ рублей серебромъ тоже нѣтъ; бѣда на завтрашній концертъ ему взять не начто; знаменитой пѣвицы, за которой онъ ухаживаетъ, ему не видать, какъ своихъ ушей, несмотря на то, что онѣ довольно длинны. Несчастіе его преслѣдуетъ со всѣхъ сторонъ, и бѣдный юноша готовъ уже съ ума сойти. Къ счастью, черезъ нѣсколько дней въ театрѣ, онъ видитъ въ одной изъ ложъ бель-этажа знакомое лицо знаменитой пѣвицы. Онъ непременно отправится къ ней съ визитомъ, его увидятъ въ ложѣ, онъ приметъ какое нибудь значитительное и живописное положеіе, объ этомъ всѣ заговорятъ, ему будутъ завидовать. Герой-мечтатель отправляется въ ложу пѣвицы, съ необыкновенною ловкостью начинаетъ разговоръ о послѣднемъ концертѣ, на который у него

„по поводу кареты не достало денегъ, пускается въ
„сладкія любезности о томъ, съ какимъ искусствомъ
„она пропѣла свою восхитительную арію, которую
„онъ запомнилъ по афишкѣ. Но пѣвица смотритъ на
„него съ недоумѣніемъ, отъ котораго нашему герою
„становится какъ-то неловко. Это недоумѣніе про-
„должается недолго. Лицо пѣвицы проясняется, она
„съ лукавымъ выраженіемъ бросила бѣглый взглядъ
„на молчаливаго мужа, который подлѣ нея, по неиз-
„вѣстный причинѣ, кусалъ себѣ губы, и снова обра-
„тилась съ обязательной улыбкой къ счастливому
„герою.

— Такъ вы были въ этомъ концертѣ?

— Могъ ли я не быть тамъ, гдѣ вы пѣли?

— И вы слышали, какъ я пѣла?

— Я ничего другаго не слыхалъ.

— Какъ это странно! Представьте же себѣ, что
весь этотъ день я, больная, пролежала въ постели и
вовсе не могла участвовать въ этомъ концертѣ.

— Вы не участвовали.... я пѣла.... вы пѣли....
Я слыхалъ.... вы восхищались — и бѣдный герой
терялся все болѣе и болѣе.

„Знаменитая пѣвица взглянула на него еще разъ
„съ убійственнымъ равнодушіемъ и тихо промолвила:

— Какъ стыдно лгать!

„Убитый герой, ломая руки, въ углу ложи творилъ
„молитву, приговаривая: Ахъ, Господи, Господи! что
„это я надѣлалъ! А молчаливый мужъ обратился къ
„нему съ слѣдующимъ нравоученіемъ:

— Да, лгать не годится. Это дурная привычка отъ

которой надо отучиться, пока еще время. Вотъ я вамъ про себя скажу; я самъ былъ страшный лгунишка лѣтъ до двѣнадцати; бывало, вѣчно вру. И признаюсь, я до сихъ поръ благодарю моего отца за то, что онъ меня отучилъ отъ этого порока. Бывало, я солгу, а онъ меня розгами, и такъ больно высѣчетъ, что послѣ и лгать не захочется. И вѣрьте мнѣ, я вамъ по опыту скажу: это самое лучшее, самое спасительное средство.“ (*)

Таково было общество, таково оно и теперь отчасти! Мы слышали изъ собственныхъ устъ одного изъ лучшихъ современныхъ писателей нашихъ, что и изъ литературнаго кружка подѣ-часъ не безъ удовольствія уѣдешь въ англійскій клубъ и проиграешь тамъ всю ночь въ карты. Еще понятнѣе, что Губеръ охотно мѣнялъ чопорные салоны на свободную бесѣду за ужинами въ столовой Дюссо. — Кстати припомнися намъ разсказъ объ одномъ французскомъ переводчикѣ Фауста, который подѣ конецъ жизни, тоскуя одиночествомъ, бросился въ разгулъ, еще болѣе неудержимый, чѣмъ нашъ русскій переводчикъ гётева творенія. Педантично и щепетильно было бы обвинять Губера въ его увлеченіяхъ, когда общество не давало прямого исхода энергическимъ порывамъ, да и разгулъ Губера можетъ назваться такъ только развѣ относительно его прежней, совершенно затворнической жизни. Одиночество тяготило его душу и онъ восклицалъ:

(*) См. Пет. Вѣд. 1847 г.

Ахъ страшно одному! хочу забавы шумной,
Разгула дикаго, да удалыхъ гостей!
Нѣтъ, можетъ, между нихъ насмѣшкой вольнодумной,
Иль крикомъ заглушу печаль души моей! (*)

Безсонныя ночи, проведенныя въ обществѣ, влекли за собой другаго рода бессонницу, поражаемую болѣзнию; друзья его не разъ напрасно предупреждали на счетъ опасности, грозившей ему отъ небреженія къ своему здоровью. Болѣзнь сердца быстро развивалась, болѣзненная тоска сдавливала грудь, въ которой все росли и росли поэтическіе образы, мужаль талантъ. Но онъ былъ одинъ! ему не доставало Пушкина, благотворное и незабвенное, хотя кратковременное участіе котораго, разъ побаловало его силы и оставило по себѣ неизгладимую память, незамѣнимое впечатлѣніе. Можетъ-быть, этотъ великій поэтъ указалъ-бы своему меньшому собрату на ту точку опоры, которая придавала бы энергію Губеру, не допустила бы грустить до отчаянія, до насильственного равнодушія ко всему, до бессонныхъ ночей, до беспорядочной жизни, до болѣзненныхъ припадковъ.

Въ концѣ 1846 года, Губеръ собрался съ силами и принялся за труды, которые вовсе оставилъ-было за свѣтскими развлеченіями. По той горячности и трудолюбію, съ какими онъ снова началъ свою дѣятельность, видно было, что онъ хотѣлъ присоединить и свои силы къ общему движенію тогда временно ожи-

(*) См. Т. I стр. 117.

вившейся литературы. Талантъ и возрастъ Губера не потеряли еще тогда способности развиваться и идти за вѣкомъ, и, Богъ знаетъ, не сдѣлался-ли бы онъ любимымъ современнымъ поэтомъ! Много зависѣло бы отъ того кружка, въ которомъ обращался-бы Губеръ, а что онъ уже начиналъ сочувствовать социальнымъ вопросамъ новой современности, —доказывается небольшимъ рядомъ стихотвореній его въ родѣ: *Я по комнатѣ хожу, Въ эту ночь, чуть юря, Думалъ мужикъ*, сочувствіемъ такому чисто-политическому поэту, какимъ былъ Гервегъ, переводомъ изъ него пьесы: *Плохое Утѣшеніе* и т. д. (*)

Въ это время Губеръ предложилъ Сенковскому снова свое содружество по редакціи и получилъ въ полное завѣдываніе весь отдѣлъ критики. Преобразованныя тогда С-Петербургскія Вѣдомости пригласили его писать фельетонъ общественной жизни, который онъ и помѣщалъ тамъ, подписываясь буквами Э. И. и К. Д. С. Современникъ, переходившій тогда въ руки гг. Некрасова и Панаева, получилъ отъ него стихотвореніе, предназначенное въ первую книжку Современника за 1847 годъ. По независѣвшимъ отъ редакціи обстоятельствамъ, оно тогда не было напечатано, а затѣмъ затерялось въ бумагахъ. Только по выходѣ въ свѣтъ первыхъ двухъ томовъ нашего изданія, мы получили это стихотвореніе отъ Н. А. Некрасова. Спѣшимъ передать его читателямъ здѣсь, такъ-какъ оно уже не можетъ войти въ рядъ съ прочими мелкими стихотвореніями

(*) Т. I. стр. 179, 180, 183, 188, 100, 233.

Губера, которыя всѣ помѣщены въ I томѣ нашего изданія. Вотъ оно:

У ЛЮЛКИ.

Въ хатѣ тихо; треща догорая,
Еле-свѣтитъ лучинка
Что ты плачешь, жена молодая,
На рѣсницѣ слезинка?

Али больно тебѣ, что Ванюху
Баринъ отдалъ въ солдаты,
Что кормить и себя, и старуху,
Сиротинка, должна ты?

Чтò на люльку ты смотришь уныло,
Чтò глядишь на мальчишку?
Хорошо при отцѣ ему было:
Какъ любилъ онъ сынишку!

Какъ, бывало, съ работы вернется,
Шапку старую скинетъ,
Въ уголъ помолится, да засмѣется,
Къ люлкѣ скамейку придвинетъ.

А теперь, безъ отца-то роднаго,
Даромъ сгинетъ мальчишка,
Пропадетъ у народа чужаго,
Будетъ плутъ да воришка.

А какъ схватятъ, въ открытомъ ли полѣ,
На большой-ли дорогѣ,

Вѣкъ покоячить онъ въ горькой неволѣ,
Въ кандалахъ да въ острогѣ!

Жалко матери стало ребенка....

Видно, доля такая!

И заплакала горько бабенка,

Тихо люльку качая....

Другое стихотвореніе, которое мы получили отъ М. А. М. также долго спустя послѣ выхода I тома, называется: *Ave Maria*. Оно замѣчательно тѣмъ, что написано за двѣ недѣли до смерти Губера, именно 28 марта 1847 года, и поэтому съ большимъ вѣроятіемъ можетъ считаться послѣднимъ и, надо сказать, прекраснымъ произведеніемъ нашего поэта. Вотъ оно:

Ave Maria! къ тебѣ простираю
Въ страхъ невольномъ дрожащія руки,
Съ тихой молитвой къ тебѣ прибѣгаю,
Съ теплою вѣрой тебѣ поручаю
Тайныя слезы и скрытыя муки.

Ave Maria!

Тихо къ тебѣ я приблизился нынѣ....
Я никогда никому не молился,
Не поклонялся небесной святынѣ....
О, научи меня грѣшнаго нынѣ:
Я за нея предъ тобою склонился!

Ave Maria!

Я за нея, за мою я царицу,
Нынѣ къ царицѣ небесъ прибѣгаю;

Грѣшной земли молодую жилицу
Съ теплою молитвой подѣ твою я десницу,
Въ тихой надеждѣ склоняюсь, укрываю.

Ave Maria!

Мнѣ—испытаніе, слезы и горе,
Ей—наслаженіе, чистую радость,
Счастье жизни, на вольномъ просторѣ,
Тихую пристань на жизненномъ морѣ,
Свѣтлые годы, веселую младость!

Ave Maria!

Ave Maria! я гордая руки
Съ теплою вѣрой впервые поднимаю,
Первой молитвы несмѣлые звуки,
Перваго страха безумныя муки
Въ душу мятежную кротко приѣмлю.

Ave Maria!

Но за неѣ мнѣ не стыдно молиться,
Но за неѣ я горжусь униженьемъ;
Сладко предѣ образомъ молча склониться,
Вѣрить и плакать и снова молиться,
Съ тайной надеждой и съ кроткимъ смиреньемъ.

Ave Maria!

Я задыхаюсь, припавъ къ изголовью!
Благослови её, дѣва Марія!
Я полюбилъ её первой любовью....
Сердце горитъ, обливается кровью,
Плачетъ и молится: Ave Maria!

Ave Maria!

Лѣтомъ 1847 года, Губеръ намѣревался съѣздить въ Москву къ роднымъ, тамъ возобновить въ себѣ свѣжія силы подъ вдохновляющимъ кровомъ семьи, начать новую жизнь, которая общала многое. . . . Весна вообще навѣвала на поэта сладкія мечты и вмѣстѣ съ тѣмъ губительно дѣйствовала на его здоровье. Вскрытѣ рѣкъ съ одной стороны грозило ему неминуемой смертельной опасностью, а съ другой вызывало давнишнія мечты о поѣздкѣ за-границу. Уже больной, съ готовой смертью въ груди, съ убійственной болью и создаваемой опасностью своего положенія, онъ мечталъ объ этой поѣздкѣ и не далѣе какъ наканунѣ того дня, когда слегъ окончательно, писалъ: „Ѣхать! легко „сказать и хорошо тому, кто можетъ уѣхать! — Вы „проведете лѣто гдѣ-нибудь на водахъ, увидите новыя „лица, забудете старыя, отдохнете, развеселитесь, „наберетесь новыхъ впечатлѣній, и возвратитесь къ „намъ на зиму съ неслыханными разсказами. Снѣжныя „горы Швейцаріи, шумныя улицы Парижа, жаркое „небо Италіи и ты, соблазнительный, вѣчно прекрас- „ный Неаполь! Блаженъ, кто увидитъ тебя, когда ве- „чернее солнце обольетъ тебя пурпуромъ и золотомъ „и въ тысячи бриліантовыхъ лучахъ разстелется по „твоему зеркальному заливу! Ты дремлешь, опершись „на море; все тихо кругомъ; на улицахъ пусто; „скрестивъ голыя руки на широкой груди, безопасно „спитъ подъ открытымъ небомъ твоимъ запоздалый „lazzarone, смуглое дитя твое, вольный питомецъ без- „наказанной лѣни,—а вдали безмолвно и грозно ды- „мится старецъ Везувій. Какъ хорошо все это и какъ

„грустно вспомнить, когда видишь это сѣрое небо,
„эти грязныя улицы, когда чихаешь и кашляешь
„и въ недоумѣніи разбираешь разныя лечебныя сис-
„темы, по которымъ вы безъ всякой особенной боли
„можете отправиться не только въ Неаполь, но еще
„куда нибудь подальше.

„И такъ это рѣшено: вы уѣдете, а мы останемся,
„будемъ жить на островахъ, для развлечения поѣдемъ
„на Лахту, увидимъ, какъ на Крестовскомъ Острову
„передъ трактиромъ нѣмецъ по канату пойдетъ и по
„всей вѣроятности себѣ когда-нибудь шею сломаетъ.
„Это единственное сильное ощущеніе, которое у насъ
„въ перспективѣ; и то, пожалуй, не сбудется: этотъ
„нѣмецъ давно уже по канату ходитъ и какъ будто
„на зло никогда не падаетъ, на него надежда плохая.
„Это рѣшено—вы ѣдете; вамъ ничего, вамъ даже очень
„весело и вы прощаетесь съ нами съ особеннымъ
„удовольствіемъ. А намъ каково? мы остаемся, намъ
„тяжело разставаться, потому что мы люди чувстви-
„тельные и у насъ изъ головы не выходитъ этотъ
„проклятый нѣмецъ, который никакъ не хочетъ сва-
„литься съ каната. Мы думаемъ о разлукѣ, о сви-
„даніи, о томъ, какъ хорошо жить вмѣстѣ, какъ тя-
„жело жить врозь. Мы говоримъ:

Разлука—смерть для краткой доли,

Въ которой страждетъ человѣкъ!

Оставить милое—не то-ли,

Что потерять его на вѣкъ?

„а вы намъ на это отвѣчаете съ убійственнымъ рав-
„нодушіемъ, что ничего милаго не оставляете.

„Разговоръ о томъ, кто ѣдетъ за-границу и кто
„остается дома, съ приближеніемъ весны оживляетъ
„на нѣсколько времени нашу однообразную бесѣду.
„Съ этимъ разговоромъ связываются разныя занима-
„тельные и любопытныя объясненія о томъ, почему
„такая-то ѣдетъ въ Италію, а не въ Германію, почему
„такой-то отправляется на воды, а не въ Парижъ.
„Рождаются самыя дальновидныя коментаріи, самыя
„смѣлыя предположенія о будущихъ результатахъ
„этого путешествія, мимоходомъ предлагаются разные
„затруднительные вопросы о томъ, какъ вы поѣдете,
„гдѣ встрѣтитесь и когда вернетесь. Сборы къ этому
„путешествію, способъ отправленія и выборъ буду-
„щаго мѣстопробыванія, составляютъ тоже неистощи-
„мый запасъ порядочнаго разговора. Кто же остается
„дома, кто не можетъ уѣхать, тотъ съ особеннымъ
„наслажденіемъ вмѣшивается въ этотъ разговоръ раз-
„ныя колкія замѣчанія, въ которыхъ видимо прогля-
„дываетъ тайная зависть или явная досада. Что же
„дѣлать? Такова уже природа человѣческая! Какъ
„бы хорошо намъ ни было, а завидовать мы все таки
„должны. Намъ можетъ быть совсѣмъ не хочется
„ѣхать, мы благославляемъ судьбу, что остаемся,
„и у насъ на это есть свои особенныя причины, а
„все же намъ досадно, что другіе ѣдутъ, зачѣмъ они
„не остаются вмѣстѣ съ нами, не потому, что мы безъ
„нихъ обойтись не можемъ, что мы ихъ любимъ и
„что намъ будетъ скучно. Боже сохрани! Хоть бы
„всѣ они умерли; намъ это рѣшительно все равно.
„Но зачѣмъ они ѣдутъ? Намъ только это досадно.

„Стало быть у нихъ денегъ довольно, ихъ ничто не связываетъ.... Или они такъ больны, что должны уѣхать?—и мы начинаемъ завидовать даже этой болѣзни; намъ становится досадно, почему у нихъ чахотка, а у насъ нѣтъ,—почему они такіе блѣдные, а мы здоровы и можетъ быть еще сто лѣтъ проживемъ“ (*).

Какъ хотите, а эти строки дышутъ жолчью, грустной ироніей, какимъ-то отчаяніемъ. Ихъ писалъ человѣкъ больной, за нѣсколько дней, а не *за сто лѣтъ* до смерти. Отъ нихъ становится больно и страшно, какъ-будто вы слышите рѣчь умирающаго, который знаетъ, что умереть и съ притворнымъ равнодушіемъ говорить: „мнѣ и не хочется лѣчиться, я здоровъ; лѣчутся и болѣютъ богатые, а мы, бѣдные, только можемъ завидовать ихъ болѣзни; у нихъ есть деньги, а у насъ ихъ нѣтъ; умремъ-ли завтра или проживемъ сто лѣтъ, кому до этого дѣло?“ И дѣйствительно, поездка за-границу могла бы помочь Губеру, подкрѣпить его слабые силы. Но долгіе годы тяжелаго труженичества не дали нужныхъ средствъ бѣдному поэту. Онъ встрѣтилъ весну 1847 года въ Петербургѣ и не пережилъ ее.

5 апрѣля 1847 года онъ, по обыкновенію, послѣ прогулки по Невскому, явился къ обѣду къ П. Н. Всеволожской, домъ которой находился на Сергіевской. По тяжелой поступи идущаго по залѣ Губера, хозяйка дома угадала, что онъ утомленъ, а, взглянувъ на блѣдное лицо его, даже спросила:—что съ нимъ?

(*) См. Петерб. Вѣд. 1847 г. N 75.

— Нечего спрашивать! отвѣчалъ Губеръ: — чего тутъ, когда *окольваю!*

Послѣ обѣда онъ отправился въ кабинетъ хозяина отдохнуть и полежать, какъ это дѣлывалъ не рѣдко. Къ вечеру съ нимъ сдѣлался сильный болѣзненный припадокъ, который заставилъ почтенную хозяйку дома обратиться за помощью доктора. Всѣ возможныя пособія были оказаны; лекарства Губеръ принималъ только изъ рукъ своего друга, самой П. Н. Всеволожской, которая въ теченіе пяти дней не отходила отъ его постели. Поэтъ, по-видимому, предвидѣлъ свою кончину, но не принималъ и не слушалъ никакихъ внѣшнихъ утѣшеній и былъ твердъ, не смотря на тяжкія страданія. Друзья его, графъ В. А. Соллогубъ, графъ А. С. Уваровъ, графъ Апраксинъ, М. Н. Лонгиновъ и многіе другіе окружали больного, который благодарилъ ихъ за дружбу со всей теплотой своей поэтической души.

— Какъ сладко умирать! сказалъ Губеръ и тихо скончался.

Это случилось рано утромъ 11 апрѣля. Вѣсть о смерти его быстро разнеслась по всему городу и опечалила многихъ, не только друзей его. Вечеромъ 14 апрѣля тѣло Губера было перенесено изъ дома П. Н. Всеволожской въ Реформатскую церковь, что въ Конюшенной. За гробомъ шли его друзья, литераторы и множество молодежи, которая любила и уважала въ немъ, какъ талантъ, такъ и человѣка. Ночью, послѣ выноса, М. Н. Лонгиновъ, графъ А. С. Уваровъ и графъ Н. А. Апраксинъ, какъ ближайшіе друзья

Губера, собрались и составили по личнымъ воспомина-
ніямъ біографію покойнаго на французскомъ языкѣ,
которую на другой день пасторъ Муральтъ прочелъ
въ церкви.

15 апрѣля Губеръ былъ похороненъ на Волковомъ
кладбищѣ

Черезъ нѣсколько дней, къ слезамъ друзей присое-
динился голосъ литературы, оплакивавшій смерть своего
дѣятеля. О. И. Сенковский написалъ въ апрѣльской
книжкѣ Библ. д. Чт. длинную статью, посвященную
Губеру, отъ котораго еще въ этомъ мѣсяцѣ ожидалъ
литературной лѣтописи. Если даже объемъ статьи
Брамбеуса отчасти зависѣлъ отъ неисполнившагося
ожиданія и отъ необходимости пополнить книжку, то
все-таки ей нельзя отказать въ теплотѣ чувства. Вотъ
нѣсколько словъ изъ нея:

„Въ русской литературѣ не было никогда и не бу-
„детъ души благороднѣе, возвышеннѣе, чище и свѣт-
„лѣе души Губера. Послѣ Пушкина никто изъ на-
„шихъ поэтовъ не обладалъ такимъ звучнымъ и изящ-
„нымъ стихомъ; ясный умъ, тонкій и вѣрный вкусъ,
„превосходныя чувства, чудесный талантъ, обширныя
„и разнообразныя познанія, благородный образъ мыслей,
„совершенное отсутствіе притязаній и зависти, доброта,
„скромность, чувствительность, любезность, остроуміе,
„всѣ лучшіе дары неба богато были соединены въ
„этомъ молодомъ человѣкѣ. Еще недавно составлялъ
„онъ своимъ присутствіемъ радость и наслажденіе
„друзей. Его ужъ нѣтъ! Въ пять дней не стало до-
„браго нашего Губера! . . . Съ тѣхъ поръ, какъ раз-

„вилась въ этой даровитой организаціи способность
„сильно мыслить и сильно чувствовать мыслимое, онъ
„уже былъ боленъ избыткомъ души,—полнѣе сказать,
„избыткомъ прекрасной души“....

Уже оѣанчивая нашу біографію, мы прочли въ 10 N^о Русскаго Слова (1859 г.) рецензію на первые два тома сочиненій Губера. Рецензенту очень не нравятся стихотворенія Губера, которому онъ отказываетъ и въ умѣ, и даже въ искренности чувства. Мы полагаемъ, что такое мнѣніе не есть общее мнѣніе литературы и потому будемъ ожидать другихъ сужденій, болѣе спокойныхъ и безпристрастныхъ. Что касается до обвиненія, взводимого на редактора изданія Губера за то, что онъ перепечаталъ всѣ стихи, находившіеся у него въ рукописи, замѣчательны-ли они или нѣтъ, хотѣлъ ли авторъ при жизни печатать ихъ или нѣтъ, то мы должны сказать, что не считали себя вправе исключать что-либо, предпочитая полноту произвольнымъ пропускамъ, тѣмъ болѣе, что признаемъ Губера во всякомъ случаѣ замѣчательнымъ дѣятелемъ пушкинской эпохи нашей литературы. При этомъ мы рассчитывали не на однихъ друзей Губера, сердцу которыхъ гармонія его стиховъ скажется теплѣе, чѣмъ кому либо, но и на большинство читателей. Общество помнить его имя и не упрекнетъ насъ въ искреннемъ стараніи ближе и полнѣе познакомить его съ произведеніями поэта, съ его личностью, столь симпатичной во всѣхъ отношеніяхъ.

Не упрекнуть-ли меня и въ томъ, что я не по-скупился на біографическія свѣдѣнія о Губерѣ, что я старался не упустить ни одной черты, рисующей его какъ человѣка?.... Но я не хотѣлъ и не смѣлъ быть небрежнымъ ни къ одному факту, въ которомъ я узнавалъ Губера, и только этимъ надѣялся достичь своей цѣли—*пробудить въ читателяхъ сердечное сочувствіе къ жизни и убѣжденіямъ поэта.*

Герой нашего разсказа принадлежитъ къ числу тѣхъ личностей, которыми характеризуется русское общество двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Это люди вѣчно недовольные, разочарованные, потому что причины недовольства еще недостаточно разъяснены: изъ нихъ выродилось наше новое поколѣніе съ болѣе опредѣленными взглядами, наше обличительное, карательное поколѣніе. Герой нашего разсказа — не ходульный рыцарь, не пустая кликуша; онъ человѣкъ, страдавшій эпилептической болѣзью разочарованья; это—Ленскій Пушкина съ прекрасной натурой, съ высокой и теплой душой, съ умомъ образованнымъ. Такія личности встрѣчались въ жизни, ихъ описывали въ романахъ и повѣстяхъ: нашъ герой — лицо невыдуманное, талантливое, сильное по натурѣ. Оттого-то нельзя не отвѣчать глубокимъ сочувствіемъ на требованія любящаго сердца Губера, который искалъ дружескаго участія, оттого-то мы вѣримъ искренности словъ, сказанныхъ однимъ изъ друзей его послѣ смерти поэта, и охотно повторимъ ихъ здѣсь:

„Бѣдный Губеръ! бѣдный поэтъ! или лучше сказать, бѣдные его товарищи! бѣдные мы! Онъ заста-

„вилъ насъ пережить его и внести новое незабвенное
„имя въ вѣчно возрастающій списокъ нашихъ утратъ
„Онъ никого уже не будетъ ни терять, ни оплакивать,
„а мы, пока не дойдемъ и до насъ очередь, все бу-
„демъ не досчитываться его въ нашемъ тѣсномъ кругѣ
„Мы все будемъ помнить это добродушное пушкинское
„лицо, эту разумную улыбку, эту грустную веселость,
„которыя были въ немъ такъ привлекательны. Не
„забудемъ мы тоже его благородныя чувства, его
„сердечную неиспорченость посреди столичныхъ иску-
„шеній, его счастливую вѣру въ дружбу, его дѣтскую
„душевную простоту.... Отчужденный отъ семейства,
„и небогатый, онъ нажилъ въ Петербургѣ цѣлую семью
„горячихъ друзей, которые лишились въ немъ болѣе
„чѣмъ роднаго. Этимъ опредѣляется вся его жизнь.“(*)

Вглядываясь въ эту жизнь, я проникался глубокимъ чувствомъ любви и уваженія къ личности покойнаго Губера. Безпристрастно познакомить читателей съ какой-бы-то ни было личностью—кажется мнѣ такой задачей, которая налагаетъ на совѣсть тяжелую отвѣтственность; оттого я съ трепетомъ принимался за перо и теперь повторяю, что *со страхомъ касался нѣжной души поэта, боясь неудачной обрисовкой оскорбить лучшія движенія ея*, потому что я хотѣлъ познакомить читателей не только съ Губеромъ-литераторомъ, но и съ Губеромъ-человѣкомъ въ обширномъ смыслѣ слова, и въ этомъ видѣлъ цѣль, достойную усерднаго труда.

(*) См. Петерб. Вѣд. 1847 г. Статья графа В. Соллогуба объ Э. И. Губеръ.

ПРИМЪЧАНІЯ
КЪ
БІОГРАФИЧЕСКОМУ ОЧЕРКУ.

ПРИМѢЧАНІЯ.

I. Приведемъ для примѣра отрывокъ изъ разсужденія *О безсмертіи души*: „На ближней башнѣ пробила полночь; все безмолствовало съ тайнымъ благоговѣніемъ; лишь дикія совы завывали на кровляхъ опустѣлаго замка, лишь горный вѣтеръ шевелилъ листья столѣтняго дуба, лишь перепуганный филинъ порою перелеталъ отъ мѣста на мѣсто и юный мѣсяцъ, какъ ангелъ отрады, лишь изрѣдка выглядывалъ изъ-за прорванныхъ тучъ. Въ это время Ингульфъ шелъ скорыми шагами по незнакомой тропѣ. Забывшись у добраго друга за чашей веселаго нектара, онъ не слыхалъ, какъ ударила полночь, но, опомнившись, онъ вырвался изъ объятій вѣрнаго друга и поспѣшилъ въ свою хижину. Вдругъ мѣсяцъ проглянулъ сквозь темную тучу и озарилъ пустыни. Ингульфъ съ изумленіемъ увидѣлъ угрюмаго Раймунда. Онъ стоялъ на скатѣ холма. Медвѣжья шкура висѣла на плечахъ, желѣзныя латы покрывали грудь его, длинныя брови нависли на потухшіе глаза, черные, курчавые волосы въ безпорядкѣ падали на плечо и на грудь. Онъ стоялъ въ безмолвіи и пламя раздумья пылало на мрачномъ челѣ его. Ингульфъ тихо подошелъ къ нему и взялъ

„его за руку, говоря: какія мрачныя думы занимають
„взволнованную дѣшу твою въ часы безмолвной полу-
„ночи, зачѣмъ не пируешь ты съ нами? Раймундъ
„оглянулся и съ горькой улыбкою отвѣчалъ ему; пируй-
„те, счастливыцы, пока еще чужды печали, пока еще
„рокъ не смѣялся надъ вами“ и т. д.

II. Для любопытствующихъ предлагаемъ одно изъ
нѣмецкихъ стихотвореній молодого Губера.

* * *

Gedenke mein!

Wenn fern von hier im friedlichen Gefilde
Die Freude dich mit Kranz umschlingt,
Und deine Brust im irren Traumgebilde
Ins stille Reich entflohner Tage dringt;
Wenn vor dem Sturm des schnell verprassten Lebens,
Noch fern vom Ziel, des Pilgers Brust erbebt,
Wenn einst im Meer des Wissens und des Strebens
Mit Adlersflug sich der Gedanke hebt!

Gedenke mein!

Wenn spät daheim beim traulichen Gelage
Der Göttertrank in deinem Glase schäumt,
Wenn schwermuthsvoll vom Glücke ferner Tage
Die treue Brust der ernsten Freunde träumt;
Gedenke mein zur Stunde deiner Leiden,
Wenn Kummer dich in schwere Fesseln bannt,
Wenn Glück und Ruh auch deine Hütte meiden
Und herber Schmerz an dein Geschick dich mahnt.

Gedenke mein!

Auch ich genoss den süßen Kelch des Lebens,
Den freudentbrannt der trunkne Jüngling hält,
Auch mich verschlug der Sturm des eitlen Strebens
In das Gewühl der trügerischen Welt,
In jene Welt, die das Verdienst misskennet,
Die Todesgift dem Biedermane zollt,
Die Wahrheit hehlt, die Brüderherzen trennet,
Und freiem Muth mit arger Rache grollt.

Gedenke mein!

Wenn du durchglüht vom Taumel deiner Triebe
Nun schwelgend sinkst an deines Mädchens Brust
Und stammelnd lallst die Worte deiner Liebe
Durchschauert von der Wonne süßer Lust,
Gedenke dann, von ihrem Arm umschlungen,
Des Sonderlings, der eure Weiber hasst,
Des Eisenbrust von Liebe nie durchdrungen,
Der, ernst und kalt, nie ihre Wonne fasst.

Gedenke mein!

Wenn im Gewühl der schlachtetentbrannten Reihen
Den todten Freund dein treues Auge sucht,
Wenn ewger Schmach mich die Verräther weihen
Und Feindesbrust mich noch im Staube flucht,
Wenn Todesruf von meines Grabes Rande
Zu dir erschallt aus dunkler Schauergruft
Und weit hinweg von deines Lebens Strande
Der Knochenmann den müden Pilger ruft.

III. Приводимъ переводъ и оригиналъ для сравненія.

Nach Puschkin.

Tret ich auf die belebte Strasse,
Geh' ich zu Gottes Tempel ein,
Sitz' ich mit Jünglingen beim Glase,
So drückt mich des Gedankens Pein!

Da sprech ich: Tag und Jahr vergehen,
Doch allen hier, wohl jung und alt,
Wird bald des Grabes Flügel drehen,
Umfasst der Arm des Todes kalt.

Seh ich im Wald die grüne Eiche,
So denk ich: greiser Patriarch,
Du sahst einst meines Vaters Leiche,
Nun siehst du bald auch meinen Sarg.

Küss ich ein Kind mit süßem Beben,
Da sprech ich mit betrübtem Sinn:
Leb wohl! Dir mach ich Platz im Leben,
Du blühst heran, ich welke hin.

Und jedes Jahr und jede Stunde
Seh ich mit trübem Blicke an:
Sie bringen mir des Todes Kunde,
Sie nahen dumpf und stumm heran!

Sterb ich im Krieg, am Wanderstabe,
Auf hohem Meer, in fremdem Land?
Ereilt mich hier, in stillem Grabe,
Im nahen Thal des Todes Hand?

Und ist es gleich, in welchem Hafen
Mein Leib verwest in stummer Ruh,
So würd' ich hier wohl besser schlafen
Der süßen Heimath näher zu.

Das junge frische Leben glühe
Hier spielend auf des Grabes Flur
Und ewig schön und schöner blühe
Gefühllos glänzend die Natur.

А вотъ и оригиналь:

Брожу-ль я вдоль улицъ шумныхъ,
Вхожу-ли въ многолюдный храмъ,
Сижу-ль межъ юношей безумныхъ,—
Я предаюсь моимъ мечтамъ.

Я говорю: промчатся годы
И сколько здѣсь ни видно насъ,
Мы всѣ сойдемъ подъ вѣчны своды
И чей-нибудь ужъ близокъ часъ.

Гляжу-ль на дубъ уединенный,
Я мыслю: патріархъ лѣсовъ
Переживетъ мой вѣкъ забвенный,
Какъ пережилъ онъ вѣкъ отцовъ.

Младенца-ль милого ласкаю,
Ужъ я думаю: прости!
Тебѣ я мѣсто уступаю: —
Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти!

День каждый, каждую минуту
Привыкъ я душой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угодать.

И гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судьбина?
Въ бою-ли, въ странствіи, въ волнахъ?
Или сосѣдная долина
Мой примѣтъ охладѣлый прахъ?

И хоть безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать,
Но ближе къ милому предмету
Мнѣ все-бъ хотѣлось почивать.

И пусть у гробоваго входа
Младая будешь жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять! (*)

IV. Первая глава Антонія напечатана въ Новогодникѣ совершенно въ иномъ видѣ, чѣмъ въ нашемъ изданіи. Кромѣ пропуска въ началѣ стиховъ отъ 1—41 включительно и многихъ другихъ менѣе значительныхъ переѣмъ, въ Новогодникѣ эта глава раздѣляна на 27 параграфовъ. Последніе четыре написаны съ цѣлью придать нѣкоторую законченность отрывку и потому вовсе не вошли въ наше изданіе. Вотъ эти стихи, которые слѣдуютъ послѣ описанія разлуки Антонія съ родителями т. е. послѣ 1-й главы:

(*) См. Сочиненія Пушкина изд. П. Анненкова. Т. II. стр. 489.

XXIV.

Владѣя кистию свободной,
Иной писатель новомодной
Изобразилъ-бы вамъ теперь
Разлуки горестной картину,
Невыразимую кручину
И горечь тягостныхъ потерь.
Вотъ, наприимѣръ, на первомъ планѣ,
Въ нарядномъ, праздничномъ кафтанѣ
Толпа печальныхъ прихожанъ;
Предъ ними пастырь ихъ духовный,
Надеждой ясной и любовной,
Смиряя боль сердечныхъ ранъ,
Къ молитвѣ складывая руки,
Покорный волѣ Божества.
Онъ полонъ, въ грустный часъ разлуки,
И свѣтлыхъ думъ и торжества.
Потомъ и мать въ безмолвномъ горѣ,
И неподвижна и блѣдна,
Съ живымъ страданіемъ во взорѣ,
Въ нѣмую скорбь погружена;
И сынъ, обнявъ ея колѣна,
Съ слезами горькими въ очахъ...
Клянусь, заманчивая сцена!
Все крикъ, да плачь! все о! да ахъ!

XXV.

Потомъ, картину довершая,
Поэтъ опишетъ наконецъ,
Какъ плачетъ Паола молодая,

Чѣмъ занять пасмурный мудрецъ.
Но виновать! я заболтался....
Къ досадѣ всѣхъ моихъ друзей,
Въ несвязной повѣсти моей
Мудрецъ безъ имени остался....
Что дѣлать, милые друзья!
Старикъ сердить; и гнѣвъ, и ласки
Меня страшать; боюсь огласки, —
И эта тайна не моя.
Страшнѣе грознаго зоила
Онъ за нескромность отомстить,
А ценсоръ въ красныя чернила
Перо глубоко погрузить!
Нѣтъ, это слишкомъ безразсудно!
Такъ не дойдемъ мы до конца;
И потому мнѣ право трудно
Назвать сѣдаго мудреца.

XXVI.

Но дочь совсѣмъ другое дѣло;
Я провинился передъ ней —
И потому открою смѣло
Вамъ имя Паолы моей.
Вдали отъ суетной печали,
Вдали отъ бури роковой,
Ее донинѣ занимали
Забавы юности живой.
Малютку ангелы хранили,
Своимъ крыломъ приосѣнивъ,

И бури мимо проходили,
Надъ ней грозы не разразивъ.
Она такъ пышно разцвѣтала
Вдали отъ праздной суеты,
Загадка жизни не смущала
Ея младенческой мечты.
Но рокъ не спигъ! и на чужбинѣ
Судьба открыла передъ ней
Въ живой, мучительной картинѣ
Скрижалъ невѣдомыхъ скорбей.
Одинъ урокъ! печаль разлуки
Повязку съ глазъ ея сняла —
И сердце ждетъ тревожной муки,
И двѣ слезы поняла!

XXVII.

И только онъ, старикъ суровый,
Не тронуть общею тоской;
Ему страданія не новы,
Онъ помнить тяжкія оковы,
Онъ помнить жребій роковой.
Одинъ, въ безчувственномъ покоѣ,
Среди волненія сердецъ,
Какъ пзваяніе живое,
Стоитъ недвижимый мудрецъ;
Такъ въ бурю шумной непогоды
Гроза въ раскатахъ загремитъ,
Но въ общемъ ужасѣ природы
Не дрогнетъ царственной гранитъ:

Такъ на тревоги жизни бурной,
И молчалива и блѣдна,
Не покидая сводъ лазурный,
Глядитъ бездушная луна!



ОГЛАВЛЕНІЕ III-го ТОМА.

	Стр.
Прозаическія статьи различнаго содержанія:	
Взглядъ на нынѣшнюю литературу Германіи	3
О философіи. Статья 1-я	13
Статья 2-я	47
Вильгельмъ Телль. Статья 1-я	87
Статья 2-я	119
Ломоносовъ	163
Н. М. Языковъ	207
Выбранныя мѣста изъ переписки Гоголя съ друзьями	213
Э. И. Губеръ. Біографическій очеркъ (Съ при- мѣчаніями), А. Г. Тихменева	221
